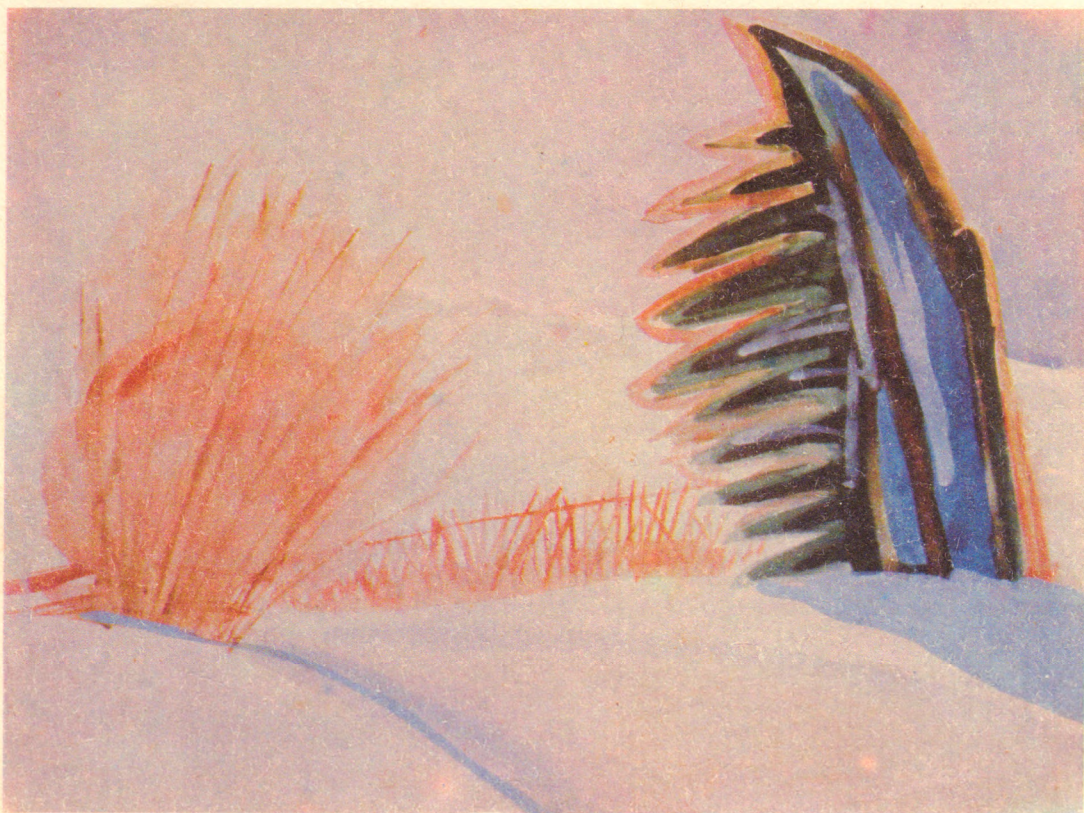
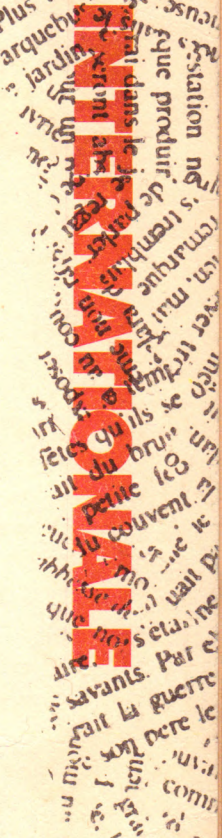


# П А Р И Ж Ф Р А Н Ц И Я



МИХАИЛ МАТЮШИН



**ВЕНСКИЙ  
РЕПОРТАЖ**

**СТАТУИ  
СЕГОДНЯ**

**НЕИЗВЕСТНОЕ  
ПИСЬМО  
ЦВЕТАЕВОЙ**

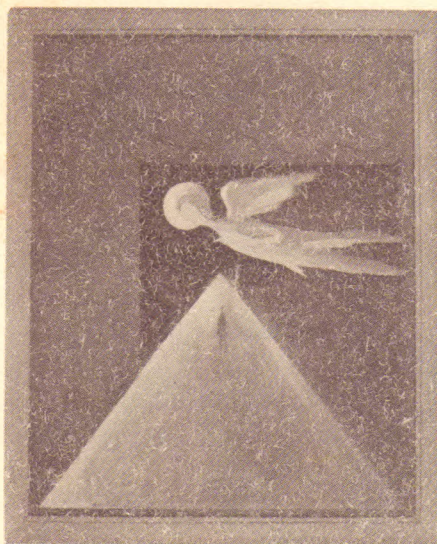
**ОКНО  
НА СЕВЕР**

**ВРУБЕЛЬ И  
ДОСТОЕВСКИЙ**

**ПРЕМИЯ  
БУКЕРА**



**ИЗГНАНИЕ.  
БЕЖЕНСТВО.  
ЭМИГРАЦИЯ**



**ОПЫТ  
ХУДОЖНИКА**

ПАСКАЛЬ БРЮКНЕР

ХУАН ГОЙТИСОЛО

ДАНИИЛ ГРАНИН

ИВАН ЕЛАГИН

ЛЕНА КРООН

НОРМАН МАНЕА

ВЕРА ПАНОВА

ВИКТОР ПАШКОВ

ЭДИТ СЕДЕРГРАН

ГЕРТРУДА СТАЙН

Х.М.ЭНЦЕНСБЕРГЕР

ЕФИМ ЭТКИНД

**ВСЕМИРНОЕ**

# С Л О В О

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖУРНАЛ



Мы живем сейчас в мире трагического расхождения морали нации, государства и морали обычной, человека.

Нравственность государства остановилась на каменном веке. Мы, как страны, живем представлениями многотысячелетней давности. Государство, политика государства, дипломатия существует сейчас не для человека, а для себя.

Первообытный человек гордился физической силой. Племена, народы гордились военными победами. В свое время это было понятно. Победа над врагом определялась в значительной мере бесстрашием победителя, его готовностью жертвовать собой в интересах семьи, племени. Победитель в схватке рисковал собственной жизнью, а не чужой.

А что такое победа сейчас? Это победа военной промышленности, количества и качества изготовленных танков!

На самом же деле, особенно сейчас, достоинства нации те же, что и у отдельного человека.

Руководители государства во всем мире и отдельные националистические партии не могут понять - чем следует на самом деле гордиться.

А гордиться надо не захваченными территориями, не военной промышленностью, не качеством боевых самолетов, а своей культурой, своей историей, своей вежливостью в отношении других наций, стран,

помощью слабым нациям и народам, особенно тем, что доверяли свою судьбу более сильному народу.

Мы уступаем дорогу женщине, детям, старикам. Так же точно в государственной жизни мы должны покровительствовать малочисленным народам, стремиться сохранить их культуру, самобытность, языки.

Мы должны быть уступчивыми и как люди в своей частной жизни, и как государственные деятели, понимать нужды слабых, охранять их от притеснений среди многочисленных и более материально сильных.

Мы должны быть сильны моралью, сильны своей культурой.

Сейчас, как лесные пожары, по всему миру идут вставки грубой силы. Тех, кого недавно еще притесняли, спешат сами стать притеснителями. Они забыли, что такое быть "меньшинством" и применяют все приемы бывших угнетателей, брава "империалистов", учатся имперскому поведению.

Особенно страшны языковые притеснения и языковые диктаты. Нельзя запрещать общаться на том языке, который наиболее удобен в данной местности, в данной обстановке - официальной и неофициальной. Язык - самое ценное, чем обладает народ, особенно малочисленный. Язык государства, язык государственный - нелепость, язык может быть только языком людей.

Вообще хорошее государство - то, которое меньше всего вмешивается в дела людей, позволяет им все, кроме преступлений, защищает их свободу, не покушаясь на нее самому. "Незаметное государство" - вот политический идеал, к которому следует стремиться. Сильный государственный строй тот, при котором люди живут своим традиционным укладом, а указы и приказы не играют особой роли. Чем меньше в государстве изменений и меньше вмешательства в частную жизнь, чем меньше оно воюет, ссорится с соседями, "отстаивает интересы", тем государство культурнее.

Но государство не переубедишь. С этой "личностью", склонной во всем отстаивать свои "государственные интересы", на все обижаться и непрерывно расширяться, не поспоришь. Самое простое, что должен делать культурный человек: не строить дополнительных заборов между нациями, народами и странами. Быть как можно более общительным, гостеприимным к чужим культурам, обмениваться опытом и гордиться своими культурными связями. Культура всегда богатеет, когда она связывается с другими культурами. Общенье ученых, деятелей культуры, экономические связи, связи туристические, медицинские, взаимопомощь при разного рода национальных катастрофах - вот, что может существенно ограничить государственный эгоизм во всем мире. Люди любой национальной культуры должны понимать людей других культур.

Дмитрий ЛИХАЧЕВ

Главные редакторы

АЛЕКСАНДР НИНОВ  
АНТОНИН ЛИМ

## ВСЕМИРНОЕ СЛОВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ  
191187, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 18  
телефон 273-78-60  
телефакс 274-54-62

### РЕДКОПЛЕТИЯ

**ВЛАДИМИР АДМОНИ**  
КОНСТАНТИН АЗАДОВСКИЙ  
ЕВГЕНИЙ АНИСИМОВ  
ВАЛЕРИЙ БАБАНОВ  
ТАМАРА БАЛАШОВА  
БОРИС БЕССОНОВ  
СВЕТЛАНА БУШУЕВА  
ВАСИЛЬ БЫКОВ  
ДАНИИЛ ГРАНИН  
ПОЭЛЬ КАРП  
АЛЕКСАНДР КУШНЕР  
БОРИС ПУТИЛОВ  
БЕНЕДИКТ САРНОВ  
НИНА СНЕТКОВА  
ЮРИЙ СУРОВЦЕВ  
БОРИС ФИРСОВ

Представителя "Всемирного слова":

в Париже - ЕФИМ ЭТКИНД  
в Риме - РИТА ДЖУЛИАНИ  
в Берлине - БИРГИТ МЕНЦЕЛЬ  
в Праге - АЛЕНА МОРАВКОВА  
в Варшаве - АНДЖЕЙ ДРАВИЧ  
в Будапеште - ЛАСЛО ХАЛЛЕР, ЧАБА ХАЙДУ  
в Хельсинки - ЛИЙСА БЮКЛИНГ

Сотрудники:

Елена Баянская - редактор  
Галина Лапшова - художественный редактор,  
зав.производством  
Ирина Рудяева - секретарь редакции,  
компьютерный набор  
Артур Тимофеев - корректор

Учредитель - Общество "Всемирное слово"  
Издатель - коллектив редакции журнала

© Всемирное слово, 1994

© Василий Бертельс: обложка,  
графическая концепция

|   |    |
|---|----|
| Паскаль Брюкнер. ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛИ ПАРИЖ<br>СТОЛИЦА?   | 1  |
| Гертруда Стайн. ПАРИЖ ФРАНЦИЯ   | 3  |
| Ирина Нинова. О ПЕРТРУДЕ СТАЙН  | 5  |
| Поль Клодель. Непримируемый (Верлен)  | 6  |
| Жюль Сюпервьель. "Мир полон голосов,<br>остающихся без лиц". Ковни времена  | 6  |
| Хуан Гойтисало. ПАРИЖ - СТОЛИЦА XXI ВЕКА?   | 7  |
| Андре Бретон. Прекращение дела  | 10 |
| Жан Дьори. КОПЛАЖ   | 11 |
| Морис Карем. Брабант, любимый богами...   | 14 |
| Леопольд Эпштейн. Клостернойбург-Кирлинг<br>"Когда человек исчезает за черным забором."<br>"Я в Черную Речку монетку швырну..." | 14 |
| Амос Элон. ВЕНСКИЙ РЕПОРТАЖ   | 14 |
| Роберт Конквест. СТАЛИН СЕГОДНЯ.  | 20 |
| О книге Роберта Конквеста. Заметка переводчика  | 24 |
| Даниил Гранин. ЗУБР В ХОЛОДИЛЬНИКЕ  | 25 |
| Г.Э.Лессинг. "Бессмертен Клопшток, люди правы..."   | 28 |

## СОДЕРЖАНИЕ

Эдуард Гольдштоккер. ВОСПОМИНАНИЯ  
ЕВРОПЕЙЦА 29

### ОКНО НА СЕВЕР

|   |    |
|---|----|
| Вера Панова. СЛАВЕН ГОРОД ВЕЛИКИЙ<br>НОВГОРОД |    |
| НАЧАЛО ЕРЕСИ. Рассказы                        | 32 |
| Яков Лурье. О РАССКАЗАХ ВЕРЫ ПАНОВОЙ          | 36 |
| Ларс Хульден. ОКНО НА СЕВЕР                   | 37 |
| Ларс Хульден. О ПОЭЗИИ ЭДИТ СЕДЕРГРАН         | 39 |
| Эдит Седергран. Стихотворения                 | 39 |
| Лена Кроон. ДВА ДЯДИ                          | 40 |
| Вислава Шиньборская. Скелет динозавра         | 41 |
| Александр Машевский. Хроника                  | 41 |

### ИЗГНАНИЕ. БЕЖЕНСТВО. ЭМИГРАЦИЯ

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Виктор Пашков. ЛОТ В ИЗГНАНИИ     | 42 |
| Ремон Кено. Стихотворения         | 45 |
| Мария Седерберг. В ТЕНИ ВОЙНЫ.    |    |
| Отрывки из книг и фотографий      | 46 |
| Норман Манеа. О ЧУЖЕСТРАНЦАХ      | 51 |
| Вацлав Ямек. ЗЕМЛЯ БЕЗ ИЗГНАНИЯ   | 53 |
| У.Б.Йейтс. Византия               | 55 |
| Ефим Эткинд. МЕТАФОРЫ ИЗГНАНИЯ    | 56 |
| Иван Елагин. Невозвращенец.       |    |
| История стихотворца.              |    |
| "Мне незнакома горечь ностальгии" | 57 |

### ОПЫТ ХУДОЖНИКА

|   |    |
|---|----|
| Михаил Герман. ВРУБЕЛЬ И ДОСТОВЕВСКИЙ   | 58 |
| Михаил Матюшин. "ОПЫТ ХУДОЖНИКА<br>НОВОЙ МЕРЫ..."                                   | 61 |
| Ирина Карасик. О МИХАИЛЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ<br>МАТЮШИНЕ                                    | 64 |
| Семен Ласкин. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКУ  | 65 |
| Ларс Клеберг. В ОЖИДАНИИ ПИСЬМА   | 68 |
| НЕБЕСНАЯ АРКА. Беседа Эмилии Кундышевой<br>с Константином Азадовским                | 70 |
| Константин Азадовский. МАРИНА ЦВЕТАЕВА:<br>"СВЯТИЛИЩЕ РИЛЬКЕ..."                    | 71 |
| Марина Цветаева. ПИСЬМО РУТ ЗИБЕР-РИЛЬКЕ.<br>Публикации и комментарии К.Азадовского | 72 |
| Г. Ванечкова. ПРАГА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ  | 74 |
| Х.М.Энденсбергер. ТРИ ВАРИАНТА ОДНОЙ<br>ИСТОРИИ                                     | 75 |

### НАШ ДОКУМЕНТ

|  |    |
|--|----|
| ПОХВАЛЬНЫЕ ЛАТИЦСКИЕ РЕЧИ ОРАТОРА<br>Г.БОНДА В ЧЕСТЬ ПОЧЕТНЫХ ДОКТОРОВ<br>ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. |    |
| По брошюре проф. Дж.Симмонса   | 76 |

### КОММЕНТАРИИ

|   |    |
|---|----|
| Евгения Щеглова. ПРЕМИЯ БУКЕРА И<br>ВОКРУГ НЕЕ        | 78 |
| Нина Катерли, Юрий Шмидт. БУДЕТ ЛИ<br>ПОБЕДА ЗА НИМИ? | 80 |
| Александр Мелихов. ОСТРЫЙ ФАГОЦИТОЗ                   | 83 |
| Цветан Тодоров. ЕЩЕ РАЗ О "ДЕЛЕ<br>КРАВЧЕНКО"         | 85 |

**Б**ыть наследником нелегко, а в Париже тем более. В этом городе, который, в сущности, присвоил себе и национализировал французскую мысль на этом космополитическом островке земли, где оказался сконцентрирован, кажется, весь духовный, умственный запас страны, нам беспрестанно предлагают вспомнить о наших великих предках, которые жили здесь до нас. Мы вечные должники тех, кто проложил нам путь, и обязаны превзойти их или хотя бы сравняться с ними. Возьмем один краткий период, обратимся к головокружительному перечню послевоенных писателей: с 1946 по 1985 год на долю

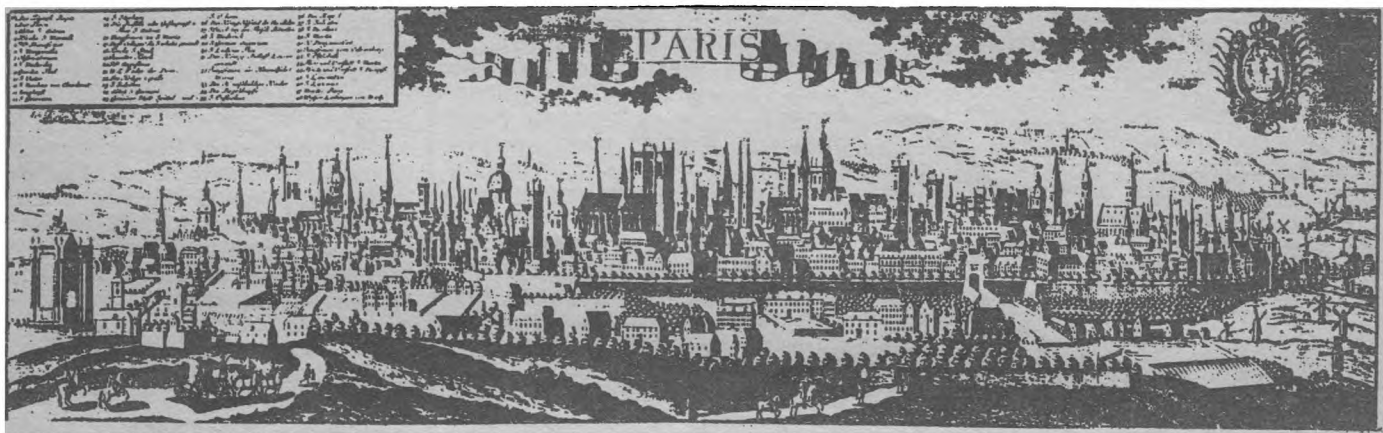
Вот почему отказ от современности послужил для нас признаком утомления, а не бунта: мы были воспитаны не в духе яростного опровержения старших, а в состоянии какой-то усталости от формальных поисков и от лозунгов, принадлежавших нашим предшественникам. И вот мы расстались с мифами, которыми они жили, мы более не разделяем их незыблемой веры в связи, которые должны соединять искусство с Политикой, Прогрессом, Историей, причем и то, и другое, и третье стремилось к единой цели освобождения человечества. Мы более не верим, как верили сюрреалисты, в брак поэзии с революцией, или, как экзистенциалисты, в необходимость ангажированной литературы, или, как «новый роман» или движение «телькелевцев», в досто-

## Паскаль БРЮКНЕР

цепь якобы прервалась: сыновья недостойны отцов, и на смену поразительно кипению пятидесятых, шестидесятых, семидесятых годов пришла пустота. Так это или не так? Не важно: подобный слух уже сам по себе вносит некоторую определенность.

Современность умерла от истощения, от гонки за новизной, оказавшейся гонкой к пропасти. Но перед исчезновением она произвела на свет несколько драгоценностей. И как удержаться от ностальгии по пленительным возможностям, которые она обнаружила, по великим открытиям, которыми

# ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛИ ПАРИЖ - СТОЛИЦА?



Франции досталось шесть Нобелевских премий - Жиду, Камю, Мориак, Сен-Жон Персу, Сартру, Клоду Симону. Столь внушительный перечень святых-покровителей может и ободрить, и подействовать угнетающе, превратить писателей и художников в рантье, озабоченных тем, как бы получше распорядиться наследством, как бы создать приятные вариации на основе уже разработанных тем.

Весь город проникнут литературными, поэтическими, живописными, романтическими мотивами; по нему прогуливаешься, словно по страницам антологии, в которой перемешано возвышенное, интимное, гротеск, лирика, и каждая площадь, каждое кафе, каждый дом отсылают к одной из тех гигантских фигур, что подавляют нас своим острым умом, интуицией, ослепительными находками. Но разве так было не всегда? Разумеется. Начиная с эпохи романтизма, каждое поколение строило свое преуспевание на том, что отрицало предшественников; возникла даже своеобразная школа, учившая отвергать тех, кто шел впереди, прежде чем последователи отменят тебя самого. Это называлось «традиция новаторства», и по этому признаку узнавалось все современное.

инства авангарда. Мы проповедуем возвращение: возвращение к интриге, к героям, к мелодии, к морали, к гуманизму. Но мы сомневаемся в колдовстве, в *tabula rasa*, в прорыве, систематических экспериментах, слишком часто оказывающихся синонимами скуки, легковесности, терроризма. Мы смутно представляем себе, что искусство должно служить истине, но не знаем - какой, и вообще существует ли она. Наконец, распались прежние связи, соединявшие литературу с музыкой, живописью, кино и позволявшие этим различным видам искусства оплодотворять друг друга. Вместо чистоты - веселый эклектизм, вместо неумолимых законов - беспредельная терпимость, вместо школ и течений - авторы-одиночки, экранов или партитур - просто эмоции.

Короче, мы думали, что поставили этих стариков на место, что наконец-то похоронили мертвецов, чтобы, как подсказывает логика, вступить в права наследования. Но тут возникает подозрение, ужасное, робкое подозрение, которое вот-вот подхватят за границу: якобы у нас не происходит больше ничего существенного, и Париж якобы незаконно эксплуатирует свою легенду. В процессе рождения все новых форм

отмечены ее лучшие часы? Некоторые утешаются тем, что уверяют, будто наши предшественники были не так уж велики: подумай - Жид, Сартр, Камю, Роб-Грийе, Фуко, Барт! Жалкие уловки: современные творцы выдерживают такие наскоки и мы по-прежнему остаемся в их тени. И их неодолима когорта словно преграждает нам путь не только к известности, но и к самому существованию: хоть мы и шагаем им вслед, нельзя поручиться, что мы их сменим. Везде - в Риме, Мадриде, Нью-Йорке, Берлине - все еще говорят о них, и именно с их именами ассоциируется слава и величие Парижа. Несправедливое превосходство! Хоть мы и отказались от таких понятий как смысл истории или прогресс искусства, но, как все поколения, мы тоже претендуем на то, чтобы оставить свой след, стать приметой своего времени (а постмодернизм, в сущности, есть не что иное, как гибкая и вычурная мстаморфоза модернизма, с которой он разделяет то же линейное представление о времени минус догматизм плюс ирония, обращенная на себя).

Внесем ясность: так же, как вчера, Париж более, чем любой другой город, воспевает счастье принадлежать к литературному племени и стоять во главе республики

изящной словесности. Яростное пристрастие к спорам, вкус к абстракциям и к интеллектуальной драматургии развиваются здесь как нигде и доходят до карикатурности. Можно и должно смеяться над «парижанством», над этой смесью риторики, педантизма и фривольности, но это все - оборотная сторона духовной жизни, не знающей себе равных и не замыкающейся в тесных кружках, но зачастую широко распространяющейся в среде культурной публики. В силу своеобразного международного разделения труда нам, французам, досталось серийное производство идей. Мы в Париже живем идеями, как живут страстями: с яростным обожанием и мгновенным охлаждением; мы любим красивые речи, изысканные слова, чеканные периоды, мы вырабатываем формулировки, как другие - альбумин и холестерин.

Однако, если любое интеллектуальное сообщество группируется вокруг какого-нибудь ученого спора, надо признаться, что немало волнующих нас дискуссий столь герметичны, что никак не годятся на экспорт. Прошли те времена, когда Париж задавал тон всему свету своими настроениями и причудами и к тому же еще мог диктовать свою волю культурной элите других народов, а перестановка какой-либо запытой или некий особенно смелый ритм приводили в трепет юношей аж до Рио и Буэнос-Айреса. Не то чтобы литература, философия, поэзия, живопись, музыка непременно были здесь хуже, чем в других местах, но во всяком случае они уже не самые лучшие. Париж стал такой же столицей, как другие. Произошло не уничтожение, а сглаживание: никакой другой город не заменил его в роли метрополии, однако Париж перестал быть незаменимым.

Теперь понятно, почему столь многие, рассуждая на культурные темы, спешат обвинить средства массовой информации, правительство, рекламу, школу в заговоре, направленном на снижение культурного уровня французоз, вместо того чтобы взглянуть правде в лицо. Все эти иеремии симптоматичны: они явственно выдают наше сомнение в литературной и художественной потенции наших соотечественников. Культура очевидно связана с передачей и вещанием, но только творчество обеспечивает ее величие и позволяет духовному поиску сделать еще шаг вперед. И сегодня, заслуженно или нет, появляются сомнения именно в этой способности к творчеству. Если в самом деле французское влияние в сфере литературы и гуманитарных наук слабеет, то вина за это ложится на всех нас, а не на какой-то тайный заговор, сплетенный в канцеляриях или телекомпаниях. Добавим для беспристрастности, что упреки, которыми осыпают нас за границы, проистекают скорее из обманутого ожидания; по сравнению с необычайным новаторством славных тридцатых годов наше время как будто охвачено спокойствием или даже инертностью.

И тут мы подбираемся к истокам нашей немочи: мы здесь, в Париже поставлены скорее в положение хранителей сокровищ прошлого, чем открывателей будущих богатств. Год от года Париж становится все более красивым, все более гостеприимным городом, но эта его красота сродни музейной: в его стенах мы исповедуем самую настоящую культурную религию, причём есть у нас свои первосвященники, и служки, и пророки-оптимисты, и пророки-пессимисты. Осторожность во всем берет верх над воображением и поиском: в этом слишком богатом городе мы страдаем от избытка памяти, от гипертрофии чувства истории. И произведения, которые сегодня выходят

в свет, более не имеют даже привлекательности запретного плода; они дарят нам возвышенное и утонченное удовлетворение, но ни одно из них не потрясает нам душу, потому что времена ниспровержения табу и революций в области формы на сегодня завершены. Скандалы вокруг «Эрнани» (1830), «Короля Юю» (1896), «Весны священной» (1913) или «Пустынь» Вареза (1954) совершенно немыслимы в наши дни! Культура во Франции перестала быть ниспровергательной, так как она не грозит никакой власти, а власть не грозит ей, и потому она, быть может, перестала оказывать настоящее воздействие на умы. Завоевав безопасность, а также право на свободное самовыражение и распространение своих произведений, писатели и художники утратили могучий источник влияния.

Чудовищный парадокс: репрессии ломают писателей и поэтов, но в то же время придают им неслыханную силу; малейшее слово критики из их уст ставит под угрозу могущество властей. Бывает, хоть и крайне редко, что литература приобретает действительность оружия, и жизнь целой нации переплетается с жизнью книги. Но наша свобода - это отравленный дар, лишаящий творцов ответственности, хотя и позволяющий им писать и печатать, что им заблагорассудится. Возможно, демократический уют не грозит искусству роковым исходом, но если все позволено, тогда все теряет значение, и литература, музыка, живопись в лучшем случае становятся изысканным украшением, а в худшем - развлечением высокой пробы.

В этом смысле Париж, быть может, отражает Западную Европу - ведь она вся превратилась в памятник собственной истории, замерла в немом восхищении перед своим прошлым. В наше время засилья экологической проблема заключается только в том, чтобы защитить, сохранить: мы погрузились в эру подведения итогов, в эру охранительства - единственного, что мобилизует силы людей. И культура не остается в стороне от этого феномена: она словно набальзамирована, мумифицирована, она буквально задыхается под лавиной почестей. Спрашивается, не гибнет ли при этом под бременем внимания и похвал самый дух культуры, то есть пылкость, вездливость, сомнение. Можно подумать, что гонения бодрят культуру, а желая ее защитить, обращаясь с ней как с выходящей из равновесия, мы превращаем этот неисчерпаемый источник мнений, идей, новаций в некрополь, где молчаливые посетители замирают, замороженные нашим восхищением.

Разумеется, хранить наследие отцов необходимо, и в этом плане Франция, в которой даже самые маленькие коммуны проводят свои выставки и фестивали, проявляет поразительную жизнестойкость; она вкладывает в сохранение своих наиболее красивых уголков воистину трогательную заботу и тщание. Но праздновать и увековечивать - этого культуре недостаточно: чтобы выжить, она должна и отказываться от завещанного, порывать с обычаями, а иной раз и попирает традиции во имя их обновления. Если учесть, что без дерзости, задора и полемического запала творчество невозможно, вся Европа похожа на Париж: ее настигла музеефикация и, кичась своими памятниками, учреждениями, академиями, она рискует потихоньку превратиться в роскошный Диснейленд.

# А

лиса Токлас сказала, жена бабушкиного родственника рассказывала, что ее дочь вышла замуж за сына инженера который строил Эйфелеву башню, а его фамилия была

не Эйфель.

Когда нам печатали книгу во Франции, мы пожаловались на плохую центровку. А-а это потому, объяснили нам, что теперь пользуются машинами, машины обязательно допустят неточность, они не обладают человеческим разумом, ум человека естественно исправляет оплошность руки а машина конечно бывает ошибки. Мы все естественно стали жить во Франции именно потому что там есть научные методы, машины и электричество, но в действительности для Франции совершенно не это составляет действительное содержание жизни. Жизнь это традиция и человеческая натура.

И поэтому в начале двадцатого века, когда нужно было найти новый путь естественно нужна была Франция.

Действительно нет, для французоз действительно ничего не важно, кроме повседневной жизни и земли которая ее им дает и защиты от врага. Правительство важно разве что поскольку оно берет ее на себя.

Я так хорошо помню это было в войну 1914 года, и все они были французозы и говорили о праве голоса для женщин и одна из слушавших женщин сказала, о господи, мне приходится столько стоять в очередях за углем и за сахаром и за свечами и мясом а теперь еще и голосовать, о господи.

В конце концов это не имеет значения, и они знают что это не имеет значения.

Когда я только приехала в Париж и еще много лет потом у меня была служанка, мы очень дружили ее звали Элен. Однажды совершенно случайно, не понимаю как это получилось потому что мне было несколько не интересно, я спросила ее, Элен, в какую политическую партию входит ваш муж. Она всегда мне обо всем рассказывала, даже о чисто семейных неурядицах с домашними и с мужем, но когда я это спросила, в какую партию входит ваш муж, ее лицо напряглось. Она не ответила. Что с вами Элен, спросила я, это секрет. Нет мадемуазель, ответила она, это не секрет но об этом не говорят. Не говорят о том в какую политическую партию тыходишь. Даже у меня есть политическая партия но я не говорю какая.

Я жила во Франции уже много лет но я удивилась и стала спрашивать и они все оказались такие. Они все отвечали теми же словами, это не секрет но об этом не говорят. Сын не знал политическую партию отца а отец партию сына. Именно поэтому сейчас оказался таким недолговечным народный фронт. Они говорили, все они должны были говорить и весь день говорить о том какая политическая партия их партия и поэтому конечно он не мог существовать долго. Просто не мог.

Нет, во Франции действительно не важна известность, традиция и их частная жизнь и почва которая всегда что-нибудь производит, вот что имеет значение.

Миссис Линдберг была в Париже и мы разговаривали. В Америке она конечно страдала они страдали от чрезмерной известности. В Англии на них не обращали внимания но и Линдберги и Англия знали что они есть.

\*В переводе сохранены особенности авторской пунктуации Г.Стайн. - Ред.

Во Франции вам уделяют внимание при встречах но не докучают потому что в промежутках не знают что вы есть.

Когда Фаня Маринофф приехала в Париж она сказала что хотела бы познакомиться с такими-то. К сожалению, сказала я, я их не знаю. Но вы знаете кто они такие, о да, сказала я, приблизительно. Затем она назвала других. Кого-то я знала, кого-то нет. Она недоумевала, в Нью-Йорке, сказала она, если бы я знала вас я бы знала их. Да-да, сказала я, но не в Париже. Не зная тех кого знают в Париже вы не расписываетесь в том что не знают вас, ведь кого не знаешь того не знаешь.

И вот по некоторым если не по всем этим причинам Париж был там где был

Так много всего. Так легко меняют род занятий, очень консервативны очень традиционны и легко меняют род занятий. Могут начать булочниками а потом становятся агентом по продаже недвижимости а потом становятся банкиром и все один человек и все за десять лет а потом уходят на пенсию.

Еще забавно что для того чтобы что-то сделать, целиком построить дорогу поставить три телеграфных столба построить ярмарочный балаган или срубить одно дерево всегда нужно семь человек. Безразлично что именно они делают, их всегда семь или приблизительно семь человек, несколько нужно для того чтобы говорить, несколько для того чтобы смотреть и один два для того

# ПАРИЖ ФРАНЦИЯ

двадцатый век.

Еще было важно то что в Париже делалась мода. Конечно временами казалось что в Барселоне и в Нью-Йорке одеваются лучше но на самом деле нет.

Именно в Париже делалась мода, а мода всегда важна именно в великие времена когда все меняется, потому что она всегда возносит уносит или разносит по воздуху нечто совершенно ни с чем не связанное.

Мода - это самое то, если говорить об абстрактном. То единственное, что лишено практического смысла и поэтому совершенно естественно, что в Париж, который всегда делал моду все и поехали в 1900 году. Всем нужен был фон традиции глубокой убежденности в том, что мужчины женщины и дети не меняются, что наука интересна, но ничего не меняет, что демократия существует, но правительства не имеют значения, если только они не взимают слишком большие налоги и не дают победить врагу, вот какой фон всем был нужен в 1900 году.

Смешно выходит с искусством и литературой, а мода из той же области. Два года назад все говорили, что Франция кончилась, становится второстепенной державой и прочее и прочее. Но я сказала а я так не думаю потому что никогда еще за долгие годы никогда еще с самой войны не было таких разных и прелестных и таких французских шляп как теперь. Они есть не только в хороших магазинах, а во всякой настоящей шляпной мастерской есть хорошенькая французская шляпка.

Я не считаю, что когда характерные для страны искусство и литература развиваются активно и бурно, я не думаю что эта страна переживает упадок. Нет более верного пульса нации чем характерная для нее художественная продукция, которая не имеет ничего общего с материальной жизнью. А значит, когда в Париже шляпки и прелестные и французские и повсюду с Францией все в порядке. Итак Париж был подходящим местом для тех из нас кому предстояло создать искусство и литературу двадцатого века, вполне естественно.

чтобы работать, так что что бы ни делали нужно всегда приблизительно одно и то же количество человек. А это было как раз очень важно потому что опять же создавало фон нереальности очень нужный всякому кто создавал двадцатый век. Девятнадцатый век знал что делать с каждым человеком а двадцатый век неизбежно должен был не знать и значит местом где нужно было быть был Париж.

И потом как они относятся к умершим, так по-дружески так просто по-дружески и хотя неизбежно не печаль и хотя бывает не потрясение. Во Франции нет разницы между жизнью и смертью и это тоже неизбежно делало ее фоном двадцатого века.

Во Франции его естественно делали иностранцы потому что раз все это было французское это была их традиция а раз это была традиция это не был двадцатый век.

Везде но особенно во Франции так много иностранцев. Однажды мы гуляли с Джеральдом Бернерсом и он заметил что получится прелестная книга если собрать все афоризмы которые не верны.

Мы вспомнили много и в том числе близость знакомства порождает презрение и никто не герой для своего лакея. Мы решили что в добрых девяноста процентах случаев как раз наоборот.

Близость знакомства не порождает презрения. Напротив чем знакомей тем редкостней и тем прекрасней. Например квартал в котором вы живете, он красивый, это редкостное и прекрасное место и уезжать оттуда ужасно.

Я помню как-то на улице в Париже я слышала один разговор и он кончался словами, ну так вот, делать им было нечего, пришлось уехать из своего квартала. Так вот, делать нечего пришлось уехать из самого лучшего места на свете, лучшего потому, что они всегда жили именно там.

Такие были парижские кварталы, у нас у всех были свои кварталы, потом конечно когда мы из них уезжали и в них возвращались они и правда казались унылыми, совсем не такими как тот красивый квартал

## Гертруда СТАЙН

где мы живем теперь. Значит близость знакомства не порождает презрения.

А потом никто не герой для своего лакея. Кому еще на свете даже вам самому так же приятна ваша известность как вашей прислуге она конечно приятна вашей французской прислуге в этом можно не сомневаться, приятна всей прислуге бывшей нынешней и будущей.

А теперь какие кварталы Парижа были важны и когда.

С 1900 по 1930 Париж действительно очень изменился. Мне всегда говорили что Америка изменилась но на самом деле она изменилась меньше чем за эти годы изменился Париж то есть Париж который видно, но ведь не вспомнить какой он был раньше и даже не вспомнить какой он теперь.

Тогда мы никто не жили в старых частях Парижа. Мы жили на рю де Флерюс в квартале столетней застройки, многие из нас жили поблизости и на бульваре Распай через который тогда еще не пробили поперечные улицы а когда их пробили то в подвал нашего дома сбежалось все зверье и все крысы и нам пришлось вызывать парижского крысолова чтобы он нас очистил, интересно есть ли они еще, они исчезли вместе с лошадьми и громадными фургонами которые чистили выгребные ямы под домами к которым не подвели новую канализацию, теперь даже к самым старым домам подвели новую канализацию. Хорошо что они во Франции ко всему приспособляются медленно совершенно меняются но знают всегда что они такие какие были.

Теперь маленький провинциальный городок Белле даже целое лето ест грейпфруты, они решили что грейпфруты это необходимая роскошь.

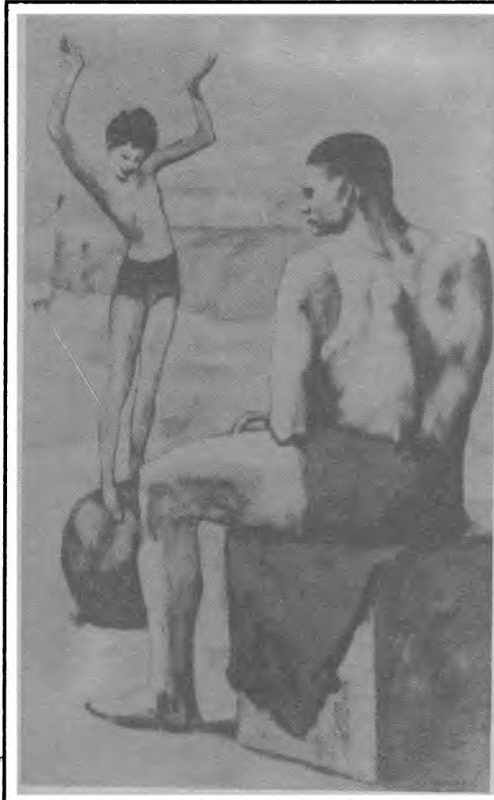
Наша прежняя прислуга Элен которая была у нас много лет до войны, узнала от нас что детей надо растить по-другому и более гигиенично и так и растила но все равно однажды я слышала как она разговаривала со своим шестилетним сынишкой и спросила его, ты хороший мальчик, да мама ответил он, и ты очень любишь маму, да мама ответил он, и ты будешь любить маму когда вырастешь спросила она, да мама ответил он, и тогда она сказала, ты ведь вырастешь и уйдешь от меня к другой женщине да, да мама, ответил он.

Еще я никогда не забуду как во время гибели Титаника когда все были так потрясены героизмом и спасением женщин и детей, Элен сказала, по-моему это совсем неразумно, что толку если женщины и дети останутся одни-одинешеньки, что у них будет за жизнь, было бы гораздо разумнее, сказала Элен, если бы они кинули жребий и спасли сколько-нибудь семей целиком намного разумнее, сказала Элен.

Потому-то Париж и Франция и стали естественным фоном искусства и литературы двадцатого века. Традиция не давала им меняться и все же они естественно видели вещи какими они были, и принимали жизнь какой она есть, и в то же время непонятно почему смешивали разные вещи. Иностранцы были для них не романтикой они были просто фактом, ничего сентиментального не было они просто были, и потому как это ни странно они стали не делать искусство и литературу двадцатого века а стали делаться их неизбежным фоном.

Так вот с 1900 по 1930 те из нас кто жили в Париже не жили в живописных кварталах даже те кто жили на Монмартре как Пикассо и Брак жили не в старых домах, они

жили в домах которым было от силы лет пятьдесят а теперь все мы живем в очень старом квартале у реки, теперь когда двадцатый век решен и обрел свой характер нам всем больше хочется жить в домах семнадцатого века, а не в ателье-казармах как тогда. Дома семнадцатого века такие же дешевые как тогда наши ателье-казармы но теперь нам нужна живописность нам нужно великолепие нужны простор и воздух которые есть только в старых кварталах. Это Пикассо сказал на днях когда говорили о сносе нездоровых районов Парижа но ведь только в нездоровых кварталах есть солнце воздух и простор, и это правда, и мы все жили там начинающие средние старшие и старые мы все живем в старых домах в



ПАБЛО ПИКАССО

Девочка на шаре.

обветшавших кварталах. Впрочем все это вполне естественно.

Знакомство не порождает презрения, все что человек делает каждый день внушительно и важно и всякое место где человек живет интересно и прекрасно. И все это так как оно и должно быть.

И вот понемногу делается понятно почему же двадцатому веку, чья техника, чьи преступления, чья стандартизация начались в Америке, понадобился фоном Париж, место с такой прочной традицией что они могли совсем не меняться и выглядеть современно, и с таким полным приятием реальности что они могли позволить всякому кто хотел испытывать ощущение нереальности.

Потом очень многое объясняет их отношение к иностранцам.

Для французов разница между иностранцем и местным жителем в конце концов не очень существенна. Иностранцев так много а реальностью обладают для них только те кто населяют Париж и Францию. В этом они отличаются от всех остальных. Остальные считают что иностранцы обладают большей реальностью находясь в своих странах но для французов иностранцы обладают для них реальностью лишь находясь во Франции. Естественно они приезжают во Францию. Что как не приехать во Францию может для них быть естественней.

Помню одна прежняя служанка придума-

ла хорошее прозвище иностранцам, были американцы, они существовали потому что она была наша служанка и мы для нее были, а потом был кто-то кого она назвала *ceole ecosais\** мы так и не узнали откуда оно взялось.

Конечно все они приехали во Францию многие чтобы писать картины и естественно они не могли этого делать дома, или сочинять стихи и романы этого они дома тоже не могли, дома они могли стать зубными врачами она все про это знала даже еще до войны, американцы практичный народ а лечить зубы практично. Уж понятно разумеется, самая практичная была она, ведь когда болел сынишка, конечно она ужасно переживала ведь это был ее сынишка а потом еще все это нужно было начинать сначала ведь ей действительно нужно было иметь одного ребенка, каждый француз должен иметь одного ребенка, прошло два года и теперь опять все сначала деньги и все остальное. И все-таки почему нет конечно почему нет.

И вот вся эта простая ясность видения жизни какая она есть, животной и общественной жизни в человеке какая она есть, ценности человеческой и общественной и животной жизни измеренной в деньгах какая она есть, не жестокого и не упрощенного видения, что это сейчас происходит, спросила меня одна француженка об одном американском писателе, это фальшиво и безыскусно.

Двадцатый век понадобился не столько затем чтобы так сказали они как он понадобился затем чтобы так сказали все остальные.

Иностранцы не чужие во Франции потому что они всегда там были и делали то что им там и было положено делать и оставались там иностранцами. Иностранцы должны быть иностранцами и хорошо что иностранцы иностранцы и что они неизбежны в Париже и во Франции.

Теперь они наконец начинают, кино и мировая война понемногу заставили их понимать какой национальности иностранцы. В маленькой гостинице где мы останавливались нас называли англичанками, нет сказали мы нет мы американки, наконец кто-то из них немного раздраженный нашим упорством сказал но ведь это одно и то же. Да, ответила я, как одно и то же французы и итальянцы. Пожалуй до войны они так бы не сказали и не почувствовали бы насколько неприятен ответ. Потом здесь же в провинции у нас была служанка финка и однажды она пришла совершенно сияющая, удивительно, сказала она, молочница знает Финляндию, она знает где находится Финляндия, она знает все о Финляндии, а что, сказала служанка финка, я знала очень образованных людей которые не знали где Финляндия а она знала. Впрочем знала ли она. Нет но старинную традицию французской вежливости она соблюдала и это оно и было. Это у них принято, конечно.

Но что у них таки действительно принято так это почитать искусство и литературу, если вы писатель у вас есть привилегии, если вы художник у вас есть привилегии и иметь эти привилегии приятно. Никогда не забуду как я ехала из-за города в свой гараж где обычно я держала машину а гараж был переполнен и более чем переполнен, шел автомобильный салон, а мне, спросила я, что же мне делать, пойду, сказал дежурный, пойду погляжу а потом он вернулся и тихо сказал, там есть один угол и в этот угол я поставил машину Monsieur\*\* академика а рядом поставлю вашу другие могут стоять

\*Шотландский креол (фр.)

\*\*Господин (фр.)

снаружи и это правда даже в гараже академик и писательница главнее даже миллионеров или политиков, правда главнее, невероятно но факт, полицейские тоже почтительны с художниками и писателями, ну а это тоже умно со стороны Франции и несентиментально, ведь все же запоминается в конце концов писателями и художниками эпохи, тот на самом деле и не живет о ком хорошо не написано и в понимании этого проявляется свойственное французам чувство реальности а вера в чувство реальности это двадцатый век, люди могут его не испытывать но верить они в него верят.

Они смешные даже теперь смешные, все крестяне в деревне, не все пожалуй но многие ели свой хлеб-вино, теперь они очень аппетитно и правда мажут на хлеб варенье, вкусное варенье из смеси абрикосов и яблок, как они бывают одновременно я не совсем понимаю, да может быть поздние абрикосы и ранние яблоки, оно очень вкусное.

Ну и мы разговаривали и они спросили, вот вы мне скажите, почему палата депутатов голосует за то чтобы продлить себе жизнь еще на два года, а мы, ну нам-то конечно как всегда сказать нечего но они-то почему так. Ну сказала я почему нет, вы это знаете они это знают, и к тому же если они уже там почему бы им там не остаться. Ну сказали они со смехом пусть у нас будет как в Испании. Пусть у нас будет гражданская война. Ну сказала я а что толку, ведь после того как они все перестреляли друг друга у них в конце концов снова будет король во всяком случае сын короля. Почему бы тогда для разнообразия сказали они, нам не завести себе королевского племянника.

Вот такое у них к этому отношение, в жизни важна только повседневность, и поэтому гангстеры, и поэтому двадцатый век действительно ничему не могли научить французского крестьянина значит это был подобающий фон для искусства и литературы двадцатого века.

Импрессионисты.

Двадцатый век не изобрел серийное производство но устроил вокруг него большой шум, на самом деле серийное производство началось в девятнадцатом веке, это вполне естественно, машины обязательно делают производство серийным.

Так что машины и серийное производство, хотя в двадцатом веке вокруг них и устраивали больше шума чем в девятнадцатом, это конечно был девятнадцатый век.

Импрессионисты а они принадлежали девятнадцатому веку положили для себя целью и идеалом писать одну картину в день, на самом деле две картины в день, картину утром и картину днем может быть и вообще рано утром в середине дня и ближе к вечеру. Но в конце концов рука человека имеет предел в конце концов живопись пишется рукою и на самом деле даже в самом взволнованном состоянии они редко писали больше двух чаще одну а очень часто не писали и одной чаще всего не писали и одной в день. У них была мечта о серийном производстве но как сказал мсье Дарантьер о полиграфии все же не было ни недостатков ни достоинств машин.

Итак Париж был естественным фоном двадцатого века, Америка слишком хорошо его знала, слишком хорошо знала двадцатый век чтобы его создать, Америка была зачарована двадцатым веком и оттого он не стал для нее материалом для творчества. Англия сознательно отказывалась от двадцатого века, прекрасно зная что они триумфально создали девятнадцатый а двадцатый это наверно будет для них уже многовато, так что они осознанно отвергали двадцатый век ну а Францию это не волновало,

что есть то было а что было то есть, вот была их не вполне ими сознаваемая точка зрения, их слишком поглощала повседневная жизнь чтобы их это волновало, к тому же вторая половина девятнадцатого века не очень их на самом деле интересовала, после конца романтизма уже нет, они много работали, они всегда много работают, но вторая половина девятнадцатого века интересовала их на самом деле не очень. Как обычно говорят крестьяне, всякому году приходит конец, и они любят чтобы плохая погода не мешала работать, они любят работать, работа это же для них развлечение, и поэтому хотя их и не интересовала вторая половина девятнадцатого века но работать они работали. И вот пришел двадцатый век и может быть он окажется интереснее, если он действительно окажется интереснее конечно они не станут так много работать, когда интересно то действительно иногда не удается работать, работа может даже делаться помехой и отвлекать. И так пришел двадцатый век он начался 1901 годом.

## О Гертруде Стайн

Книга «Париж Франция» была написана в 1939 году и увидела свет в тот день, когда немецкие войска вошли в Париж. К тому времени ее автор, Гертруда Стайн, уже вкусившая поздней славы, превратилась из «монпарнасской Сивиллы», эксцентричной фигуры авангардно-художественного бомонда, в живого литературного классика современности. Уже был опубликован, и по-английски, и во французском переводе, ее тагна орус, «Становление американцев» - «история одной семьи, которая постепенно становится историей всех знакомых семьи а потом историей всех и каждого» - произведение, которое и сама писательница, и позднейшая критика ставила в один ряд с «Улиссом» Джойса и «Поисками утраченного времени» Пруста. Также вышла в свет «Автобиография Алисы Б.Токлас» - собственная автобиография, написанная от третьего лица, легенда о себе и своем окружении, своеобразная история и теория искусства двадцатого века, вызвавшая скандал в парижских литературно-художественных кругах и принесшая Гертруде Стайн долгожданное признание на родине, в Америке. Шервуд Андерсон, Эрнест Хемингуэй, Скотт Фицджеральд, Торнтон Уайлдер в разное время объявляли ее мэтром и извлекли ей свое восхищение, почтение и признательность.

Гертруда Стайн родилась в 1874 году в Пенсильвании. Ее раннее детство прошло в Европе, в Вене и Париже, куда ее отца, коммерсанта Дэниэла Стайна, привели деловые интересы. Потом семейство возвратилось в Америку. Из четырех лет, проведенных Гертрудой Стайн в Гарвардском университете за изучением психологии и медицины, первые два, с 1893 по 1895, она была студенткой психолога Уильяма Джеймса. Его брат, знаменитый американский романист Генри Джеймс, был писателем, наиболее почитаемым ею из ее старших современников, которого она отчасти считала своим предшественником.

В 1903 году Гертруда Стайн поехала в Париж и в итоге прожила во Франции без малого полвека, до самой своей смерти в 1946 году. Еще раньше в Париж приехал ее старший брат Лео Стайн, один из первых ценителей, толкователей и собирателей живописи западноевропейского авангарда. В антикварных лавках и небольших галереях брат и сестра отыскивали и покупали полотна тогда никому не известных художников. В доме Стайнов начали собираться «таланты и поклонники», приверженные новому искусству, и более чем на тридцать лет он стал художественным салоном, где бывали Пикассо и Матисс, Аполлинер и Макс Жакоб, Эрик Сати и Жан Кокто и многие, многие дру-

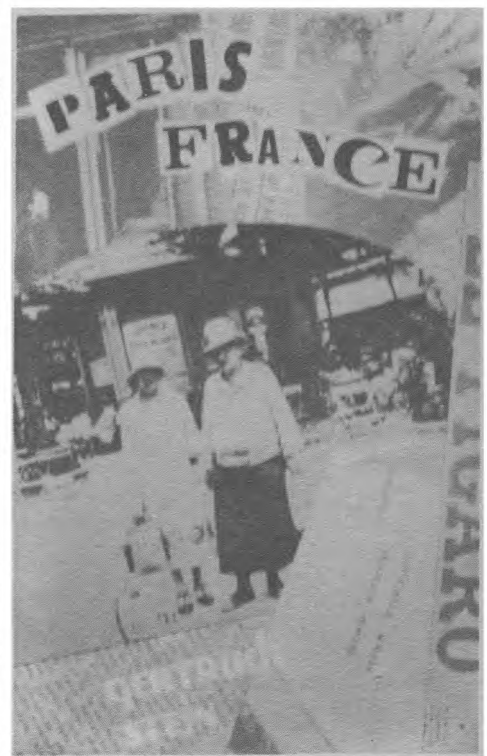
гие. Жизнь в постоянном окружении картин разных эпох и направлений, но, что особенно важно, живописи постимпрессионизма, кубизма и фовизма, постоянное общение с некоторыми из ее создателей, рассуждения и споры об искусстве - такова была атмосфера, в которой формировалась как художник Гертруда Стайн. «И вот все глядя и глядя на портрет Сезанна она начала писать Три Жизни», первое свое напечатанное произведение, - писала она в «Автобиографии Алисы Б. Токлас».

Семи лет, только научившись читать, Гертруда Стайн прочитала всего Шекспира и попыталась написать шекспировскую драму. С тех пор и всю свою жизнь она была страстным и всеядным читателем. Она увлеклась элизаветинцами, знала и любила восемнадцатый век, включая мемуаристику, путевые заметки, исторические сочинения. Из английской литературы викторианских времен отличала Энтони Траллопа.

В англоязычной литературе Гертруда Стайн - явление весьма самобытное, и историка литературы затрудняются в определении ее непосредственных предшественников. Еще труднее, пожалуй, указать на более или менее близкие аналогии и параллели в отечественной словесности. Но созвучность ее творчества исканиям русской литературы первых десятилетий двадцатого века - несомненна. В самом общем смысле это созвучность творческих интенций - стремления явить новый образ мира в новом слове, обнажая формальные возможности языкового материала, конструктивные особенности, присущие языку - и языку вообще, и тому конкретному языку, на котором пишется стихотворение, рассказ или роман, - чем, в частности, объясняются различия в результатах, поскольку особенности языка - это особенности мировосприятия. Так, использование Гертрудой Стайн богатых аналитических возможностей английского, где построение фразы создается по преимуществу порядком слов, а развитая многозначность слова преодолевается в основном синтаксисом, сопоставимо с тем, что делали русские футуристы с богатой русской флексией, открывающей большой простор для словообразования и словотворчества, или с тем, как использовала способность русского синтаксиса к эллипсу, опущению синтаксических фрагментов предложения Марина Цветаева. Точка соприкосновения с акмеистами - при всем несовпадении общей ориентации творчества - желание вернуть именованию вещей изначальный, прямой, полновесный смысл, очистить их от литературных наслоений, и пафос ее знаменитого высказывания, утверждающего, что во фразе «роза это роза это роза это роза» роза впервые за последние сто лет в английской поэзии стала красной, удивительно напоминает некоторые антисимволистские выпады Мандельштама. Тяготение к примитиву, к изображению сложного через элементарно простое, к странному и неправильно поставленному слову, порождающему не формально-грамматические нарушения, а смысловые и логические сдвиги, вызывает ассоциации с Платоновым и Добычиным. «У директора Графтон Пресс сложилось впечатление что может быть ваше знание английского», - сказал ей посланец ее первого издателя. Гертруда Стайн завершила его, что «все, что написано в рукописи написано с тем, чтобы быть именно так написанным», и задача издателя только печатать, а ответственность она берет на себя.

«Строительным материалом» прозы для Гертруды Стайн были предложения. «Мои предложения таки залезают им в печенки», - говорила она себе в утешение, прочитав очередную неблагоприятную рецензию. Гертруду Стайн можно было бы назвать поэтом синтаксиса, потому что ее проза держится на точности синтаксического, а значит интонационного рисунка. Сосредоточенность на синтаксисе и его выверенность действительно уменьшает роль пунктуации на письме, потому что точный синтаксис исключает двусмысленность. Со знаками препинания Гертруда Стайн обращалась очень вольно, то есть многие из них попросту не употребляла как нечто необязательное и отвлекающее: ведь и так понятно, что вопрос - это

вопрос, название - это название, а прямая речь - это прямая речь. Уважала она только точку и время от времени снисходила до запятых, полагая, что не чужно облегчать читателю его задачу: «Длинное сложное предложение должно вам навязываться, заставляя вас познать себя познавая его а запятая, запятая это в лучшем случае плохая точка в том смысле что она дает возможность остановиться и отдышаться но ведь если вам надо остановиться и отдышаться вы наверное и сами знаете что вам надо остановиться и отдышаться». Очаровывала Гертруду Стайн и стихия устной речи с ее диалогичностью, особым синтаксисом, интонационными перебивками, и она активно вторгалась у нее в стихию речи письменной. «Меланкта Гербер», наиболее выразительная повесть в сборнике «Три жизни», шокировала публику и критику необычайно смелым по



тем временам употреблением языка, на котором говорят, но не пишут.

«Париж Франция» - это дань признательности городу и стране, где Гертруда Стайн провела большую часть своей жизни и где она стала Гертрудой Стайн. Это и портрет века, к создателям которого она причисляла себя, - и теперь, на закате века, этот портрет, может быть, будет нам интересен.

Ирина НИНОВА

### ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

- "Три жизни" (1909)
- "Нежные пуговицы" (1914)
- "География и пьесы" (1922)
- "Становление американцев" (1925)
- "Десять портретов" (1930)
- "С приятностью дерковь в Люкс" (1930)
- "Оперы и пьесы" (1932)
- "Матисс, Пикассо и Гертруда Стайн" (1932)
- "Автобиография Алисы Б. Токлас" (1933)
- "Четверо святых в трех актах" (1934)
- "Географическая история Америки, или: Об отношении человеческой природы к человеческому разуму" (1936)
- "Автобиография всех и каждого" (1937)
- "Париж Франция" (1940)
- "Войны на моей памяти" (1945)
- "Брузи и Вилли" (1946)
- "Всем нам мать" (1947)
- "Не хуже Меланкты" (1954)





**П**редание гласит, что во времена моды на экзистенциализм писатели и любопытствующие чуть не со всей разоренной Европы то и дело заходили в Париже в *Кафе Флоры* в поисках Сартра и Симоны де Бовуар, уже оставивших это свое литературное святилище и уступивших его орде зевак и псевдоучеников.

Эта история, по-моему, напоминает то, что происходит в последнее десятилетие со многими интеллектуалами в расцвете сил и начинающими литераторами, которые со всех концов света набегали в Париж, влеко-

мые притягательной силой знаменитостей, мало-помалу исчезающих со сцены: после умерших в предшествующие десятилетия Камю, Мерло-Понти, Селина, Мальро восьмидесятые годы загасили на интеллектуальном и литературном небосклоне такие звезды, как Сартр, Барт, Жене, Фуко, Шар, Мишо, Лакан и другие, принесшие этому городу славу культурной метрополии, - и образовавшаяся пустота не заполнилась новыми фигурами того же уровня и яркости. И опять, но уже в ином масштабе, те, кто обосновался на этом обихоженном городском островке в несколько квадратных километров, надвое разрезанном Сеной, разочарованно взирали на парижскую сцену и, находя там только друг друга, кончали тем,

## Хуан ГОЙТИСОЛО

что признавали других и себя. А ветеран великой эпохи и горстка одаренных авторов помоложе бежали от огней столицы добровольно укрылись в провинциально глуши. И, как тридцать лет назад в *Кафе Флоры*, на авансцене парижской культурно-жизни воцарилась шайка честолюбивых литературных посредственностей; они осыпали друг друга похвалами и жестоко враждовали в ежегодной свалке вокруг премий глянцевых журналов: они самым омерзи-

# ПАРИЖ - СТОЛИЦА XXI ВЕКА?

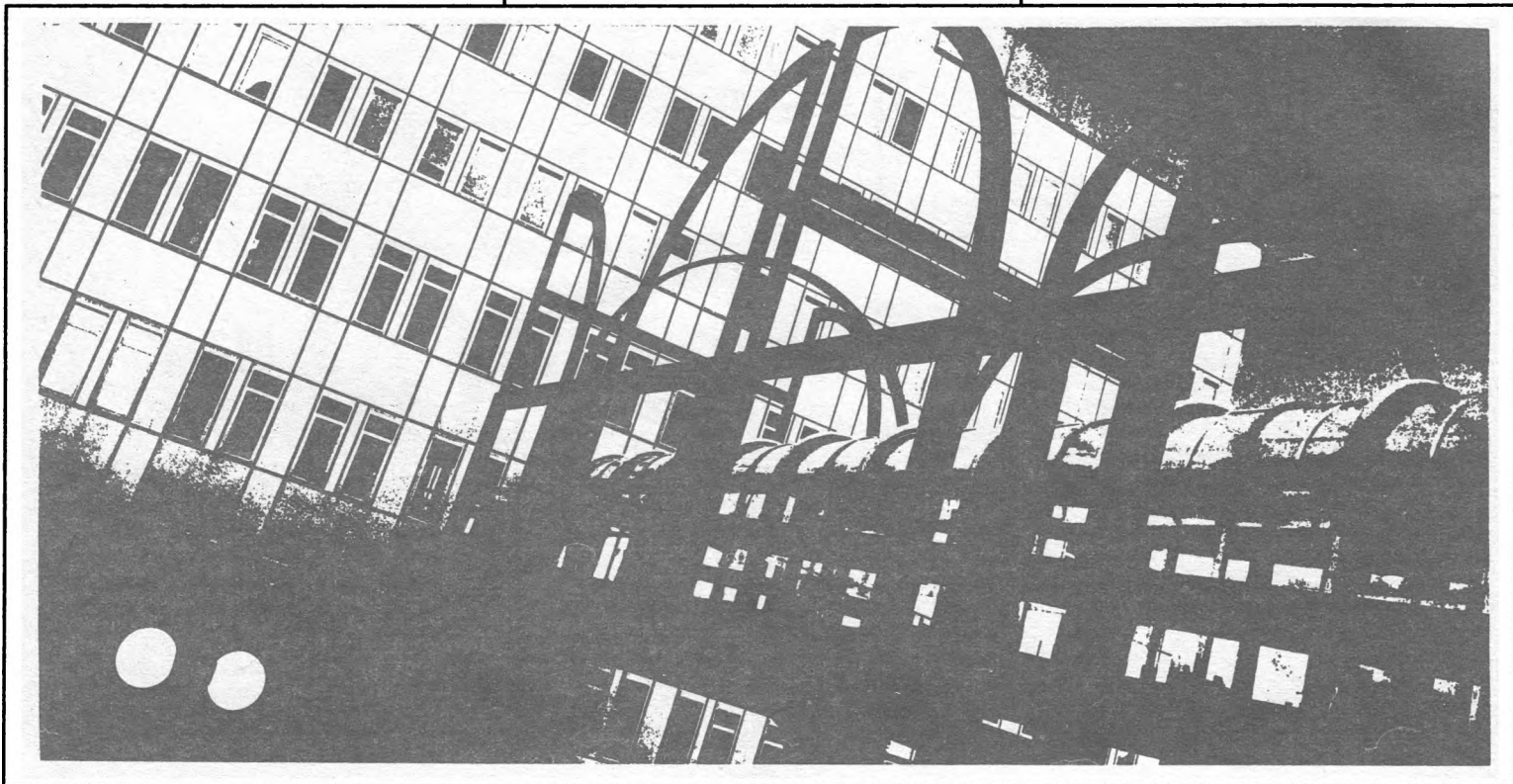


тельным образом суеились на «круглых столах» и телевизионных интервью, пытались патетикой и жестами скрыть ту затхлую и меркантильную атмосферу, в которой задыхается современная французская литература.

Когда в спектакле действующие лица удаляются со сцены, публика в партере откашливается, зевает или принимается глazer на декорации, на фоне которых разворачиваются жизнь, деяния и грезы персонажей-кумиров. Точно так же опустевший Париж - городской текст восстанавливает свое главенство, на которое пытаются посягать разного рода несостоятельные и ничтожные личности. Зрители, по крайней мере те, кто искал творческого вдохновения,

известном романе Карпентьера, или навевались в мир артистической богемы, политических иммигрантов и завсегдатаев модных кафе, как кортасаровский Оливейра. Другие изгнанники, например испанцы и русские, на чью долю выпали более тяжкие испытания, не создали подобных шедевров и не добились такой известности, как те, кто подчинился власти мифа. Но Париж в произведениях его иностранных гостей был, в общем-то, тем самым городом, который придумал и воплотил барон Осман: бульвары, широкие тротуары, огромные пространства, изящные пассажи, - словом, все те места, откуда простой люд был грубо изгнан по соображениям высшего порядка, чтобы не портит

но породил преданных хроникеров и бардов, все делавших, чтобы скомпрометировать и «затмить» прежний уклад жизни, изгоняя его с широких проспектов, отесняя в предместья. Блеск утонченного Парижа-космополиса с его Всемирными выставками, пышной и величественной символикой его мощи притягивал в этот Вавилон всех ищущих вдохновения и новых впечатлений. Их литературные и философские репутации, мнимые и настоящие, пополняли пышную экспозицию и включались в реестр сокровищ наряду с музеями, памятниками, статуями. В одном из своих блестящих этюдов о Бодлере Вальтер Беньямин\* цитирует иллюстрированный путеводитель 1852 года, где под-



Париж. Центр Помпиду.

обнаруживают, что суетная возня этого мира, который непрерывно пожирает сам себя или попадает в собственные ловушки, немногого стоит в сравнении с удивительной энергией города, служащего ему, этому миру, товарной маркой: не *Виль Люмьер* из папье-маше, не интеллектуально-престижного пространства *Сен-Жермен-де-Пре*, *Монпарнаса* и *Латинского квартала*, но обычных жилых районов без какого бы то ни было художественного ореола, где развиваются новые формы жизни, зарождаются новые литературные и социальные эксперименты, возникают новые городские тексты.

Уже более века сюда съезжаются иностранные писатели. Поселяясь кто ненадолго, а кто навсегда, все они стремились не только установить дружеские связи со своими коллегами-парижанами, но, главное, проникнуться духом мест, овеянных великой литературной традицией, где количество острых перьев и светлых голов в расчете на один квадратный километр было, вероятно, наибольшим в мире. Вслед за Гертрудой Стайн и писателями «потерянного поколения» с их уже классическими воспоминаниями о Париже, утонченном и просвещенном, опрятном и нарядном, ограниченном, как правило, благопристойными кварталами *Левого Берега*, - пришли латиноамериканцы времен литературного *boom'a*, чьи герои встречались на *площади Звезды* с литературными персонажами Пруста, как в

картины. Массивная и грозная архитектура Второй Империи, градостроительство, приспособленное для того, чтобы присматривать за толпами, заполняющими узкие, но полные жизни улицы бедных кварталов, превратившихся в ядра внутри протоплазмы обновляющегося города, - всего за несколько лет преобразили известную по описаниям от Рабле до историков Французской революции сумбурную дикорастущую столицу в сугубо буржуазный город. Наиболее красноречивым свидетельством тех перемен стала поэзия Бодлера.

Летописи парижской жизни времен барона Османа с их уличными сценками, людским муравейником рынков, сутолокой странным образом соседствуют с моим опытом жизни в таких знакомых мне кварталах Маракеша или Каира. Власть так и не дали названия их улицам, номера домам, не переписали жителей; повседневная жизнь здесь подчинялась пылкой и непосредственной импровизации, личное смешивалось с общественным, все, что случалось, происходило у всех на глазах, причем что-нибудь случалось постоянно. Нужды новой буржуазии и ее желание выгородить себе особую зону потребовали сложных работ по расчистке и оздоровлению пространства; создания скверов и мест для прогулок и развлечений, массового выселения бедняков и социально-опасных элементов в своеобразные гетто, позже описанные Золя. Новый городской порядок незамедлитель-

но рассказывается о пассажирах и крытых галереях, названных там «миром изящного вкуса в миниатюре». Так случилось, что более века спустя наиболее знаменитый *Пассаж панорам* покорило героя Кортасара, и это доказывает, какое мощное магнетическое влияние на литературу оказала та модель городского пространства, происхождение которой было демонстративно сословным. Если «..лабиринт это родина того, кто колеблется», как с тонкостью отметил Беньямин, то сегодня идеальная среда обитания для бодлеровского *городского животного* представляла бы собой парижскую разношерстную толпу и нагромождение кварталов, восприимчивых к творческой стихии этой Мекки.

Обращение к авторам *«Цветов зла»* и *«Парижа - столицы XIX века»* представляется здесь необходимым. Ведь Бодлер был тогда первым, кто постиг самую суть современности: сутолоку и ажиотаж парижской деловой жизни, россыпь самых разных обычаев, уподобление эгоистического поведения человека из толпы зверю в поисках жертвы, города - дикой сельве; ощущение незащитности, преследующее человека в большом городе; пышность и вместе с тем хрупкость этого мира, особен-

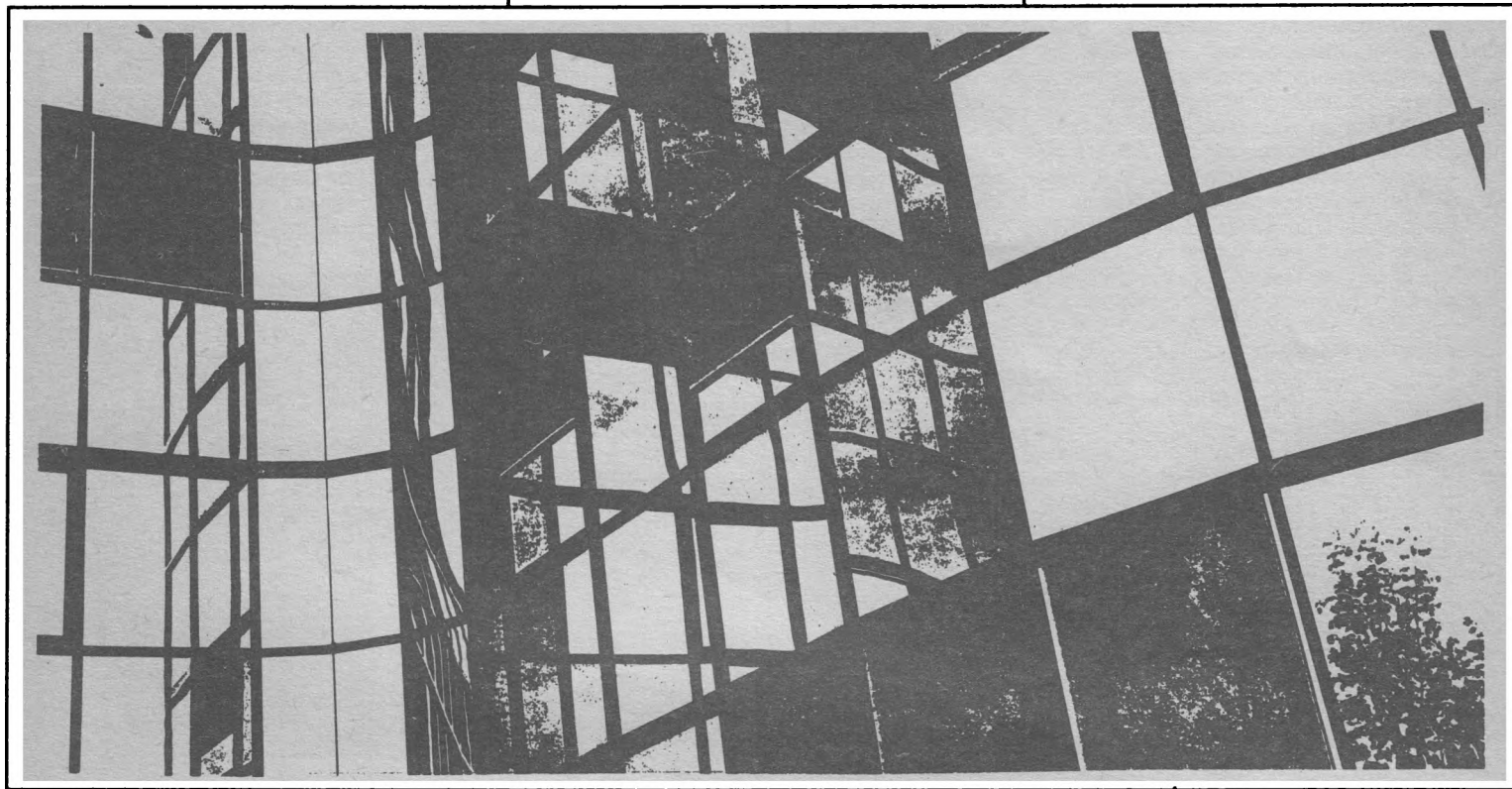
\*Беньямин Вальтер (1892 - 1940) - немецкий философ; его центральная незавершенная работа *«Парижские пассажи»* была опубликована в 1955 году, тезисы ее озаглавлены *«Париж - столица XIX века»*.

но заметные в водовороте стремительного обновления; наконец, исполнение угроз и пророчеств о приближении конца света. И все эти прозрения стали возможны благодаря исключительным обстоятельствам, сформировавшим социальный и художественный опыт Бодлера. Головокружительные перемены в парижском пейзаже свели реальность к отдельным образам памяти: все свидетельствовало о том, как одряхлело настоящее и как зыбко будущее в этом яростном и ожесточенном мире, столь близком де Саду и автору «Селестины». Но обратимся к Бодлеру, к его словам о художнике Шарле Мейроне, по достоинству оцененном Беньямином:

«Редко доводилось мне видеть более

ные кварталы Сен-Жермен-де-Пре и Монпарнас, побывать на бесчисленных выставках и театральных премьерах, пресытиться фильмами Синематеки и т. д., но также с надеждой повстречать Камю и Сартра. Плененные богатством и величием окружающего, мы терялись, созерцая его с позиций нетленного настоящего, а не как Бодлер, в хаотической перспективе перемен. Романы о Париже обычно отмечали проявления начертанной Османом грандиозной метрополии, игнорируя существование в ней причудливых, неподдающихся ассимиляции укладов, яростной борьбы властей и спекулянтов земельными участками за то, чтобы уничтожить эти уклады, - конечно, во имя гигиены и

го Сообщества придется как можно скорее определить, станет ли их территория культурно однородным пространством, своего рода заповедником, навечно отведенным для жителей стран - членов этого клуба, на чем настаивают наиболее отъявленные европейцы, или она будет достаточно открыта для меняющихся и многообразных культур современного мира. Другими словами, им придется выбирать между консервативным проектом Европы, понимаемой как монумент и *summa* цивилизаций, ориентированным на бережное сохранение этого достояния, и другим проектом, который исходит из необходимости перемен и признания устаревшими нынешних представлений современного сознания и учитывает,



Париж. Центр Помпиду.

поэтическое отображение торжественного в своей монументальности огромного города. Величественное нагромождение камня, «колокольни, перстом указующие в небо»; заводские трубы-обелиски, изрыгающие в небосвод густые клубы дыма; высоко вздымающиеся строительные леса, которые своим ажурным переплетением так странно и красиво выделяются на массивном фоне ремонтируемых зданий; бурное небо, словно исполненное гнева и мщения; глубина перспективы, усугубленная мыслью о драматичности людских судеб под этими крышами, - не забыт ни один из сложных элементов, составляющих скорбную и славную картину нашей цивилизации».

Вернемся к настоящему, к тому, что произошло в последние тридцать лет, когда венец Парижа, все еще оставшегося столицей современного мира, был украшен впечатляющим списком знаменитых мыслителей, писателей и деятелей искусства. Скрываясь от политического гнета и культурного убожества, царящих на четырех пятых Земного шара, мы, как мотыльки, слетались на огни Светозарного города, где обретали возможность поглазеть и подышать одним воздухом с собранными здесь, на этой авансцене культуры, представлявшими ее великими актерами.

Однако не забудем, в Париж приезжали не только для того, чтобы посетить Лувр, поглазеть на город с Эйфелевой башни и Триумфальной арки, осмотреть кирпич-

хорошего вкуса. Во времена президентства де Голля, Помпиду и Жискара преобразованиям времен Второй Империи был придан новый импульс: целые кварталы внезапно объявлялись антисанитарными, подлежащими сносу и стирались с лица земли, а на их месте возводились культурные комплексы, например Центр Помпиду или ложноклассические ансамбли типа Рынка. Людские муравейники, своим мельтешением и наслоением культур столь притягательные для нового типа *городского животного*, были заменены чередой приличных и опрятных фасадов, согласующихся с правилами архитектуры; не нашлось Бодлера, француза или иностранца, кто бы претворил этот катаклизм в песнь.

Парадоксально, но крестовый поход Ширака против разношерстных округов, где вырвали новые разнообразные формы культуры и городской жизни, готовил место для грандиозного спектакля Двухсотлетия, для превращения столицы в огромную, но смехотворно пустую сцену, точь-в-точь как в уже упоминавшемся *Кафе Флоры*. Культура, та культура, что согласно Эли Фору «...рождается не в системах, не в собраниях, не в догматах, но в самой глубине жизни, полной творчества и воображения», исчезает вместе с духом творчества.

Новый Общеввропейский дом, о котором теперь так много говорят, скоро станет реальностью, и политикам Европейско-

что современная культура уже не может быть исключительно французской, английской, немецкой и даже европейской, но что она многолика, межрасова и безродна, что она есть продукт взаимодействия и взаимопроникновения, что она обогащается контактами людей далеких и непохожих стран. Такой город как Париж - идеальный тигель для подобного проекта мира без границ, если уверовать в пророческий дар Бодлера и смело принять его мечты о нашей современности.

Необычайная скорость средств коммуникации сблизила культуры, и несходство превратилось в залог благотворного соседства. Улочки, ведущие к площади Каира или улице предместья Сен-Дени - блестящий пример пространственно-временных коллизий, возникающих от соединения несовместимых по первоначальному предназначению слагаемых: архитектурного декора стиля Второй Империи и запахов турецкой или пакистанской кухни. Когда несколько лет назад я пытался разобрататься в хаосе впечатлений от моего длительного пребывания в квартале Сантае, оказалось, что я более или менее сознательно успел усвоить бодлеровский урок и благодаря бесценной помощи Беньямина расшифровал городскую текст, полный инородных составляющих.

«Оживленность улицы, - пишет Беньямин, - ее созидательное цветение обращаются для него (героя), что ни день,

постоянным, разнообразным и бесплатным зрелищем. На Абукирской улице или на Каирской площади, у ворот Клиньянкур или Гут-д'Ор он упивается текучим, непрерывным людским потоком, его переливчатым беспорядком, его лихорадочным рассеянием по розе ветров. Медленная деверопеизация столицы - появление арабских рынков и восточных бань, бродячих торговцев тотемами и ожерельями, турецкие и арабские надписи на стенах - наполняет его радостью. Сложность городской среды - этой насыщенной и меняющейся территории, неподвластной логике и программированию, - приглашает к беззаботным прогулкам, на которых плетется и распускается, как пряжа Пенелопы, таинственный урок топографии. Скромные островки усопшей экономической экспансии принесли с собой ингредиенты, необходимые для бесповоротного смешения: ароматы, краски, всяческие излишества окружают город угрожающим ореолом. Наш эксцентрический герой понял, что за экзотикой необязательно летать самолетом в Стамбул или Маракеш: достаточно небольшого круга по городу. Прозрачность и жесткость социальных отношений в квартале Сантье, возрастающее смешение общественной и частной жизни постепенно вычерчивает карту будущей незаконнорожденной метрополии и заодно карту собственной эволюции. Упаковочные ящики, на которых шулеры из Джемаа-эль-Фна режутся в карты и выманивают сбережения у разинь, заполнили Барбе, тротуары бульвара и тянутся, подобно ране, по направлению к кварталам, которые посещает чистая публика. Современный мегаполис уже переживает византийский период: если повезет, пожалуй, недалек тот день, когда у него [героя] на глазах они, эти ящики, протекут вдоль шупалец площади Звезды, сольются и прихлынут к самому подножию священной Триумфальной арки".

Если официальным подмосткам Парижа недостает новых приманок, не считая все той же постоянной экспозиции его колоссального наследия, то объясняется это тем, что, беря на себя роль маяка цивилизации, он меняет ориентиры своего культурного развития: неприязнь к его «витринной» культуре со стороны немногих, но подлинных, творцов есть симптом произошедших в последние годы перемен, свидетельство поиска на ощупь некоей новой, трансконтинентальной и межнациональной выразительности, питаемой возможностью преодолеть мировые границы в пределах этого привилегированного города. Париж, не город грандиозных памятников и тихих кварталов для туристов, юбиляров и военных вдов, но нива плодотворного сосуществования культур и этносов, которой угрожают односторонний европоцентричный шовинизм и оголтелые консерваторы, - такой Париж вдохновляет на создания многоязычных и пестрых городских текстов, где соединения элементов синхронии и диахронии, музыкальности и полифонии будут не просто творческими приемами, но живым и уникальным опытом современности. «Кто из нас, - писал Бодлер, - в честолюбивые свои минуты не грезил о чуде поэтической прозы, музыки без ритма и рифмы, гибкостью и неровностью своей прилаживающейся к лирическим движениям души и колыханию мечты, к потрясениям совести? Из посещения больших городов, из пересечения бесчисленных пронизывающих их нитей и рождается этот неотвязный идеал».

**В**от она, Бельгия, моя страна: 30 000 км<sup>2</sup> в форме прямоугольника, с десятью миллионами жителей, со времен Юлия Цезаря именуемых бельгийцами, чьи сердца проникнуты духом свободы, восьмая по счету из самых богатых стран в мире и первая по экспорту на душу населения.

В те дни, когда я чувствую себя венгром, я безо всякого усилия вижу ее, понимаю и люблю. Но когда я снова становлюсь бельгийцем, все ее несовершенства начинают раздражать и огорчать меня. От всего, что нам дорого, мы требуем совершенства, не так ли? В поисках утешения я задаю вопросы иностранным писателям и слышу разные мнения - дружелюбные, хвалебные, критиче-



ские, злобные или восторженные; все, что говорят о моей стране, мне интересно.

Бельгия начинается там, где кончается море, на северных пляжах, окаймленных дюнами и продуваемых ветрами, переходящих в равнинную страну великого Бреля.

«10 февраля 1916. Вчера был прекрасный день - первый нынешней весной. Я ходил по узкому шоссе в Брикетри, в сторону Ньивендамм. По направлению к Остенде до самого горизонта простирались шоры, беспредельно однообразные, беспредельно спокойные, беспредельно залитые ясным светом. Тихая водная гладь дремала, отражая в себе жемчужное небо. А потом, немного погодя, солнце над развалинами Ньивпорта начало расплываться золотым пятном в тени большой лиловой тучи. Когда замечаешь на лице земли такое выражение, невольно испытываешь соблазн доискаться до ее души...»

Так в своем дневнике увидел взморье молодой Тейяр де

Печатается с некоторыми сокращениями.

## Андре БРЕТОН

### ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЛА

*Искусство дней, искусство ночей  
Весы по имени Прости взвешивать обиды  
Алые весы чувствительные к весу птичьего полета  
Когда белокожие девы-наездницы не прикасаясь к поводьям  
Выкатывают на сцену свои колесницы  
Я вижу весы их стрелка мечется в исступлении  
Я вижу ибиса учтивую птицу  
Покинув затянутый ряской пруд он возвращается в сердце мое  
Дорожные колеи зачарованные колесами снов  
Из скорлупы одеяний дыбятся ввысь  
И удивление тут и там выныривает из моря  
Прощайте моя дорогая заря помните обо мне  
Примите вот эти розы увядающие колодцы зеркал  
Примите все до единой трепещущие ресницы  
Примите даже вот эту проволоку выдерживающую  
        поступь циркачки и капли воды*

*Искусство дней искусство ночей  
Я у окна далеко в городе полном страха  
По улице люди в цилиндрах идут один за другим  
Похожие на дожди которые я любил  
Когда-то в погожие дни  
"Гнев Господень" - вот название кабака в котором я был вчера  
Оно написано белыми буквами на белой наружной стене  
Но девицы в матросках спокойно спуют по залу  
Потому что среди счастливых не бывает пугливых  
Здесь трупов нет а убийство всегда без улики  
Здесь неба нет а всегда тишина  
И свобода всегда только ради самой свободы*

Шарден, чей полк во время войны 1914 - 1918 годов был расквартирован в Бельгии. Как это отличается от описания Жоржа Боржо в его "Путешествии в чужие страны": «Ночь была темным-темна, и я с трудом различал ведущие к морю дороги. Их было несколько, они пересекались, петляли, кружили на месте. Ветер припорошил их белым песком, поэтому они слегка светились в темноте - настолько, чтобы не потерять их из виду. Я пошел по одной из них, блуждавшей по пересеченной, в колдобинах, поверхности

золотился в прозрачном воздухе. На озере Любви расположились туристы. И мелодии башенных часов дождем проливались на Маркт.

Звон башенных часов в Брюгге далеко разносился по равнине. Сверкающий металлический монгольфьер по дороге в Брюссель совсем рядом со старинной приземистой деревенской колокольной напоминал об Атомиме будущей Выставки. Бок о бок уживались древняя Фландрия и абстрактный Бенилюкс, измышленный экономистами.

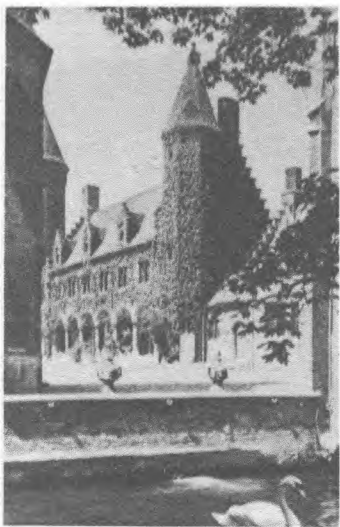
чуть ли не противоречат друг другу, только тогда город станет для вас чем-то большим, чем музей изящных искусств и обманных чувств, через который вас торопливо провели, на ходу кидая пояснения. Но на самом деле город Брюгге - твердый орешек, и современные пляжи - не лучшая подготовка к преодолению его противоречий.

Сюда следовало бы приезжать не через Остенде, торопясь и разузнав заранее обо всех достопримечательностях, а медленно, по равнине, через какой-нибудь из древних городков, через

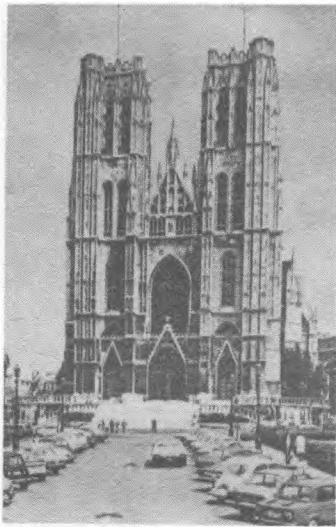
## Жан ДЬОРИ

лекрушения столетней давности? В Верне яснее постигаешь суть череды нашествий, которым удалось внести столь прихотливые изменения в архитектуру этого края (в том числе во внутреннюю отделку зданий). Бургундия, Испания и Габсбурги, сменяясь, сливаются в одно целое, но во всем чувствуется неистребимый фламандский акцент - словно слышишь немолчный местный говорок. Фламандский

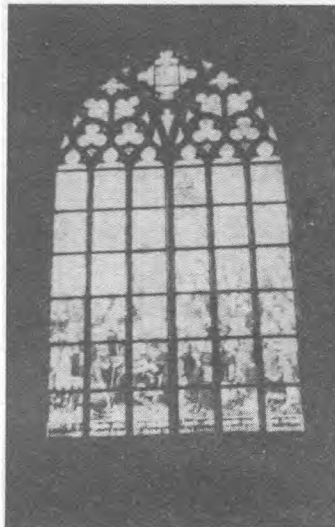
# КОПЛАЖ



Брюгге.



Брюссель.



Антверпен.



Антверпен.

земли, а потом углублявшейся в низкие, развороченные дюны Зута. Я растирал в пальцах стебли колосняка, и они пружинили под моими пальцами. Глухой ропот валов, который у себя в комнате я слушал, как грегорианское пение у ворот монастыря, теперь летел мне навстречу оглушительным шумом. Я шел навстречу буйной ярости. Я растегнул рубашку, чтобы чувствовать свежую ласку открытого моря. Уши мне переполнял гул воды, она была так близко, что по белым гребешкам пены я различал отдельные волны. Для храбрости я оглянулся на твердую землю: мне уже чудилось, будто меня несет в пучину. Не следует забывать, что я впервые видел море».

### На краю Фландрии

Арман Лану, более внимательный наблюдатель страны и ее обитателей, в своем «Свидании с Брюгге» увидел Бельгию так:

«Мариакерк была полна народу. Дорога бурлила. Брюгге

Перед домом художника Джеймса Энсора в Остенде какой-то любитель живописи рассматривал причудливых зародышей на старой гравюре и разбирал странную надпись: «Здесь можно видеть японских сирен. Вход свободный». Сбоку от знаменитого курзала, естественного центра Остенде, несколько приезжих зубоскалили над пышными формами толстухи Матильды и, в особенности, над ее томной позой. И вдоль всего побережья море устричного цвета, могучее, переливчатое море, окаймленное молочно-белой пеной, неумолимо подтачивало дюны.

«Но за этой кулисой, такой веселой и живой, кроется другой мир, проникнуть в который труднее. Кто лучше Райнера Мария Рильке мог высветить его тайны? «Фландрия: это слово напоминает нам о контрастах, самые крайности которых словно встречаются в облике Брюгге. И только если вы окинете единым взглядом эти крайности, несмотря на то, что они

Диксмейде, например, или Ипр с его внушительными торговыми домами, или Верне, к которому проще всего добраться со стороны бельгийского побережья.

Разве не легче будет понять большую площадь в Брюгге, если загодя расширить ее внутреннее пространство, осмотрев огромную центральную площадь в Верне, площадь, вокруг которой сгрудился весь город: можно сказать, что город - это и есть площадь, от которой во все стороны разбегаются улочки, ведущие в никуда! Разве не легче будет приготовиться к тому, что сейчас перед тобой возникнет знаменитая дозорная башня Брюгге, если раньше узнал непомерность фламандских башен в Верне, высшихся над шпильми крыш, словно место их - в небесах? И разве не полезно бывает почувствовать - в том же Верне, перед церковью св. Вальпургии - что земля есть основание, на котором покоятся остатки гигантских церковных нефов, почивших наподобие обломков кораб-

свет сквозь новые окна ратуши пятнами ложится на роскошные кордовские шпалеры и освещает их с какой-то лукавой радостью».

### Брюссельские виды

Приглашаю вас совершить открытие Брюсселя в обществе Леона Доде.

«Пользуюсь случаем сказать несколько слов о редкостной красоте жительниц Брюсселя - совсем не такой, как у парижанок или уроженок Лондона, но не менее впечатляющей. Она сводится к двум основным типам: это или брюнетки с черными или стальной голубизны глазами, в облике их сохранилось нечто испанское, но ноги длиннее и формы не столь округлы, бедра менее крутые, чем у испанок; или блондинки, с золотисто-желтым оттенком волос, с кожей матовой белизны, отвечающие представлениям о фламандском типе. И те, и другие пышнотопы, но при этом стройны, грудь упругая и округлая, все вместе напоминает о классическом каноне. Вообра-

зим, каковы эти плечи, шеи, груди, спины и руки при неярком, рассеянном свете. Максим Дель Сарт утверждал, что это феерия - и в самом деле, более подходящего слова не подобрать. Удивительно, что у двух таких замечательных художников как Альфред Стевенс и Ропс я не нахожу этих округлостей, роскошных и в то же время нежных, которые отличают брюссельских красоток. Первый изображает скорее силуэты, чем фигуры - слегка старомодные силуэты своего времени; второй резкими мазками яв-

каким увидел его в своем романе "Авеню Джорджа Джексона" Джованни Марантони. «Город - зеркало, разбившееся на тысячи осколков; кварталы тонут в денежном сумраке.

Вот один. Улица под гору. От трамваев дребезжит посуда в буфетах у старых дев. Улица ветшающая, но не загаженная. Люди движутся в гору и с горы. Воят афиши, назойливые картинки, подмигивающие указания. Вихри текстов, приливы и отливы слов. Они сдувают шляпы с голов прохожих на перекрестках и выворачивают

очутившийся в кафе Ватмана, в черном кепи, черном костюме и высоких ботинках? Чтобы выдержать, днем тебе необходимо множество приятелей, перемигиваний, похлопываний по плечу, кивков, когда встречаются ваши вагоны. Дзынь-дзынь. Как медленно, дьявольщина, еле ползет. С твоим темпераментом тебе бы за штурвал самолета. А тут этот уют.

Вечером по дороге домой делаешь крюк, заглядываешь в местный магазинчик, в кафе, где засел грамотей. За двадцатник он тебе напишет письмо.

Если великое карнавальное братство есть феномен, достойный всяческого внимания, то, по мне, куда проще и куда правдивее лишенное маски лицо уличного прохожего. Он изнемогает под тяжестью своего веселья. Он хочет, чтобы другие тоже порадовались. Не очень-то удобно делиться хорошим настроением с равнодушными незнакомцами. К счастью, существует запас испытанных шуток на все случаи жизни, позволяющих устанавливать столь желанный контакт с окружающими. <...> Дружелюбие здесь так и струится по лицам весельчаков, готовых обратиться к вам на «ты» и за здорово живешь, ради шуточки огреть вас по спине».

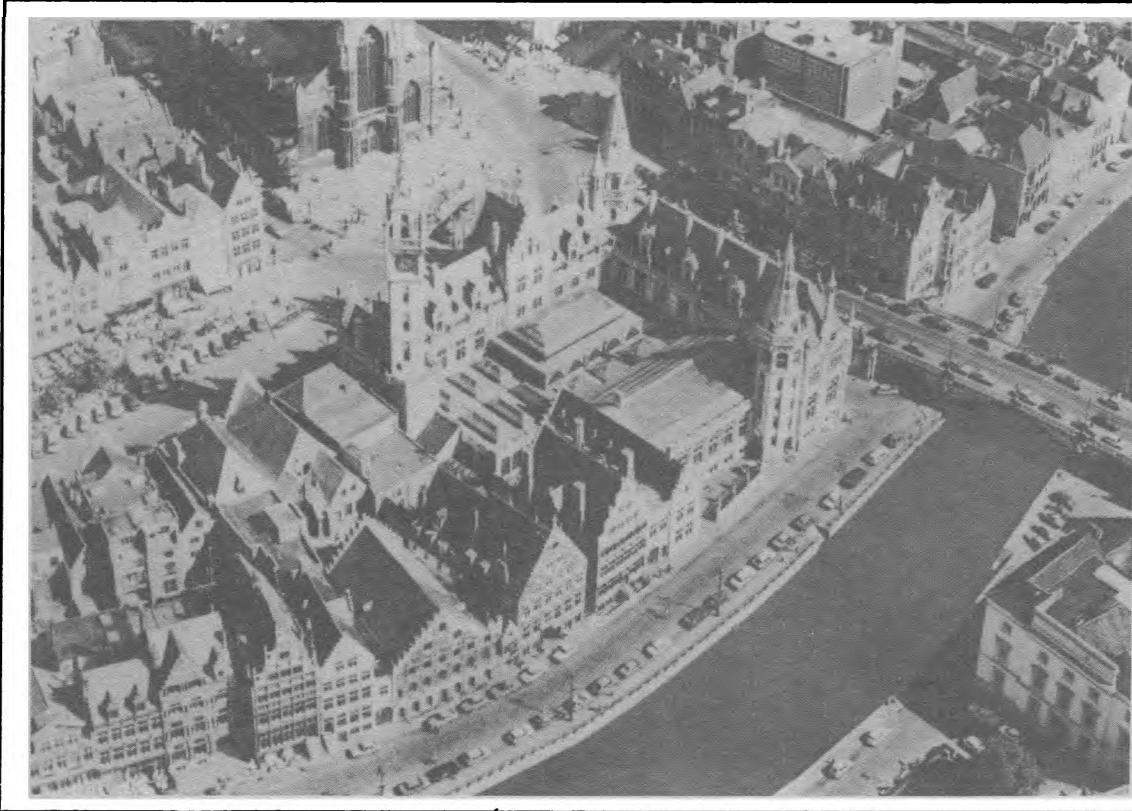
#### Валлонские земли

Маргерит Юрсенар в «Благочестивых воспоминаниях» описывает Валлонию, полную величия, служившую обрамлением ее детским годам:

«Церковный город, основанный, по преданию, легендарным святым Губертом, колыбель рода того самого Карла Великого, которого мы, с основанием или без оно, причислили к нашим, город, принявший пылкое участие в таком французском движении как первый крестовый поход, обогативший своими легендами наши эпические песни, Льеж, если взглянуть с некоторого расстояния, представляется нам великим французским городом. Все способствует этому представлению: и валлонский говор, такой похожий на наш старофранцузский (не в обиду льежцам будь сказано, но уверяю их, что, когда я поболтала с фермершей из этих мест, мне почудилось, будто я перенеслась в XIII век); и его «безумный народ», о котором рассказывает Коммин, вспыльчивый и веселый народ, набожный и антиклерикальный, гордый своим городом, «где ежедневно отслуживают не меньше мессы, чем в Риме», но беспечно живущий пять лет в состоянии отлучения от церкви, произнесенного его епископом, и такая французская череда прекрасных особняков XVIII века, музыка Гретри, а позже Цезаря Франка, взрыв энтузиазма по поводу Декларации прав человека и все вплоть до приключений Теруань де Мерикур. Мы рады видеть в простонародных кварталах Льежа центр департамента Урта, - этим Льеж обязан Революции».

Оставим Пьеру де Буадеффу заботу заключить этот краткий обзор «беглыми заметками о Бельгии».

«Страна, где происходит встреча германского и латинского начал, с экономикой, обновленной в ходе индустриальной революции, Бельгия осталась привилегированным местом, где производят и обменивают, и, благодаря Брюсселю,



Гент. Панорама.

ляет нам скотские, костлявые, грубые рожи самок, пригодных для кратковременных утех. Я вижу бельгийку иначе, возвышеннее, не важно, откуда она: с Северного моря и таинственных фландрских равнин или из полуденного, горячего племени.

Когда о ней заходит речь, всегда упоминают Рубенса, и в самом деле, он передал ослепительность ее плоти и порыв к материальному, чувственному, с этим гениальным пылом, преувеличивающим - но не чрезмерно - все, с чем встречается. Фламандский женский тип был в его время, несомненно, таков, каким он его запечатлел. Значит, с тех пор этот тип изменился и утончился, ибо у многих брюссельских красоток сила умеряется гибкостью, а улыбка, не столь ангельская, как у жительниц Лондона и не такая насмешливая, как у парижанок, проникнута нежностью, доверчивостью и здоровьем».

Трудно не сопоставить с этим идилическим описанием Брюсселя двадцатых годов Брюссель сегодняшний, такой,

наизнанку зонты.

Площадь обсажена деревьями.

Джо пересекает и минует трамвайный парк. Вечное объявление, черные буквы на желтом фоне. «Требуются кондукторы». Написали бы лучше по-арабски: на эту собачью работу только североафриканцы и соглашаются. Они вносят легкое добродушие в мрачные кабины и с силой хлопают по плечу своих бельгийских коллег, потихоньку дотягивающих до пенсии, бубнят на остановках: «Все купили билетки?», рассылают на все стороны улыбки, вздохи, взгляды и открывают двери в недозволенных местах, чтобы впустить тех, кто барабанит в стекло.

Кафе Ватмана, тусклое быстро, скверное пиво, североафриканец в униформе, ждущий часа, когда пора будет запрягаться - или уже отработавший свое, так что поясницу ломит после восьми часов по одному и тому же маршруту. Представляешь, что чувствует парень, твой ровесник, покинувший Бискра Блида Бу-Саада и

Дорогие родители. Сообщи, что все у меня хорошо. Спроси, дошла ли посылка.

Тяжелее всего утром, когда выходишь из дому. Жадно вбираешь в себя воздух и свет, парень. Хари домов и первых прохожих. Дорога в трамвайный парк. Брр...

Жан Фужер в книге «Давайте странствовать вместе» толкует о более светлых сторонах жизни:

«Первый встречный приносит извинения за погоду и без особой надежды выражает желание, чтобы она улучшилась; второй приглашает вас на завтрак, третий предлагает поселиться у него дома. В Льеже, Намюре и их окрестностях добродетельность вспыхивает, как петарда, но в Брюсселе - который получил от Георга Бауэра наименование самого южного из северных городов - валлонско-фламандская смесь приобретает такую взрывчатую силу, что приходится только удивляться. И мирные на вид фламандцы могут позволить себе немислимые вольности.

превратилась в носовую фигуру европейского корабля, держащего курс на федерализацию. Гостеприимная гавань, где находят приют изгнанники со всего света, этот мировой перекресток в то же время еще и земля безраздельной свободы».

#### Фламандское око

На этих низинных землях Европа научилась видеть поступки людей в их обыденной жизни. Я имею в виду неподкупное око Брейгеля, который первым показал труд простых людей. Невозмутимый крестьянин ведет борозду по тучному полю, равнодушный к зову небес, с которых падает несчастный Икар.

Отважно перемещая виффлемскую перепись с палящей палестинской жары в морозную сырость фламандской деревни, художник именно здесь утверждает центр земли и одним мановением руки - но какой руки! - завладевает всем тысячелетним прошлым Запада.

То, что навеки заметило фламандское око, оказалось квинтэссенцией новой картины мира; фламандский гений открыл, рассматривая и выразил человека в новой, небывалой перспективе: это обычная жизнь людей из народа в стихии труда и праздника. По-своему Брейгель - родоначальник социологии.

Другой гений, Иероним Босх, волшебник, порождающий тревожные галлюцинации, выбрал другой путь: его пугающий мир простирается в странных садах, где пахнет серой, где бледные создания, терзаемые кошмарами, вступают в битву с чудовищами; так родился фантастический мир, который будет сопоставлять бельгийцев вплоть до оцепеневших женщин Дельво и медленных огней Магритта. В свое время бледнолицые принцессы Метерлинка примутся искать в темных лесах утраченное счастье, и, в результате странной метаморфозы, некоторые из этих фламандцев через главные ворота входят в сады французской словесности.

Захватывающий очерк истории Запада, Бельгия - истинная родина и Годфруа Бульонского, короля Иерусалимского, и Карла Пятого, императора Америки. Сердце его сына, донна Хуана Австрийского, покоится в наюрском соборе, а память о великом Эразме Роттердамском свято хранится в прекрасном доме Эразма в Андерлехте, в Брабанте. Воистину, «Похвала глупости» была бы наилучшим девизом для этой Бельгии, такой побуржуазному материалистичной во всем, недаром император Иосиф II сказал о ней австрийскому маршалу принцу де Линю: «Ваша страна меня убила». Но за внешностью этих буржуа, чуточку отдающих бакалеей, таятся герои 1914 - 1918 годов, колонизаторы бывшего бельгийско-

го Конго, строители китайских железных дорог, инженеры, химики, которые, как только воцаряется спокойствие, спешат принять буржуазное обличье и подчас, в насмешку над собственным талантом, напяливают котелок Магритта. Они позволяют себе написать французскую грамматику, которую признают авторитетной даже во Франции, сделать такие расчеты по предварительно напряженному бетону, что американцам приходится призывать бельгийских инженеров для ремонта взлетных полос аэродрома, развороченных

во «франскильонстве», обозначая этим словом неправильный или менее правильный французский выговор, чем в Бельгии. Но у французов, разумеется, и это утверждение вызывало насмешки. Однако занимались этим не заурядные люди. Книга, полная насмешек над бельгийцами, существовала, например, у Мирбо, да и у более ранних авторов, чем Мирбо, мы сталкиваемся с тем же самым. Грубости или полицейские окрики по отношению к республиканцам, высланным во время правления Наполеона III, а позже



Экслибрис.

гигантскими лайнерами. Они ставят театру и мюзик-холлу когорту талантов, а первый нидерландский писатель нашего времени - бельгиец Гуго Клаус.

Они - обладатели нескольких лучших в мире ресторанов, они гурманы, лакомки и порой чересчур откормлены, но в высшей степени наделены редко встречающимся достоинством: отсутствием шовинизма, за что такие венгерские бельгийцы, как я, не могут не воздать им должное.

К слову о том, как подчас получается с Бельгией: могу предложить насмешникам просто перечислить одного из самых великих авторов, Валери Лаброда: «Каково происхождение французской традиции зубоскалить над Бельгией? Судя по всему, традиция эта родилась не прежде, чем возникло королевство Бельгия, а 1914 год, кажется, почти полностью отодвинул ее в прошлое. Было в ней что-то неприглядное, постыдное для французов, быть может, шовинистический привкус: «великая нация» издевалась над маленьким королевством. Я был рад узнать, что бельгийцы в отместку обвиняют французов

осуждение Верлена - а также, еще до его осуждения, фрагменты памфлета, сочиненного Бодлером, - придали интеллектуальную основу простонародному зубоскальству, питавшемуся бельгицизмами, бельгийским выговором (такое зубоскальство, кстати, в ходу уже в окрестностях Лиля) и подкрепленному шовинизмом, который, по-моему, процветает и поныне в той части прессы, попадавшей мне на глаза в последние дни, которая проповедует антигерманские настроения. Но наряду с этими насмешками над Бельгией, адресованными простонародью, мелким буржуа, полиции да бельгийским шовинистам, существовала и традиция глубочайшего почтения к многим бельгийским франкоязычным писателям, к Метерлинку и Роденбаху, а далее к тем, кто печатался в «Меркюр де Франс»: Эскоуду, Мокелю, Юберу Крайнсу и другим. В кругах французского литературного авангарда бытовала даже особая мода, обязывавшая любить бельгийских поэтов и драматургов. Лучшим бельгийским поэтом после Метерлинка считался Макс Эльскамп, лучшим прозаиком поколения -

Шарль-Луи Филипп. Быть бельгийцем - тогда это была солидная рекомендация. Не последнюю роль сыграл здесь такой иллюстратор как Фелисьен Ропс. И издатель Эдмон Деман. После первых военных действий 1914 года люди говорили: «Теперь уже никто не посмеет насмехаться над бельгийцами» - и впрямь, эти события сумели, наконец, прервать традицию. Но в действительности, если не считать нескольких бельгицистов да нескольких бельгийских шовинистов, эти насмешки никогда не были оправданными. Напротив: скорее были причины желать, чтобы вся Франция содержалась и управлялась так же, как Бельгия, или чтобы в ней насчитывались хоть две провинции, которые можно было бы сравнить с Бельгией по качеству управления, протяженности железных дорог и четкости железнодорожного движения, по комфорту жизни и по художественным богатствам, или чтобы Лион и Бордо были такими же большими, красивыми городами и пользовались такими же благами автономии, как Брюссель и Анвер.

А сохранились ли донны валлонцы и фламандцы? Ведь они более тысячелетия заключают между собой брачные союзы и зачастую входят в одни и те же семьи!

Об упрямом валлонце, у которого либо мать либо отец фламандцы, в Валлонии говорят: «Он на треть фламандец». О столь же упрямом фламандце, у которого либо отец либо мать валлонцы, скажут: «Этот франскильон». Встречаются они на общей почве, на бельгийской. Я твердо верю, что им на роду написано понимать друг друга, и всем сердцем надеюсь, что сумасшедшим политикам не удастся разрушить эту прекрасную страну. А кроме того, есть один человек, который любит Бельгию превыше всего, хоть в жилах у него нет ни капли бельгийской крови. Это король - король бельгийцев, а не Бельгии. Быть может, именно он в силах сохранить единство этой страны.

Фламандцев не слишком-то жалуют в Голландии, да и валлонцев во Франции не особенно приветчают. Чтобы разрешить свои проблемы, справиться с комплексами и преодолеть причуды, валлонцы всегда останутся верными братьями фламандцам и наоборот. Но в итоге от этого выиграют бельгийцы.

Неблаговидный семейный раздор, валлоно-фламандский антагонизм существует только в воображении политических деятелей. Бельгийские политики решили, что исправят эту политико-историко-социальную путаницу с помощью все более углубляющейся федерализации. Будущее покажет, насколько это решение верно.

## Морис КАРЕМ

### БРАБАНТ, ЛЮБИМЫЙ БОГАМИ...

Брабант, моя земля,  
любимая богами,  
Как всякая земля,  
но в скромности своей  
Не ждущая похвал,  
молчащая о всей  
Безбрежности полей и  
дали за холмами.

Брабант - приют ветров,  
убежище для солнца,  
В мою вошедший плоть,  
как заступ в чернозем.

Брабант: античный лик,  
но в сердце кровь валлонца,  
И Легендарный Норд распахнут  
за окном.

Брабант осенних жатв, залитых  
васильками,  
Чей отблеск влит в зерно и  
в хлебе запечен.  
Брабант - огниво солнца,  
что вечно высекали  
Загар крестьянских лиц и  
золотистый лен.

Брабант, из года в год  
плодоносящий, но  
Чьи женщины щедрей самой  
земли издревле,  
Чьи семьи велики, полным-полны  
деревни,  
А дети налиты, как спелое зерно.

Где мы еще, Брабант, такие ивы  
сыщем?  
Я - веточка твоя, я - шорох  
этих ив;  
Я, говоря с тобой, вовек не буду  
нищим  
И, слушая тебя, не буду  
сиротлив.

Простой и скромный дом возвел  
я без утайки  
Здесь - из твоих камней, и  
глины и стволов -  
И нынче хватит мне всего лишь  
горстки гальки,  
Чтоб, выложив тропу,  
коснуться облаков.

И если руки смерть скрестит  
мне на погосте  
И дух мой меж холмов уйдет  
в последний путь, -  
Уткнусь лицом в твою  
отеческую грудь,  
Как спящий мальчуган,  
забытый на покосе...

## Леопольд ЭПШТЕЙН

В игрушечном австрийском городке,  
Где умер Кафка, где к воскресной мессе  
Стекаются солидные машины умеренно радушных  
горожан,  
Где по холмам опрятные коттеджи вещают о покое  
и достатке,

Как будто бы заложенном природой,  
В Аркадии на бюргерский манер,  
Где больше аккуратности, чем вкуса,  
И вдохновенья меньше, чем ума -  
А воздух все же полон красотой,  
В богатом пригороде пышной Вены,  
Построенном, наверно, нарочно,  
Чтоб дать покой глазам и отдых сердцу,  
Чтоб дать уму и чувству передышку -  
Мы здесь живем сейчас, живем и смотрим  
На красные октябрьские фонтаны  
Лоз виноградных, на цветную гамму  
Лесов, домов, холмов, автомобилей,  
Мы слушаем старинные органы  
Суровых храмов, устремленных к небу  
Готическими страстными зубцами,  
Мы разбираем странные названья,  
Внимательной козой глядим в афиши.  
Воскликнуть бы: "Остановись, мгновенье!" -  
Но тайная, неведомая горечь  
С чеканным привкусом немецкой речи  
Щекочет горло и полощет щеки.  
Где наша жизнь сегодня? Словно шуба,  
Что скорняком взята в перелицовку,  
Она - расчленена, она - в работе.  
Мы ждем, пока ее сошьют по-новой -

В игрушечном австрийском городке,  
Где умер Кафка.

1987

\*\*\*

Когда человек исчезает за черным забором,  
В разорванном космосе не зарастает дыра.  
И помнят его темнота проходного двора  
И все закоулки промерзшего сквера, в котором

Портвейн он хлебал или, скажем, кормил голубей;  
И помнят обои потертые, стол, табуретка;  
И чайник, когда на огонь его ставит соседка,  
Вздыхает о нем и не может забыть хоть убей;

Он снится деревьям - и сон их протяжен и свеж.  
Деревья тоскуют о нем, но, привычны к невзгодам,  
Они отмеряют опавшей листвой год за годом  
И ждут возвращенья его. Просто ждут.  
Без особых надежд.

1983

\*\*\*

Я в Черную Речку монетку швырну,  
И в Малую Невку, и в Карповку тоже...  
Над Кронверкским мелким проливом (о Боже!)  
Покажется мне, будто сам я тону.  
Схвачусь за перила и взгляд подниму  
К серебряным тучкам от их отражений.  
И - как заклинанье - почти что с блаженной  
Надеждой: вернуться! И не одному.

1983

Иногда мне кажется, что дух старой Вены, который одних австрийцев страшит, других забавляет, но вла-

ствует надо всеми, будет жить вечно. И когда год назад осенним утром я бродил по усыпальнице австрийских императоров, «Keisergruft», что находится недалеко от Нового рынка под церковью Капуцинов, призрак старой Вены вновь возник передо мной. Усыпальница эта - сырой, отдающий затхлостью склеп, где на глубине примерно пятнадцати футов под землей в цинковых гробах покоятся останки ста сорока шести членов династии Габсбургов - императоров, императриц, принцев крови. Как правило, плиты надгробий, сплошь покрытые искусной резьбой, прикрывают одну могилу, но кое-где они достаточно широки, чтобы под ними поместились сразу две. Надгробья здесь установлены без какого бы то ни было порядка, как саркофаги фараонов в Каирском музее древностей. Табличка над входом в усыпальницу гласит, что это одно из самых посещаемых в Вене мест. Кто-то из иностранных дипломатов назвал ее "la morgue autrichienne",\* - ему понравилась эта фраза за ее двусмысленность и барочное сочетание декаденства и сентиментальности. В 1989 году, когда в ссылке в Швейцарии умерла Зита, девяностошестилетняя вдова последнего австрийского императора, ее тело перевезли в Вену, где похоронили в усыпальнице со всеми подобающими почестями. По случаю похорон, на которых присутствовали чиновники республики, ведущие политические и государственные деятели, остановилось движение во всем старом городе.

Через год с лишним, когда я вновь навестил императорский склеп, могилу Зиты не было видно из-под вороха живых цветов. И человек сорок-пятьдесят стояло возле соседней могилы, где покоятся останки Франца Иосифа I, которого часто называют последним великим императором династии Габсбургов, несмотря на то, что это он втянул свою пошатнувшуюся империю в окончательно доконавшую ее первую мировую войну. В путеводителе я прочитал, что среди всех настоящих и липовых титулов Франца Иосифа числятся титулы герцога Аушвицкого и короля Иерусалимского. В окружившей могилу толпе несколько человек запели по-чешски старый имперский гимн Австро-Венгрии. Вскоре к ним присоединились и ос-

\*Игра слов: "австрийский морг" в "австрийская спесь" (фр.)



тальные. Стены спальни задрожали от звуков известной мелодии Гайдна. Оказалось, что туристы эти приехали утренним автобусом из Брно, чехословацкого города всего в часе пути от Вены. Конечно, не все они были монархистами и взывали сейчас не к давно погибшей империи, а ко всей своей прежней жизни - или к иллюзиям о прежней жизни, - одновременно отрекаясь от более близкого по времени прошлого под коммунистическим владычеством. Это были люди среднего возраста, в некоторых по обветренным ли-

винциальные чиновники, приехавшие на семинар по общественному управлению, и все они обращались друг к другу не иначе, как «господин сенатор», «господин доктор», «господин директор», «госпожа член Совета министров», «господин надворный советник»... Во время моего пребывания в Австрии одна из местных газет опубликовала письмо, автор которого предлагал хоронить венцев стоя, ибо большую часть жизни они проводят согнувшись в поклоне.

В этой гостинице с мягкими, обитыми тканью стульями и

гложет страх - страх потерять лицо, отстать, кануть в безнадежную провинциальность. Но когда здесь с характерной кислой миной говорят, что серьезный художник не может работать в Вене, - это поза всей Старой Вены; Фрейд однажды сказал, что за последние пятьдесят лет в этом городе ему не пришло в голову ни одной свежей идеи, а ведь он говорил о временах, которые видели Маха, Карнапа, Виттгенштейна, Крауза, Шенберга, Луза, Мюзиля, Броха, Шила, Малера и Штрауса. Безусловно, во всем городе чувствуется глубокое чувство утраты. У.Х.Оден провел последние годы своей жизни в Кирхштеттине, деревушке в предместьях Вены, и там он написал:

# ВЕНСКИЙ

# РЕПОРТАЖ

цам легко угадывались крестьяне. За происходящим сияющими глазами наблюдал австриец в элегантном шелковом костюме. Потом он пробился вперед сквозь толпу и крикнул, что не видел столь волнующей сцены с самого конца войны. «У нас одна духовная отчизна!» - воскликнул он. В толпе зааплодировали. Этот случай заставил меня вспомнить не раз слышанное мной в Вене утверждение, что Австрия - это не просто территориальное образование, но образ мышления, и что вскоре новая Mitteleuropa (Средняя Европа), центром которой осталась Австрия, снова воскреснет из руин прежней империи.

Рядом с усыпальницей продавались портреты двух последних Габсбургов, открытки с пеанами в честь императорской семьи и мемуары Стефана Цвейга «Вчерашний мир» ("Die Welt von Gestern"), книга, которую часто цитируют, вспоминая подробности жизни погибшей империи. В предисловии к книге Цвейг пишет: «У всего есть свои рамки, свои мерки, свой вес. Человек, получивший наследство, может точно подсчитать свой годовой доход. Служащий или военный может, глянув на календарь, с уверенностью назвать год, когда он получит повышение или уйдет на пенсию».

Пристрастие австрийцев к титулам и раболепное поклонение обладателям таковых является еще одной гранью наследия Старой Вены. В гостинице, где я остановился прошлой осенью, - старомодном здании, расположенном в самом центре старого города, - большинство постояльцев были дородные про-

пышными перинами на кроватях, на тихой улочке, за углом которой стоит собор св.Стефана, просыпаешься под приглушенный звон соборных колоколов. Из моего окна открывался прекрасный вид на башни и острые гребни зеленых черепичных крыш в лучах осеннего солнца. Не много найдется мест на земле, внутренняя красота и внешнее изящество которых так же ласкали бы взор, как старый город в Вене. В оба конца моей узкой улочки тянулись старинные здания с фасадами в стиле рококо и ренессанс, на которых сверкали медные вывески с предложением услуг не менее дюжины профессоров, докторов, судейских советников и доцентов. Был даже один советник Верховного суда. Монархию упразднили в 1918 году, но республиканское правительство до сих пор сохраняет при Верховном суде титул действительного советника для ведения дел высших гражданских чиновников. Звание «профессор» считается почетным, и им частенько пользуются оперные певцы, скульпторы и учителя музыки с неплохой репутацией, когда приближаются к пенсионному возрасту. Прежние дворянские титулы отменены, но означает это лишь то, что их не найдешь в телефонном справочнике. Иначе говоря, ими пользуются и относятся к ним с уважением. Как-то я позвонил в контору известного владельца гостиниц и попросил пригласить к телефону господина Х. В ответ мне проворчали: «Его Светлости сегодня нет в городе».

Вена, когда-то столица великой империи, теперь живет своим прошлым. Ее постоянно

*Штандарты Старой Оперы  
Год от года все ниже и ниже.  
Вена - ставшая деревенщиной  
По сравнению с былым  
величием.*

Молодой венский социолог Сильвио Лемани пишет, что в Вене «осуществилась мечта маоистов - деревня поглотила город». Здесь нет даже маломальски серьезной газеты или крупного издательства. Большинство читателей довольствуется сегодня «Neue Kronen-Zeitung», бульварной газеткой из самых желтых в желтой прессе Европы. Когда в конце прошлого лета президент Австрии Вальдхайм вернулся от Саддама Хусейна после переговоров об освобождении австрийских заложников, "Kronen-Zeitung" рассыпалась в любезностях по поводу этого «дружеского подарка», прекрасного вкуса Хусейна в выборе галстуков, садовой мебели, его шуток о Жане Габене и Марлоне Брандо. Тираж «Kronen-Zeitung» около миллиона, что в расчете на душу населения делает эту газету самой читаемой на континенте.

Трудно представить себе другую европейскую столицу с такой же угасающей историей, как история Вены. Местные интеллектуалы часто говорят о последствиях так называемого "биологического Kahlschlag", то есть «чистого удара» - так лесоводы в Австрии называют вырубку, в результате которой уничтожается целый лес. Венцы сетуют на изгнание и уничтожение евреев, гибель миллионов юношей и девушек во время войны. «Еврейское население само по себе мог-

## Амос ЭЛОН

ло поддерживать в Вене приличную газету,» - сказал мне один журналист. В 1938 году, после введения расовых законов, посещаемость государственного оперного театра снизилась на треть. До войны Австрия была крупным научным центром, родиной всемирно известных ученых и художников. Паула фон Прерадовьяк, автор нового национального гимна республики, в 1918 году могла смело называть ее «родиной великих сыновей». Прошлой осенью венский еженедельник "Profil" написал: «Величайшие сыны Австрии либо умерли, либо эмигрировали, во всяком случае, ученые... Научно-исследовательская база Австрии давно уже ничем не лучше, чем в развивающихся странах». Журнал ссылался на данные международного банка информации SCISEARCH («Наука»), которые свидетельствуют о том, что по числу научных работ Австрия стоит после Польши и Венгрии, а шведские и финские ученые публикуют втрое и вчетверо больше научных статей, чем австрийские. Помню, как несколько лет назад в книжной лавке я случайно разговорился с одним венцем (потом я узнал, что это известный писатель). Через несколько минут он спросил, откуда я родом. Я сказал, что из Израиля. Он вздохнул: «Ах, как бы я хотел, чтобы арабы смели его в море!» Я спросил его, почему, собственно? И он ответил: «Тогда, наверное, евреи вернутся в Вену, и здесь снова можно будет жить. Прошла бы эта смертная скука».

Среди всех призраков, терзающих Вену, есть один, вероятно, самый навязчивый - призрак нацизма. Австрийцев, занимавших высокое положение и примкнувших к нацизму, было больше, чем немцев, и, чего и следовало ожидать, аннексия Австрии Германией в 1938 году была воспринята как акт национального освобождения. Но говорят, что хотя австрийцы составляли всего десятую часть населения Великой Германии, в лагерях смерти их оказалось больше половины. Сгинуло там и шестьдесят тысяч венских евреев. Австрия не позволяет себе (или ей не позволяют другие) забыть об этом. Постоянными спутниками всей послевоенной жизни Вены стали неловкость и напряженность. Оказалось, что взлет и депрессия всегда идут рядом. Как и во всей Центральной Европе, выставки, посвященные еврейской культуре и еврейской истории, здесь обычны, и в Венском музее нередко открываются экспозиции под названием «Исчезнувший мир» - пока я был в Вене, я видел две из них. Городские власти разрешили туристский маршрут «По еврейской Вене», жутковатое

мероприятие, напоминающее экскурсию по катакомбам первых христиан в Риме. А книги по иудаизму, не считая всевозможной литературы о монархах и монархии, выставляются в книжных лавках старого города чаще других.

Догнивает свое, конечно, и антисемитизм, но в любопытной, несколько абстрагированной форме, антисемитизм без евреев, ибо в Австрии их осталось всего несколько тысяч, причем большей частью стариков, не представляющих никакого интереса. Австрия замечательно иллюстрирует замечание Сартра о том, что если бы не было евреев, их бы выдумали антисемиты. Большинство нынешних австрийцев никогда не видели евреев или не разговаривали с ними, поскольку две трети населения появились на свет после 1938 года. Однако каждый опрос общественного мнения показывает, что расизм - еще не до конца иссякнутая сила, как утверждал Бруно Крайски. Сам еврей по национальности, Крайски, с 1970 по 1983 год бывший канцлером Австрии, умер прошлым летом, и его хоронили в присутствии кардинала Вены и Ясира Арафата. В одном из своих последних публичных выступлений он заявил, что Австрия незаслуженно оклеветана. Здесь иногда мрачно шутят: «В Вене даже евреи - антисемиты». А самого Крайски частенько ругали, правда, как-то вскользь, за «легализацию» бывших нацистов после того, как он впервые за послевоенную историю страны пригласил в свой кабинет министров сразу четверых ветеранов, включая бывшего штурмбаннфюрера СС. (В Германии подобное просто немыслимо, хотя там никогда не избирали еврея федеральным канцлером.) По результатам опросов общественного мнения судить об австрийском антисемитизме не просто. Даже после мимолетного знакомства с Веной всякий поймет, что на каждого расиста здесь приходится множество либеральных настроенных людей. И все-таки согласно данным за 1980 год двадцать процентов опрошенных высказались за запрет на приобретение евреями движимого и недвижимого имущества. Опрос, проведенный в 1984 году Венским университетом общественных наук, показал, что лишь четырнадцать процентов граждан свободны «от предрассудков против евреев в большой степени». Шестьдесят четыре процента заявили, что евреи «слишком могущественная сила» в политических и экономических сферах. Тридцать четыре процента допускали честное соревнование с евреями. Пятьдесят семь процентов опрошенных заявили, что устали слушать напоминания о гибели миллионов евреев в лагерях уничтожения. Двадцать один

процент из них сказали, что «эмиграция евреев (при нацистах) имела также и свои положительные стороны». По данным последнего опроса двадцать три процента австрийцев говорят, что «евреи не должны занимать высокие государственные посты в нашей стране», а шесть процентов признают, что почувствовали бы физическое отвращение, если бы им пришлось положить руку еврея.

В средствах массовой информации публичный отказ от прежних предрассудков, довольно частый в период между вой-

но она и разбередила затаенную ненависть.

Иногда Фрейда поругивали за то, что ему частенько казалось, будто все люди на свете - его венцы. И все же я, кажется, вправе сказать, что в глазах многих приезжих Вена в первую очередь остается городом Фрейда. Здесь все дышит воспоминаниями об этом ученом. История, архитектура, искусство, даже политика - на все смотришь глазами Фрейда: отсюда его *депрессии, осколочная память, неврозы*. Живописные полотна Эгона Шиле в Бель-

метод. И один добавил, что скандал вокруг Вальдхайма сослужил для Вены полезную службу - он вернул ей психоанализ. «Теперь здесь каждый швейцар толкует о депрессии», - сказал он.

За последние годы сарказм такого рода стал неизбежной частью общественной жизни Вены. Вальдхайма стали время от времени называть Великим Просветителем. В 1988 году во время антивальдхаймовской демонстрации на площади перед собором св. Стефана оратор позабыл толпу, ска-



Мемориальная комната Зигмунда Фрейда.

нами, в первые три-четыре десятилетия после войны стал крайне редким и, как правило, стыдливо скрывался за эвфемизмами. После громкого скандала вокруг прошлого Курта Вальдхайма формулировки приобрели некоторую ясность. В местной прессе одни газеты открыто ругали «евреев-махинаторов», другие, не менее открыто, - «гонителей евреев» (словосочетание, напоминающее времена мрачного средневековья и инквизиции). Кто-то возгласил, что «с незапамятных времен евреи несколько вольно обращаются с истиной». А знаменитый австрийский «Journal für Sozialforschung» («Сборник социальных исследований») опубликовал подробный анализ всех антисемитских высказываний, взятых из трех ведущих венских газет за последние пять лет. Главный редактор сборника пишет, что кампания против Вальдхайма возобновила всеобщую дискуссию по поводу взаимоотношений австрийцев с евреями, что само по себе неплохо,

ведере выглядят, как иллюстрации к «Толкованию сновидений». В своей книге «Австрийская душа» знаменитый венский профессор психиатрии Эрвин Рингель писал, что «Вена являет собой классическую почву для возникновения неврозов и депрессий. И больше всего, - добавляет Рингель, - ненавидит тех, кто напоминает ей об этом».

В доме Фрейда, том самом, который он покинул в 1938 году после вторжения нацистов, память о прежнем постояльце хранят, как о местнотчимом святом. В центре стоит знаменитая кушетка, покрытая защитным слоем пластика. В маленьких комнатах, заполненных старинными безделушками, научными карточками, предметами изящных искусств, изречениями Гения в рамочках, бродят толпы почтительных посетителей. Стены, сплошь увешанные увеличенными фотографиями, дают полное представление о том, как выглядел врачебный кабинет Фрейда. Я случайно услышал, как два молодых человека обсуждали его

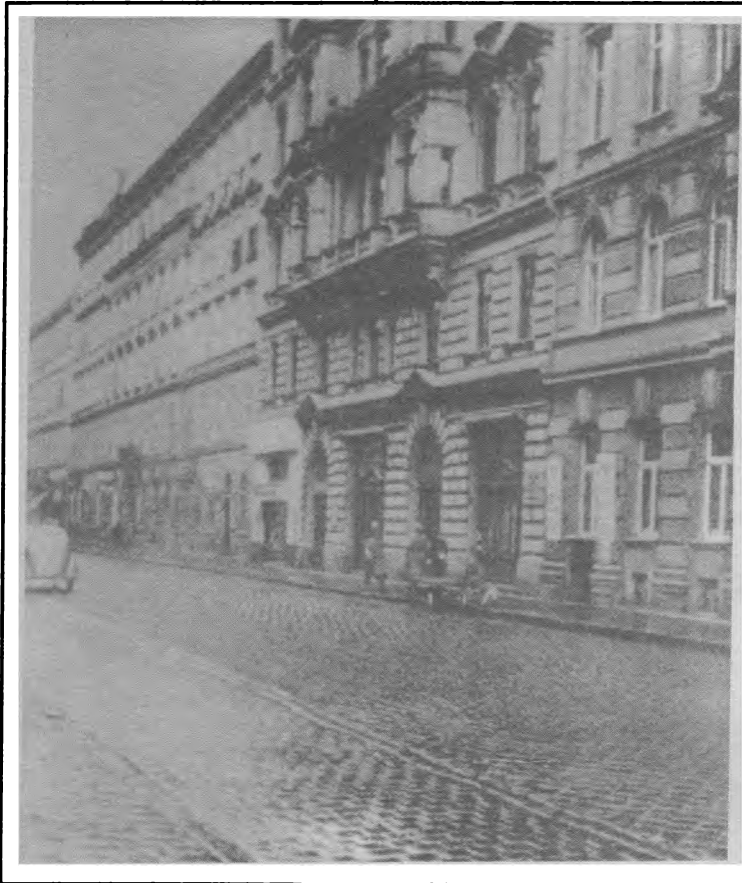
зав: «До сих пор мы только критиковали Вальдхайма. Но не надо забывать о его положительных сторонах. Благодаря ему австрийская историография расцвела, как никогда. Изучается наша история периода нацизма... Теперь, благодаря Вальдхайму, явно стал популярным психоанализ, который до этого десятилетиями называли еврейским Schweinerei\*. Вальдхайм представляет собой не только Verdrängungsmaschine - машину подавления, но и не менее грандиозную Aufklärungsmaschine - машину просвещения. У него почти магическая способность оживлять все, что есть в этой стране злобного и бездарного. И когда он уйдет, - а он уйдет! - вместе с ним исчезнет и все это».

В действительности никто не знает, к каким последствиям и в политике, и в культуре приведет это новое увлечение прошлым. Проблема Вальдхайма лишь поставлена, но не решена.

\*Свинство (нем.)

Неточные или преувеличенные обвинения помогли Вальдхайму сохранить свое положение, а всем остальным - забыть о том, что он им солгал. Тем не менее интеллигенция не намерена отказываться от открытого обсуждения этого дела. Вспомните, как в марте 1986 года, когда выяснилось, что Вальдхайм служил в нацистской кавалерии, и когда он застенчиво признал, что вступил туда из спортивного интереса, член социалистической партии, канцлер Фред Зиноватц сардонически произнес: «Я понял - это не он был

Монумент, о котором идет речь, названный «Против войны и фашизма», был воздвигнут позади здания Оперного театра, напротив Моцартовского кафе, в ноябре 1988 года. (Любители кино, возможно, знают это кафе по первым кадрам фильма Кэрола Рида «Третий человек»). Много лет назад проект монумента утвердил какой-то необъясненно мужественный мэр. Монумент - это бронзовая фигура и четыре грубо обработанные базальтовые плиты, привезенные из бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен близ Линца.



Вена. Дом Зигмунда Фрейда.

нацистом, а его лошадь».

Осенью 1988 года скандал разразился с новой силой. Поводом для него послужили два якобы культурных события. Первое - установка так называемого Mahnmal\* - монумента на площади в центре Вены, автором которого был Альфред Грдличка. Второе - новый спектакль «Бургтеатра» по пьесе австрийского драматурга Томаса Бернгарда. Судя по словам Зигфрида Леффлера, художественного критика из журнала «Profil», оба события «стали продолжением истории с Вальдхаймом, но другими средствами».

Немецкое слово Mahnmal появилось недавно, и его можно найти только в послевоенных словарях. Этим словом называют скульптурное сооружение, которое одновременно является памятником и предупреждением, предостережением и уроком.

На одной из них выбит Орфей в царстве мертвых, на другой - цитаты из Австрийской декларации независимости, принятой после освобождения от власти Третьего Рейха. За ними, над фигурой стоящего на корточках пожилого человека, который чистит щеткой тротуар, возвышаются еще две каменные плиты, олицетворяющие фашизм. Это напоминание о 1938 годе, когда фашистские головорезы заставляли венских евреев - и мужчин, и женщин, - скрести улицы зубными щетками.

Это горький и страшный памятник. Грдличка хотел заставить каждого прохожего проникнуться чувством вины и стыда, и возможно, достиг своей цели. Всем прекрасно известны по фотографиям сцены, когда пожилые мужчины и женщины скребли тротуары в самом центре Вены, окруженные ухмыляющимися молодцами в кожаных штанах и девицами в пышных юбках. В самом деле, монумент

Грдлички вызывает чистейший ужас, и многих он пробирает до самого нутра. В Германии нет ничего подобного. Немецкий писатель Клаус Харп-прехт недавно заявил, что ни одно немецкое правительство, правое оно или левое, не посмело бы поставить немецких граждан «так непосредственно, так жестоко перед лицом прошлого, которое еще не до конца стало прошлым». Скребуший тротуар еврей Грдлички - это зримое, страстное, идущее от сердца признание вины, и вины, «более тягостной и реальной, чем любая военная карьера, о которой - какой бы она ни была - молодые могут узнать лишь по архивным документам Вермахта».

Задолго до открытия, когда монумент существовал еще только на бумаге, его осуждали за оскорбительную безвкусицу, говорили, что работа поручена не тому человеку и место для нее выбрано неверно. Посыпались предостережения, что установка памятника снизит приток туристов во время празднования двухсотлетия Моцарта - в конце концов, в двух шагах от него и роскошная Кэртнерштрассе, и Опера, и музей «Альбертина», и туристам вряд ли понравится все время проходить мимо скрючившегося на четвереньках еврея. Говорили, что памятник - это «кусочек сталинского пирога», что центр города должен быть «чист», что это место слишком хорошо для проектируемого монумента и уже предназначено для памятника Моцарту. Газеты печатали слова скульптора: «Искусство - это борьба с властью». И обвиняли его, кто во что горазд, - он, мол, пьяница, коммунист, пацифист, анархист, скандалист и конъюнктурщик.

Потом были попытки добиться установки уже готового памятника где-нибудь в другом месте - сначала на площадке перед Маутхаузеном, потом - в еврейской части Центрального кладбища Вены. Когда эти попытки не увенчались успехом, монумент предложили установить на Морцинплатц, зловещей площади на окраине города, где находилось управление гестапо. Выдвигались и религиозные, и этические возражения. На том месте, где предполагали установить монумент, когда-то был дом, разрушенный во время бомбежки и похоронивший под собой в подвальном бомбоубежище много людей. Было сказано, что монумент «осквернит» их прах и «нарушит покой». Наконец, последовало и возражение Министрства защиты окружающей среды, которое принялось уверять, что зеленый газон в этом месте необходимо сохранить из экологических соображений.

Борьба за монумент продолжалась более десяти лет. И особенно разгорелась накануне

его открытия. Сторонники Вальдхайма выступали против. Социалисты выступали за, отчасти из-за того, что они проиграли на выборах и собрались преподавать противникам такой урок, какой те не скоро забудут. Не нравился памятник и евреям. Одних смущала поза старика, и они говорили, что не желают, чтобы им снова напоминали обо всех унижениях. Венскому жителю Симону Визенталю, который занимался розысками нацистов и помог напасть на след Эйхманна, не нравилось название. «Почему «против фашизма?» - спрашивал он. - Почему не «против нацизма?» Другие протестовали против слова «война». Третьи же опасались того, что ужас, который вызывает монумент, станет привычным, и это умалит его значение, а люди станут жевать бутерброды, сидя на его плитах. Владелец картинной галереи на Рингштрассе Джон Сейлер сердито сказал по поводу монумента, что, мол, скоро «кое-кто» начнет приводить к нему детей и говорить: «Вся эта чушь об Аушвице и Трешлинке - ложь. Видите? Они всего лишь заставили нескольких человек счистить с тротуара рисунки». На открытие монумента пришли тысячи людей, включая и главного раввина Венской общины, и мэра Вены Хельмута Цилька, и федерального канцлера Франца Вранички, но среди них не было ни министра иностранных дел Австрии Алоиза Мокка, ни других ведущих лидеров Народной партии, которые решили бойкотировать это событие. Моего можно сказать и в пользу памятника, и против него. Возникший спор продолжается и по сей день. Когда бы я ни проходил мимо, возле него стоят люди. Мне рассказали, как во время публичной дискуссии по поводу монумента пришла одна старая еврейка и сказала, что в 1938 году ей самой пришлось так же чистить тротуары в Грабене. Мимо монумента она проходит часто, и даже охотно. И она добавила: «Меня радует, что нет, да кто-нибудь и положит там цветы».

Как и монумент Грдлички, пьеса Томаса Бернгарда «Heldenplatz» («Площадь героев») вызвала злобные нападки со стороны политиков задолго до того, как ее поставили на сцене. А когда в ноябре 1988 года ее впервые увидели зрители, президент Вальдхайм строго осудил пьесу, где его называли лжецом, и потребовал изъять ее из репертуара театра, финансируемого государством. Превосходный стилист, один из самых известных и удачливых австрийских драматургов, Томас Бернгард умер от сердечного приступа в возрасте пятидесяти восьми лет через несколько месяцев после премьеры. В обществе Бернгард занимал уникальное положение - этакое «лауреата-

\*Предостережение, напоминание (нем.)

брюзги". Марсель Райх-Раницки, много лет проработавший главным редактором газеты немецких консерваторов "Frankfurter Allgemeine", однажды сказал, что австрийцу Бернгарду не нужно далеко ходить за своими персонажами, мрачными и болезненными, - маньяками, психопатами, умирающими, преступниками и самоубийцами.

Венская Хельденплац - это большая, открытая площадь, расположенная между Рингштрассе и Хофбургом, бывшим императорским дворцом. Пятнадцатого мая 1938 года, через несколько дней после вторжения немецких войск в Австрию, именно отсюда Гитлер заявил "о свершении главного события моей жизни, вхождении моей родины в Третий германский Рейх" - и трехтысячная толпа с восторгом подхватила его слова. На Хельденплац находится и официальная резиденция Вальдхайма. В пьесе Бернгарда история Хельденплац, если так можно сказать, сопровождается рассказом о закончившейся самоубийством трагедии старого еврея, профессора Шустера, покинувшего Вену в 1938 году. Действие пьесы начинается спустя несколько часов после смерти Шустера и сплошь состоит из горьких, в большинстве - превосходных диалогов и общих разговоров между оставшимися в живых родственниками - его женой, дочерьми и братом. Через пятьдесят лет после своего бегства, в 1988 году, Шустер вместе с семьей вернулся в Вену и поселился в квартире с окнами на Хельденплац. Но вскоре он пожалел об этом. Он понял, что отношение к евреям не изменилось. Вдобавок ко всему, у его жены начинаются галлюцинации - она слышит, как толпа на Хельденплац кричит "Sieg Heil!" И когда Шустер выбрасывается из окна, зрители понимают, что он совершил это из-за Вальдхайма, из-за антисемитизма, из-за полного упадка, охватившего Австрию.

Пьесу поставил Клаус Пейманн, много лет возглавлявший "Бургтеатр". Он родом из Западной Германии и твердо верит, что степенную публику надо время от времени встряхивать. Скандал из-за пьесы разгорелся в местной печати задолго до премьеры, оправдав старую поговорку, что Вена простит все, кроме отнятого зрелища. В знак протеста против негативного изображения в пьесе австрийцев из театра ушли шесть актеров. До газет дошли вырванные из контекста цитаты, вызвавшие политическую реакцию. Политики говорили, что все они, разумеется, за свободу творчества, но такое "страшное оскорбление" уже чересчур. Министр иностранных дел Мокк заявил, что не позволит никому, "кто нажил свой капитал на деньгах налогоплательщиков", оскорблять

Австрию. Мокк и компания потребовали увольнения Пейманна. Но министр просвещения и культуры, член партии социалистов, Хильде Хауличек осталась тверда. "Сама я не стала бы писать такую пьесу, - сказала она, - но не только поучения входят в задачу искусства. Оно должно и встряхивать людей". Пейманн сказал, что звучащий повсюду призыв восстановить цензуру напоминает о "временах Меттерниха". Как и в случае с монументом Грдлички, кампанию против "Хельденплац" возглавляла "Kronen-Zeitung" публиковавшая тенденциозные репортажи, колонки новостей и ловко подобранные письма читателей. В день премьеры газета в полную страницу напечатала фотомонтаж с изображением охваченного пламенем "Бургтеатра", снабдив его надписью "Любители жареного" и почти впрямую подстрекая к поджогу. На стенах театра чертили свастики. В центре Вены, на роскошной Биллротштрассе аlegantно одетый прохожий напал на Бернгарда, размахивая палкой и вопя: "Пора с тобой разделаться!" Комментируя это происшествие, венский еженедельник "Falter" ("Бабочка") писал: "Этот замечательный джентльмен, видимо, принял Бернгарда за еврея". Невероятный шум и разгорающаяся ксенофобия стали постоянными спутниками этого скандала. В конце концов, весь город превратился в гротескные подмостки, где жизнь вступила в схватку с фантазиями Бернгарда.

Когда, наконец, состоялась премьера спектакля, в котором были заняты лучшие актеры труппы, наступило нечто вроде разрядки. Даже критики из "Kronen-Zeitung", разобравшись в психологических и драматических перипетиях пьесы, признали, что не обязательно рассматривать ее как политический памфлет. Это скорей "необыкновенно смешная комедия театра абсурда", где "часто цитируемые политические "противники" имеют второстепенное значение". "Хельденплац" показали и по австрийскому телевидению. Она оставалась в репертуаре "Бургтеатра" более двух лет и всегда шла при полном зале. Я видел ее в прежний приезд, посмотрел и на этот раз, в записи на пленку, и снова меня поразили великолепное исполнение и западающие в память совершенно живые мизансцены. Обозреватель гамбургского "Die Zeit" ("Время") написал: "Конечно, пьеса построена на преувеличениях... С другой стороны, преувеличить можно только то, что существует в действительности. Если подходить с этой точки зрения, Бернгард - самый острый реалист Австрии. (А каждый скандал вокруг имени Бернгарда оборачивается для него вели-

чайшим триумфом.) Вальдхайм и все остальные в который раз слепо угодили в его ловушку". Премьерный спектакль то и дело прерывали свист и одобрительные возгласы. Многие явно хотели сорвать представление, но - bitte schön - и посмотреть его до конца. Потом была сорокаминутная овация, свист и насмешливые крики. Тотчас подметили, что в тот момент, когда на сцене раздались слова "Вальдхайм - лживый, неискренний филистимлянин", в зале не раздалось ни одного крика - стояла мертвая тишина.

Как-то утром я брал интервью у Вальдхайма, в его кабинете, в так называемом Леопольдовом крыле старого императорского дворца. В этом крыле, построенном в семнадцатом веке, кремовые стены богато украшены золотом, венецианскими зеркалами, портретами императоров и драгоценными часами, а покои обставлены изящной мебелью в стиле рококо. Гостиная президента, наверное, одна из красивейших гостиных в мире, занимает бывшую спальню императрицы Марии Терезии. Кабинет президента, выходящий окнами на Хельденплац, находится от нее в нескольких шагах.

Когда я вошел, Вальдхайм, одетый в темный костюм, стоял под огромным канделябром. Он стоял выпрямившись, но казался каким-то перекошенным и до странности кособоким. Его лицо поразило меня своим дружелюбием. Энергичный профиль, твердый подбородок, свидетельствующий о жестком, упрямом характере этого человека, умеющего дожидаться своего часа. (Кто-то из противников Вальдхайма заметил, что его твердость всегда одета в резиновый планг.) В последние годы Вальдхайм был довольно одинок и лишен возможности делать то, что ему нравилось больше всего - разъезжать по разным странам и беседовать с тамошними лидерами. После избрания на пост президента он смог съездить лишь в Ватикан для встречи с Папой и в несколько арабских и африканских столиц. Еще не так давно европейские министры иностранных дел договаривались о встрече с австрийской стороной в Зальцбурге, Клагенфурте, Граце, хоть в любой глухой альпийской деревушке, только бы не в Вене, где согласно протокольным правилам потребовалось бы пригласить Вальдхайма. Но по Австрии он ездил достаточно. Иногда, несколько несообразно своему положению, надевая пестрый наряд жителей Верхней Австрии или тирольские Трachten\*. Прошлым летом на открытие музыкального фестиваля в Зальцбурге

частным образом приехал Вацлав Гавел. Его пригласили сюда как писателя задолго до избрания в президенты Чехословакии. В своем публичном выступлении, в присутствии Вальдхайма, Гавел бросил ему упрек, сказав: "Давайте же, наконец, спокойно посмотрим и в лица друг друга, и в лицо нашего прошлого... В этой части земли страх разоблачения одной лжи порождает другую... Самонадеянная мысль, что можно безнаказанно ускользнуть от суда истории и переписать собственную биографию, - заблуждение, очень распространенное в Центральной Европе. Тот, кто пытается это сделать, наносит вред и себе, и своим согражданам". Вальдхайм, который, казалось, был несколько тронут его словами, позднее заявил, что не понимает, какое отношение могла иметь речь Гавела к нему лично. Международная комиссия, созданная для того, чтобы разобраться в его прошлом, - группа историков, которых он приглашал сам и чью работу оплачивает правительство Австрии, - заключила свой сдержанный отчет словами: "Рассказ Вальдхайма о своем военном прошлом во многом расходит с результатами работы комиссии. Вальдхайм хотел, чтобы о его прошлом забыли, и, поскольку это невозможно, попытался приуменьшить его значение, выставив все в невинном свете. По мнению комиссии, провал в памяти Вальдхайма, относящийся ко времени войны, настолько глубок, что мы не смогли добиться от него сколько-нибудь отчетливых объяснений".

В кабинете президента мы усадились на мягких стульях, обитых камчатной тканью, под огромным полотном восемнадцатого века, изображающим посещение оперы в Шенбрунне императорской семьей. После нескольких начальных фраз я спросил Вальдхайма, читал ли он, что о нем пишут в газетах. Он сказал, что видел только некоторые из них, но и этого достаточно, чтобы расстроиться. Он вздохнул. В его семье привыкли принимать такие вещи близко к сердцу, вероятно, ближе, чем следует. Он сожалеет об этих нападках. Они глубоко его огорчают. Он не железный. Любой анализ прошлого покажет, что его обвинители несправедливы.

Он сидел, немного ссутулившись, похожий на печального тюленя, спиной к огромным окнам, выходящим на Хельденплац. Днем раньше я смотрел видеозаписи пьесы Бернгарда и не смог не спросить, где он был, когда в 1938-м там, внизу, толпа приветствовала Гитлера и редела "Sieg Heil!" Вальдхайм сказал, что в тот день он был дома, у своих родителей, в Тюльбене, небольшом городке Нижней Австрии, в пятнадцати

\*Костюмы (нем.)

милях от Вены. Вальдхайм сказал, что тогда он был бедным студентом. Он не мог позволить себе жить в Вене и каждый день добирался в университет оттуда. Но даже если бы он оказался в тот день в Вене, он не стал бы кричать "Sieg Heil!" В конце концов, разве не арестовали и не мучали его отца нацисты? Он помнит, как его мать сидела в подвале и горько плакала. Он настаивал на том, что его враги выбрали себе не ту мишень. Да, он не присоединился к австрийскому Сопротивлению, но и в Вермахт он не пошел добровольцем. Он просто хотел выжить.

Если это так, спросил я, почему же во время избирательной кампании он сказал, что выполнял свой долг?

Ну, сказал Вальдхайм, возможно ему следовало употребить более удачное выражение. Это промах, но кампания была очень трудной.

Во всем виноваты югославы, заявил он. В пятидесятые годы по политическим мотивам они сфабриковали против него эти обвинения. Незадолго до этого Югославия потребовала, чтобы Австрия вернула часть земель Каринтии. А так как во время войны он служил на Балканах, югославы и сострапали это дело, чтобы поставить Австрию в неловкое положение. Позже, из-за того, что в своей книге "Во время шторма" он опустил военный период, нашлись люди, решившие, будто ему есть что скрывать.

Но почему же, спросил я, он умолчал об этом важнейшем факте в своих мемуарах? Вальдхайм запротестовал - это не мемуары, он так и написал в предисловии. Он поднялся и подошел к столу за книгой. Собственно говоря, добавил он, этот пропуск на совести редактора английского издания, который решил сосредоточиться на его деятельности в ООН, и считал, что читателям не интересно, кто чем занимался во время войны. Да, согласился Вальдхайм, вышло несколько его автобиографий, где тоже не упоминается о службе на Балканах. Дело в том, что служба на Балканах не считалась в вермахте службой на фронте - там ведь были одни партизаны. Возможно, добавил он, он никогда не писал о войне именно потому, что не чувствовал за собой никакой вины. Он ни разу не слышал о каких бы то ни было зверствах; может быть, что-то случилось, когда он уезжал в отпуск, в Вену. Он сожалел о страшных трагедиях войны и выражал глубокое прискорбие по их поводу. Он осуждал и поведение некоторых австрийцев и утешал себя мыслью, что ни он, ни другие члены его семьи не были нацистами.

Почему же он подвергается критике со стороны столь многих людей, спросил я.

Причина простая, считал Вальдхайм. Это связано с его деятельностью Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. И то, что в 1971 году, когда он впервые выставил свою кандидатуру на пост президента и провалился на выборах, никто не выдвигал никаких обвинений, лишь подтверждает это. В 1986 году он оставил свой пост в ООН и второй раз участвовал в выборах - вот тут-то и возникли обвинения, потому что за время его деятельности в ООН он нажил себе множество врагов, в основном, из-за своего отношения к ближневосточной проблеме. Нет, он не хочет сказать, что ему просто встят. Но все же скандал начался тогда, когда у его американских недругов и определенных политических противников в Австрии появились общие интересы.

Я сказал, что встречал в Вене людей, не относящихся к его политическим противникам и все же считающих, что и для него, и для Австрии было бы лучше, если бы президент добровольно ушел в отставку, очистив свое имя и освободив страну от двусмысленного бремени своих проблем.

Вальдхайм не согласился назвать это бременем для страны. Напротив, туризм процветает, экономика на подъеме. Он, действительно, находится в международно-изоляционной и сожалеет об этом, но народ на его стороне. На выборах он получил пятьдесят четыре процента голосов, а после поездки в Ирак его личная популярность возросла до семидесяти четырех процентов. Он набожный человек - бог и история рассудят, кто прав.

И снова о призраках. Когда в 1908 году начинающий художник-жанрист Адольф Гитлер приехал в Вену, он, немного покочевав по городу, остановился в грязной ночлежке для бездомных на Мельдемаништрассе, 27. И тогда, и сейчас Мельдемаништрассе - это жалкая маленькая улочка в районе между огромными складами северной железной дороги и дунайскими доками. Каждый день, выходя в город, чтобы любоваться чудесами Рингштрассе и разрисовывать почтовые карточки, Гитлер переходил через железнодорожное полотно и протискивался сквозь толпу в старом Леопольдштадте. В конце Таборштрассе он сворачивал направо и по мосту, перекинутому через темные воды Дуная, входил в старый город. И где бы он ни проходил - по Леопольдштадту или по старому городу, - всюду ему попадались иностранцы, и его "начинало тошнить от их запаха". Вена оказалась подмостками, где с ним произошел "величайший духовный переворот... Я перестал быть слонявым космополитом и сделался анти-семитом".

Однажды и я прошелся от Мельдемаништрассе до старого

города через железнодорожные рельсы и кварталы Леопольдштадта. В этих местах всегда появляется искушение представить себе Гитлера, в длинной черной куртке и засаленной шапчонке проходящего по оживленным улицам мимо написанных по-еврейски вывесок магазинов, мимо кошерных бакалей. В начале века выходы из Восточной Европы составляли треть населения Леопольдштадта. Часть кварталов, сильно разрушенная от бомбежек, не восстановлена до сих пор. Этот район и сейчас непохож на другие. Иностранная речь здесь звучит, кажется, и чаще немецкой: румынская, чешская, русская, польская. Здесь опять кишат эмигранты и беженцы, как и перед началом первой мировой войны. Я заметил автомобили, большей частью старые и помятые, с польскими и чешскими номерами. И в наши дни близость к железнодорожному вокзалу обеспечивает относительно высокий процент иностранцев среди жителей этого района.

Говорят, что лишь в прошлом году в Западную Европу иммигрировало более полумиллиона чехов, русских, поляков и румын, и многие из них осели в Австрии. На сегодня австрийские иммиграционные законы и правила считаются самыми либеральными в Западной Европе. Чехам и венграм не нужна даже въездная виза. Для поляков подобная льгота действовала до прошлого лета, когда под давлением политических кругов пресса занялась обсуждением этого вопроса. (Я слышал, как диктор австрийского радио говорил, что новые правила получения въездных виз для поляков разработаны, "чтобы дать бой ксенофобии австрийцев".) Говорят, несмотря на то, что каждое второе или третье имя в Вене чешское, венгерское, хорватское или польское, общее предубеждение против этих и других восточноевропейских национальностей за последние пятнадцать месяцев распространилось еще шире. Хотя Венгрия и Чехословакия открыли свои границы уже больше года назад, до сих пор туристы из Восточной Европы, горящими глазами шарящие по сверкающим витринам, - обычное в здешних местах явление и объект для всевозможных комментариев. В иммигрантах из стран Восточной Европы видят причину роста преступности, наркомании и проституции. Иммигранты стали основным пунктом национальной избирательной кампании в октябре прошлого года. Партия Свободы подняла антиамериканский лозунг нацистов времен войны, заполонив весь город плакатами "Вена не должна стать вторым Чикаго". Партия удвоила свои силы.

Весь прошлый год антииммиграционная кампания набирала силу, и удивительно, что до

сих пор не было никаких беспорядков, ставших обычными в нынешней Англии и даже Италии. Эта же кампания привела и к переоценке многих ценностей. Прошлой осенью некоторые общественные организации начали борьбу с предрассудками. Они обращались к венцам, напоминая, что мэром Вены избран человек по фамилии Цильк, федеральным канцлером - Вранглицки, а его предшественником был Зиноватц, и что даже фамилия президента звучала как Вацлавик, пока его отец не сменил ее на Вальдхайма.

Однажды вечером я попал на дискуссию по этому вопросу; говорили о национальной амнезии и так называемой способности "не рыдать о прошлом", вызвавших некоторый вакуум в общественной жизни Австрии. Говорили о том, что политики боятся не самого Вальдхайма, а возможной всеобщей поддержки президента. Взволнованный молодой человек говорил о том, что несмотря на недавний всплеск предрассудков и ксенофобии, ностальгическая мечта о воссоздании "Средней Европы" все еще сильна, и что многие думают, будто в этом и заключается историческая "роль" Австрии. Он сказал, что худшие из австрийцев - ксенофобы, а лучшие больны "новой миссией". "Почему люди всех национальностей вечно ищут какие-то миссии?" - спрашивал он. Дискуссия продолжалась до поздней ночи. Снаружи было холодно и шел дождь, а внутри разгорались страсти и злость - было сказано немало очень резких фраз. И среди всех разбуженных призраков встал еще один - призрак Карла Крауза, знаменитого австрийского "брюзги-лауреата" двадцатых годов, который написал о своих соотечественниках после первой мировой войны: "Они забудут, что проиграли войну, забудут, что начали ее, забудут, что воевали. И потому - она не окончена".

**В** задачу этой книги не входит проследить далекие последствия жизни, которая окончилась той мартовской ночью в Кунцево. Они оказались ужасны и продолжительны. На похороны Сталина стеклись такие толпы людей, что многие погибли в давке. Андрей Сахаров пишет: «Обезумевшие и смятенные люди бродили по улицам под отголоски траурной музыки. Я тоже поддался общему настроению». С чувством стыда Сахаров рассказывает о том, как даже он писал в личном письме: "Нахожусь под влиянием смерти великого человека.

шительного раскрытия правды о сталинизме и о самом Сталине, которая включала в себя не только факты и аргументы, но и вскрытие массовых захоронений.

В Советском Союзе даже сейчас есть сталинисты, люди, в основном, пожилые и необразованные, хотя (как недавно отметила газета «Известия») сталинистами являются и бюрократы, которым нет никакого дела до Сталина, но которые поддерживают память о нем, таким образом «защищая свои позиции» от угрозы демократизации.

Но более серьезная проблема заключается в том, чтобы искоренить пережитки сталинизма из сознания людей доброй воли. Смелые борцы за гласность Лев Разгон и Виталий Коротич говорят об одном и том же.

## Роберт КОНКВЕСТ

чем, не достигавшегося) какой-то глубокой потребности. По-видимому, мы сталкиваемся с тем, что обычные человеческие качества, как бывает у Сталина очень часто, или вообще отсутствуют, или атрофированы до рудиментарной формы.

Одной из основных черт его личности во многих ее проявлениях была глубокая посредственность в сочетании со сверхчеловеческой силой воли. Словно мозг у него был очень ординарный, но с гипертрофированным развитием некоторых долей,

# СТАЛИН СЕГОДНЯ

Думаю о его человечности". Он с горечью замечает, что, хотя у него скоро прошло это чувство, «лишь годы спустя я в полной мере осознал, насколько всей сталинской системе присущи ложь, эксплуатация и откровенный обман». «Это свидетельствует, - добавляет он, - о том, какой гипнотической силой обладает массовая идеология». Борьба за то, чтобы исцелить политические, экономические, интеллектуальные и психологические раны, которые Сталин нанес собственному народу (хотя не только ему), все еще идет и в 1990-е годы.

Она началась (в малом) через несколько дней после его смерти, когда, как мы узнаем сейчас, его преемник Георгий Маленков в выступлении на закрытом пленуме ЦК 10 марта 1953 года говорил об ущербе, нанесенном культом личности. Антисемитская чистка была остановлена, а врачи освобождены - хотя в действиях, которые были предприняты против них, в «грубом нарушении советского закона», в том числе и в «откровенной фальсификации свидетельских показаний», обвинили не Сталина, а «жалкого авантюриста» Рюмина. На широкой же публике имя Сталина приблизительно еще год после его смерти звучало лишь немногим более приглушенно. Но в 1956 году в знаменитой «секретной речи» Хрущев огласил выборочный список сталинских злодеяний - отчего некоторые давние коммунисты впали кто в истерическое, а кто в шоковое состояние. Тем не менее даже Хрущев признавал за Сталиным благие политические намерения и определенные заслуги в деле строительства социализма. А когда Хрущев пал, началась явная ресталинизация. На самом деле, в 1969 году, а потом и в 1979-м, к столетию со дня рождения Сталина, предполагалось произвести полную реабилитацию его имени. Ее с трудом удалось предотвратить благодаря сильному давлению со стороны ведущих советских интеллектуалов и лидеров зарубежных компартий.

Между тем созданная Сталиным политико-экономическая система продолжала существовать. Лишь в конце восьмидесятых годов советское руководство осознало, что сталинский «командно-административный» стиль в экономике разрушил страну и, самое главное, что его сохранение во многом держалось на самообмане.

После того как были осознаны пагубность лжи и отсутствия свободы дискуссии, объектом критики постепенно сделалось все сталинское прошлое в целом, а в самом конце восьмидесятых годов началась кампания непрерывного, тотального и опусто-

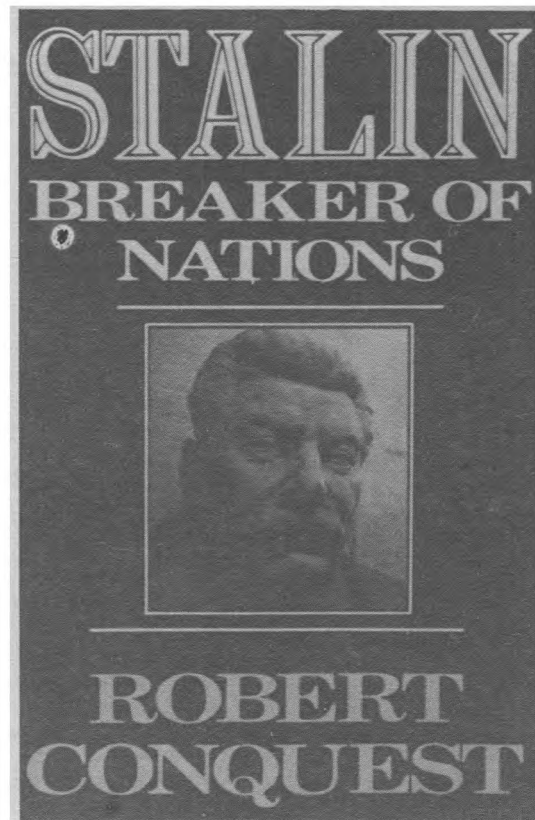
«Рабский ужас перед Сталиным живет в крови и плоти людей, которые его никогда не знали», - пишет Разгон; Коротич: «Всю жизнь у меня внутри был Сталин», - хотя он добавляет: «Это был школьник Сталин, а у политиков, у тех были большие Сталины». Если о чем-то в этой книге было сказано недостаточно, хотя бы потому, что сказать достаточно почти невозможно, то это о психологических ужасах массовой фальсификации, превосходящих физические ужасы массового террора. Сознанию людей навязывался разрыв не просто между правдой вообще и ее официальной интерпретацией, а между непосредственной реальностью их собственной жизни и жизни страны и тем иллюзорным миром, с которым они должны были внутренне согласиться. По словам советского историка Натана Эйдельмана, значительная часть советского населения в сталинский период жила под «особым гипнозом». Освобождение от него оказалось чрезвычайно трудным и болезненным.

## 2

Что можно в заключение сказать о личности человека, который так глубоко проник в жизнь и души своих подданных в России и в других подвластных ему краях и землях?

Почти во всех отношениях Сталин был аутсайдером. Ему было чуждо естественное чувство преданности семье, дому, народу, школьным товарищам. Он не был ни грузин, ни русским. Он не был ни рабочим, ни интеллигентом. Ленин и большинство сколько бы то ни было известных первых большевиков происходили из среды русской интеллигенции. Верно, что интеллигенцию раздирала вражда, но то была вражда внутри признанного и в общественном и в интеллектуальном отношении слоя - лишь на периферию которого, и лишь снисходительно, допускался Сталин.

Его супружеская жизнь была пустой видимостью. Его общение с друзьями - плохо замаскированным притворством, которое со временем выродилось в натужное веселье в компании грубых и запуганных подхалимов. И это мрачное и двусмысленное подобие доброй дружбы в долгие ночи кремлевских ужинов, по-видимому, создавалось для удовлетворения (никогда, впро-



как у чудовищных черепов ранних картин Дали.

Очевидно, что все его существо пронизывало глубокое чувство неуверенности. Оно проявлялось в постоянной фальсификации собственной роли, распространявшейся на события вплоть до начала века и более ранние. Но оно заметно также и в совершенных мелочах, например, в стремлении к внешней законности во всех видах. Наглядное подтверждение - то, с каким пиететом он относился к членству некоторых старых большевиков в царской Думе. И мы узнаем, например, что ему было особенно приятно видеть в числе своих сторонников Ванду Василевскую, потому что она являлась «дочерью известного предвоенного польского министра».

Он также, как убедительно показал Роберт К. Такер, был невероятно общив. Даже в двадцатые годы, когда карикатурист Борис Ефимов представил в «Правду» дружеский шарж, - у Ленина и других, ког-

да они бывали на них представлены, такие шаржи вызвали смех и одобрение, - его вернули с запиской от тогдашнего секретаря Сталина Товстухи: «Не одобряется». Опять же, поначалу он пришел в крайнее раздражение, услышав от Рузвельта, что они с Черчиллем называют его «дядюшкой Джо», и понадобилось его убеждать, что это не влечет ущемления его достоинства.

Сталин стремился произвести впечатлительные даже в мелочах. Так, например, после войны у него была назначена встреча с одним адмиралом. Он вызвал Поскребышева, чтобы тот положил ему на стол стопку книг по лингвистике, а затем объяснил моряку, как он сожалеет о том, что не смог раздобыть некоторые предреволюционные издания по этой дисциплине. Пример незначительный; чаще речь шла о том, чтобы притворно-дружеским поведением обмануть партийных чиновников или иностранцев, которые по видимости принимались как союзники, но на деле рассматривались как будущие жертвы.

Многие, кто писали о Сталине, отмечали его актерские способности. Адам Улам говорит о его «большом актерском даровании», а Роберт К. Такер о его «чрезвычайной сценической одаренности», также и Джорж Ф. Кеннан называет его «превосходным актером». Но какую бы роль ни играл Сталин, по словам одного советского исследователя, он подчас вживался в нее, казалось, до полного растворения и действительно верил в собственный обман, по крайней мере, некоторое время.

Во всяком случае, грань между тем, во что он действительно верил, и тем, что представлялось наиболее подходящим обоснованием того или иного поступка, трудноопределима. Действительно ли он верил в то, что Бухарин был гитлеровским агентом? Вероятно, на каком-то уровне нет. Но Сталин считал его врагом, а «объективно» враг был гитлеровским агентом по существу, невзирая на голые подробности и факты. Так изображает сталинскую ментальность Кестлер - областью, в которой понятия лжи и правды в обычном понимании уже не имеют смысла.

### 3

Образ, который возникает при мысли о Сталине, - это образ «Сатурна, пожирающего своих детей» Гойи. Вскоре после того, как он вновь живо встал в моей памяти, год-два тому назад я встретился в Москве с одним известным советским писателем, который только что побывал в Праге и увидел картину в оригинале. Опередив меня, он сказал, что эта аналогия сразу же пришла ему в голову и очень его поразила.

Впечатление нечеловеческого ужаса, действительно, очень сложное. Все же, если подумать, то есть и различия. Не только в том, что огромный, похожий на великана-людоеда Сатурн пожирает лишь собственных детей - недостаток, в коем не был замечен Сталин. Но еще и застывший взгляд и всклокоченные волосы Сатурна являют разительную противоположность тому, каким спокойным и подтянутым предстал на публике Сталин. Сказанное, однако, не значит, что за этим фасадом не скрывалась личность столь же маниакальная и разрушительная, какую с величайшей силой психологического проникновения изобразил художник. Иногда сквозь обычно спокойную внешность Сталина действительно прорывалась бешеная, безудержная ярость.

Советские психологи теперь открыто обсуждают вопрос об изначальной или развившейся со временем невменяемости Сталина. Достаточно очевидно, что он был психически ненормален. Если назвать его

параноиком, не в медицинском смысле слова, а в том, в каком оно употребляется в обыденной речи, это едва ли вызовет возражения.

Сталин говорил своему французскому угоднику Барбюсу, что лучшей основой сотрудничества является здоровое недоверие. Но это смягченная формулировка для обозначения его неизменной привычки всюду подозревать врагов, - в подтверждение которой мы уже приводили столько примеров.

Кроме того, он был жесток от природы. Его советский биограф Волкогонов «говорил с сотнями людей, которые лично знали Сталина», и пришел к выводу, «что жестокость была просто неотъемлемым свойством этого человека».

Чтобы убедиться в притягательности террора и смерти лично для Сталина, на самом деле достаточно лишь посмотреть на факты. Видя всюду вокруг себя врагов, он располагал одним надежным лекарством против их враждебности. Марксизм в его варианте, в той крайней форме, которую он принимал у него в голове, действительно в любом случае призывал к истреблению классов, считавшихся враждебными, например, «кулачества». Но он шел гораздо дальше, лично отдавая и подписывая распоряжения о вынесении десятков тысяч смертных приговоров, нередко людям, которые поддерживали его в предыдущих актах тираннии. И число убийств увеличивалось с его введомом или по его настоянию, как в начале 1938 года, когда на Украину был послан Ежов, чтобы приказать казнить еще тридцать тысяч человек, а выбор жертв был предоставлен местному НКВД. Более того, он был полностью осведомлен о том, сколько людей умирают медленной смертью в лагерях, где в июне 1937 года он лично приказал ужесточить губительные условия содержания. И он обрекал не только на смерть, но и на пытки, лично отдавая распоряжения об избивании невинных заключенных.

Деспоты, упивающиеся убийствами и пытками, встречаются в различные исторические периоды, и среди них одним из первых числится Сталин. Но, как нам вновь напоминают его распоряжения о применении пыток, орудием его правления были не только пытки, но и фальсификация. Ведь целью пыток было вырвать ложное признание. Обвиняемых пытали не только тогда, когда из открытого суда над ними предполагалось устроить большой политический спектакль, но и тогда, когда их тайно расстреливали.

И это все заключала или сосредотачивала в себе ненасытная жажда власти. Советский социолог Игорь Бестужев-Лада говорит, что после катастрофических неудач 1929 - 1933 годов даже Сталин ожидал свержения, и «логика его действий» состояла просто в «отчаянной борьбе за то, чтобы обеспечить личную власть, а затем удерживать ее любой ценой... борьбе безжалостной и коварной, в которой использовался весь арсенал средств предательства и вероломства».

Мы видели, как многим представлялся образ тигра: не просто самого кровожадного хищника, самого опасного убийцы в джунглях, а такого, который лежит, затаившись, в ожидании жертвы, лишь изредка проявляя признаки нетерпения. Более яркое, хотя совершенно иного рода сравнение из мира животных, принадлежит Максиму Горькому. Личные бумаги Горького после его смерти попали в НКВД. Говорят, что Ягода, читая некоторые записки Горького, разразился бранью. Среди них была и характеристика Сталина. Горький привел замечание о том, что тысячекратно уве-

личенная блоха станет самым страшным и самым опасным существом на свете. Именно таким существом, он хотел сказать, был Сталин - чудовищем, алчным до человеческой крови, но по сути паразитическим.

### 4

Мы рассматривали психологию Сталина. Что касается природы его мысли, его интеллектуальных характеристик, Сталин был, в некотором смысле, продуктом своего времени. Круг его чтения в Тифлисской семинарии говорит о том, что он воспринял идеи, распространенные во второй половине девятнадцатого века. Сплыв новой науки и новых экономических сдвигов приправлялся еще одним ингредиентом: революционным романтизмом. И для Сталина, как и для других, все эти штрихи складывались в стройную картину благодаря марксизму, который действовал на подобные умы так же неотразимо, как прежде действовали другие всеобъемлющие теории, построенные на упрощении.

На самом деле в основе системы убеждений Сталина, при всех ее претензиях на научность, лежала «несомненно архаичная», по выражению Нормана Коэна, иллюзия. В книге «Поиски Тысячелетнего царства», посвященной исследованию средневековых хилиастических сект, Коэн замечает, что члены этих сект тоже ставили своей целью построение «государства полного обобществления, общества, абсолютно единогодушного в своих убеждениях и абсолютно лишено противоречий», утверждая, что на них «возложена исключительная миссия довести историю до ее предначертанного завершения», и создав для этого «лихородно активное и совершенно безжалостное сообщество, одержимое апокалиптическим бредом и исполненное сознания собственной непогрешимости, а потому ставившее себя бесконечно выше остального человечества и не признававшее никаких прав, кроме прав своей мнимой миссии». В эти секты, как показывает Коэн, входили представители низшего духовенства, в том числе неприемлемые миряне, которые каким-то образом получили духовное образование, а иногда чудачки из мелких дворян: в общем и целом, «узкая социальная группа - неудовлетворенная и довольно низкой пробы интеллигенция», разрушительность и иррациональность поведения которой, даже по критериям средневековья, выходила за рамки нормального».

Этот «подземный мир» «паталогических видений», как говорит Коэн в другой своей книге, «Ордер на геноцид». (которая будет вскоре опубликована в Москве), в той или иной форме существует всегда, а временами «становится политической силой и меняет ход истории».

Сталин был, возможно, особенно уязвим для такой доктрины в ее наиболее догматической форме. Подпольное чтение, самообразование не было у него адекватно уравновешено образованием, которое давали официальные наставники. Отвергая содержательную сторону того, чему учили в семинарии, он на всю жизнь сохранил склад ума узколого семинарского догматика. Стиль его выражения и, очевидно, мышления тоже был катехизическим. (Может быть, именно из-за своей полубразованности Сталин, как говорит Волкогонов, «обладал бесконечной верой в бумагу. Если ему показывали какой-нибудь документ, в котором такой-то и такой-то объявлялся врагом, он почти всегда ему верил».) Ведь мышление Сталина, даже в узких рамках системы его убеждений, было крайне скованным. Анализируя его письменный стиль,

советские специалисты обнаружили ряд утверждений, якобы вытекающих одно из другого, но на самом деле логически друг с другом не связанных. Выводы предшествуют доказательствам. Что касается собственно его аудитории, партии, то незамысловатость изложения воспринималась многими как признак умения простого человека (или, по крайней мере, простого марксиста) увидеть самое главное. Но это лишь низводило или помогало низвести сознание партии до уровня Сталина. Как пишет Волкогонов, «его выводы были неизменно категоричны. В Гори, где родился Сталин, солнце падает почти отвесно. Так и в его газетных статьях. Там нет теней».

В двадцатые годы зиновьевец Петр Залудский указывал на то, что анализы Сталина во всяком случае "схематичны, а не аналитичны"; что ум Сталина - это механизм, который, пусть даже на очень примитивном уровне, годится для прошлого и настоящего, но никогда не служит ему для того, чтобы видеть будущее.

Итак, кругозор его чрезвычайно узок. Но можно предположить, что эта узость некоторым образом способствовала сосредоточению силы воли.

Одной из основных доктрин марксизма, адептом которого он стал в 1890-е годы, была центральная роль классовых противоречий, подразумевающая неприменное уничтожение непримиримого врага. Вместе с тем марксизм предлагал внеположную реальности цель, оправдывающую любые жертвы. Это явно очень пришлось по характеру самому Сталину. Вероятно, то, что идеология, которая сама по себе может считаться параноидальной, воплотилась в одном из наиболее параноидальных лидеров современной истории, было проявлением некоей неизбежной закономерности. В итоге марксизм дал Сталину как «лидеру мирового пролетариата» возможность вести беспощадную борьбу с любыми негодными ему явлениями и людьми, объявив, что они представляют враждебные классовые силы.

Но марксизм, или, по крайней мере, "социалистическая фразеология, были еще и орудием, с помощью которого обманутых Сталиным, и у него в стране", и за рубежом, так легко заставляли поверить в его иллюзорный мир. И насколько же легко нередко действовали эти заклинания! К. С. Льюис писал о «тупости зла», и если пользоваться этим выражением, в некотором смысле оно безусловно относится к Сталину. Но по отношению к обманутым им на Западе - и особенно если вспомнить о последствиях их ослепленности - можно несомненно говорить о «зле тупости».

## 5

Сталин был убежден (по крайней мере, в первое время), что у него есть ключ к будущему, что его стране суждено «догнать и перегнать» капиталистические страны в процессе проводимого в жизнь партией ускорения истории. В ноябре 1929 года он говорил: «Когда мы посадили СССР на автомобиль, а мужика на трактор, пусть попробуют нас догнать господа капиталисты, которые так громко хвастаются своей «цивилизованностью»! Тогда мы еще посмотрим, какие страны нужно считать отсталыми, а какие передовыми»; и, кажется, он действительно в это верил.

Помимо чисто экономических заблуждений, к заблуждениям эпохи, как мы уже видели, относилась и идея возникновения «нового человека» - понятие, которому Сталин уделял очень большое внимание. Считал ли он себя его образцом, предтечей, воплощавшим достоинства нового человека?

Во всяком случае, по законам марксизма, установленный им социалистический порядок должен был создать человека высшего типа: нравственного, исполненного чувства ответственности, не подверженного ни одному из пороков, печатью которых были отмечены предшествующие поколения, жившие при феодализме и капитализме. Его, на самом деле, должен был создать «способ производства» при содействии массированного перевоспитания. Но «новый человек», по мере своего возникновения, оказывался донщиком, террористом, конформистом, бюрократом, антисемитом. Это он, по словам советского писателя Льва Овруцкого, «истребил русскую деревню, удушил ядовитым дымом наши города, опустошил наши магазины и наполнил наши души апатией».

Мы едва ли поймем, было ли в извращенном и дьявольском характере Сталина, и в какой форме, нечто такое, что очень условно могло бы называться любовью к людям. Проявлялось оно редко и слабо; но если где-то в темных закоулках его души и скрывался рудимент подобного чувства, мы безусловно можем сказать вместе со старым поэтом Грибоедовым (чья могила соседствует с могилой матери Сталина на небольшом тбилисском кладбище): «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь».

Сталинизм, по крайней мере отчасти, был следствием обыкновенной предвзятости: свойственного девятнадцатому веку убеждения в том, что все повороты в жизни общества и человеческие поступки могут быть рассчитаны, обдуманы и предсказаны. В эпоху викторианской «научности» полагали, что, имея достаточно сведений, можно, например, предсказывать погоду. На самом деле лишь недавно стало понятно, что даже если бы мы располагали предельно точными знаниями о данном состоянии атмосферы, прогнозы на четыре-пять дней вперед были бы совершенно бессмысленны. Между тем сложности погоды не идут ни в какое сравнение со сложностью взаимоотношений миллионов людей и их взаимодействия в процессе производства и распределения. Марксизм исходил из того, что все необходимые знания налицо, и государство со своей бюрократией может воспользоваться ими для перестройки общественного и экономического порядка.

В узкоэкономическом смысле весь сталинский период можно рассматривать как догматическую и гибельную попытку доказать, долгое время спустя после провала, что такая барачная экономика имеет и социальные, и производственные преимущества перед «капитализмом». Обман, а возможно, и самообман, Сталина простирался гораздо дальше. Начиная с 1929 года экономическое и политическое положение и морально-нравственный климат в стране были хуже, чем когда-либо за памятную историю. Перед правительством было два выхода. Оно могло это признать и изменить свою политику. Или же оно могло это отрицать.

Теоретически крестьянская масса благополучно вступила в колхозы и теперь достигла небывалой производительности и расцвета. В реальности крестьяне ненавидели всю систему и умирали с голоду, в то время как из них выжимали минимум продовольствия, необходимого для выживания остальной части населения. Теоретически государство принадлежало рабочим. Практически из ограниченной их части рекрутировался новый привилегированный класс, пролетариат же в целом жил гораздо хуже, чем до революции. Теоретически почти все население относилось к режиму с величайшим энтузиазмом. Практически недовольство было подавлено ценой ог-

ромных - в действительности, почти невероятных - пропагандистских усилий в сочетании с террором. Громадные и регулярные «демонстрации», которые будто бы свидетельствовали о широчайшей добровольной мобилизации «масс» в поддержку сталинского порядка, были обязательным ритуалом.

## 6

Характеристика «неестественный человек», данная Сталину Черчиллем, довольно верна. Но, кроме неестественности в таком понимании, он обладал еще одной поразительной чертой: он был нерелевантен.

В 1939 или 1940 году Сталин вызвал своего преданного сторонника, писателя Александра Фадеева, и показал ему два тома свидетельских показаний, представленных НКВД по делу Михаила Кольцова, бывшего корреспондента «Правды» в Испании. Кольцов был приговорен к десяти годам без права переписки в феврале 1940 года и на следующий день расстрелян. Пухлое собрание свидетельских показаний было от начала до конца фальшивкой и состояло из признаний обвиняемого и его однодельцев. Однако Сталин внимательно ознакомился с делом и написал на полях свои комментарии. Одно из обвинений заключалось в том, что Кольцов был завербован французской разведкой при посредничестве писателя Андре Мальро. Сталин выразил неудовольствие тем, что французская разведка может положиться на помощь французских писателей, тогда как советские писатели не оказывают поддержку такого рода НКВД. «Задумайтесь над этим, товарищ Фадеев», - сказал он.

Создается впечатление, что для Сталина эти вымыслы были реальнее, чем сама реальность. И враги, которые подобным образом признавали себя виновными, не желая того, упрочивали иллюзию, каждый в отдельности давали ценное подтверждение сталинскому представлению о мире. Приведенный выше и многие другие аналогичные случаи, вероятно, свидетельствуют о том, что своеобразный разрыв между фактом и вымыслом был в высшей степени характерен не только для общественной жизни, но и для сознания самого Сталина.

Весь путь Сталина как властителя можно, в сущности, рассматривать как попытку сперва насильственным путем воплотить свою иллюзию в действительность, а потом, когда он потерпел неудачу, заставить поверить в то, что это произошло. Пастернак писал, что «беспримерная жестокость» ежовщины объяснялась тем, что коллективизация обернулась катастрофической неудачей, признать которую было невозможно. В более общем смысле, все физическое и нравственное опустошение, произведенное сталинизмом, можно рассматривать сквозь призму напряжений, давлений и деформаций, возникающих при массивном перемалывании жерновами нереального твердых материалов сущего.

Особенно отчетливо виден этот процесс в трактовке важного факта, или цифры, - численности населения СССР. В официальных речах и документах 1934 года говорилось просто о более чем 170 миллионах (Лиге Наций сообщалось о 170 с половиной). В январе 1935 года Молотов хвастался, что «гигантский рост населения показывает животворность советского строительства», а Сталин позже в том же году заявил, что «ежегодный прирост населения составляет приблизительно три миллиона». Эти цифры, а также официальные прогнозы Госплана, отраженные в Плане второй пятилетки,



означали, что в начале 1937 года население достигнет 177 - 178 миллионов человек.

В январе 1937 года провели перепись, но ее результаты скрыли на том основании, что «змеиное гнездо предателей в аппарате Советского Статистического управления... сделало все возможное для того, чтобы уменьшить население СССР». Ответственных, конечно же, расстреляли.

Лишь в 1989 - 1990 годах были, наконец, опубликованы полученные тогда данные: немногим более 162 миллионов - на пятнадцать-шестнадцать миллионов меньше!

В январе 1939 года провели новую перепись, и по более совершенной методе, а в марте 1939 года Сталин смог торжествующе объявить XVIII партсъезду, что теперь численность населения составляет 170 миллионов - превратившиеся потом в официальные 170 476 186 человек.

Как это ни кажется маловероятным, но такая цифра просто принималась на веру некоторыми западными учеными даже в конце восьмидесятых годов: ведь она, в конце концов, фигурировала в «официальном документе». Советские демографы еще тогда указывали на то, что она дает основания для скептицизма. Во-первых, и это наиболее очевидно, расстрел предшественников давал отделу переписи чрезвычайно мощный стимул для раздувания цифр. Во-вторых, Сталин объявил об итогах еще до того, как отдел произвел вычисления.

В 1989 - 1990 годах в ведущих советских статистических и социологических журналах было ясно сказано, что на самом деле итоговая цифра равнялась 167,3 миллиона, так что приблизительно три миллиона «существовали только на бумаге» и произвольно распределялись по особенно малонаселенным областям.

Если 167-168 миллионов составляли максимум того, что, при всем своем горячем желании, смог предложить новый отдел переписи, это, вероятно, уже само по себе преувеличение. Советские демографы недавно отметили, что тогда не поступало сведений о смертях заключенных из НКВД - и действительно, большинство из огромного числа расстрелянных в то время были приговорены (в соответствии с еще одним сталинским обманом) к «десяти годам без права переписки», а значит, формально были все еще живы.

«Перепись» 1939 года интересна как пример обращения Сталина с фактами по нескольким причинам. Во-первых, там была место и прямая, и косвенная фальсификация. Но, во-вторых, масштаб этой фальсификации был не очень велик - всего несколько миллионов. Зато Сталин решил утверждать, что цифра в 170 миллионов свидетельствовала о «беспрецедентно быстром росте населения». В СССР возразить ему было некому. А за границей, очень вероятно, этого не замечали еще много лет. Таким образом, Сталин убил миллионы людей и теперь фактически во многом признал нанесенный ущерб, но благополучно сбежал. Может быть, он убедил себя, что цифра в 170 миллионов соответствует действительности. Может быть, он нашел способы уменьшить тот дефицит в 12-13 миллионов человек, о котором она говорила. Но едва ли он мог убедить себя в том, что в итоге он имел демографический триумф. До 1937 года он еще мог думать, что кровопролитие в деревне совместимо с увеличением численности населения в целом. Но к 1939 году он уже должен был понять, что и в этой области и он, и его режим жили во лжи.

В более общем смысле, Сталин вложил всего себя в создание иллюзии или обмана. Прежде всего именно господство лжи не давало Советскому Союзу даже после Стали-

на выйти из состояния отсталости, морально-го разложения, экономической фальсификации и общего упадка до тех самых пор, пока в прошедшем десятилетии правда не заявила о себе так настойчиво, что сделалась неизбежной. Сначала экономисты, а потом некоторые политические лидеры увидели факты. До известного предела самообман возможен, но когда у вас начинают высыхать моря, с ним больше нельзя мириться.

Состояние Советского Союза на сегодняшний день - это прямой результат мысли и дела Сталина. Это, наверное, самое яркое за всю историю человечества подтверждение правильности анализа Бурке:

«Решение конфликта мирным путем обязывает нас к близкому знакомству с предметом и заставляет рассматривать его во всех его связях. Оно не терпит поверхностного подхода. Именно недостаток мужества для осознания такой задачи, именно дегенеративная любовь к плутовским кратчайшим путям и ложным уловкам создавали деспотические правительства в столь многих уголках света. Они создали позднюю деспотическую французскую монархию. Они создали деспотическую Парижскую республику. Недостаток мудрости у них возмещается избытком силы. Силой же они не добиваются ничего... У них на пути снова и снова встают трудности, которых они скорее не замечали, чем избегали: они растут и множатся, и в итоге вся их постройка становится зыбкой, порочной и ненадежной».

Или, как в более общем смысле говорит о Сталине и сталинистах один советский писатель: «В конце концов они победили самих себя и свой народ».

## 7

Дать окончательную моральную оценку такому явлению, как Сталин, наверное, не так просто, как кажется. Коммунистов его времени и самого Сталина извиняли за их благие намерения: они верили или могли верить в то, что их действия морально оправданы в процессе создания идеального общества, числящего своим наипервейшим достоинством упразднение дохода с капитала.

Конечно, мы во всяком случае понимаем, что подсознательные мотивы могут быть иными, чем те, которыми руководствуется человек по его собственным представлениям. «Совесть, - как говорит Гиббон, - может дремать в состоянии переходном и промежуточном между иллюзиями о себе и обманом». Даже Сталин, может быть, на самом деле считал, что у него есть высшее оправдание в глазах человечества. Или же осознание того, что он осуществляет террор, могло сочетаться у него с идеей высшего оправдания.

Это очевидные вещи. Более неразрешимый характер имеет вопрос, который всегда встает в таких случаях. Если человек искренне убежден в том, что творимое им творится во благо, освобождается ли он от *mens rea*\*? В последние годы эта тема обсуждалась Ханной Арендт, Айвором Брауном и многими другими. Она весьма сложна, по крайней мере, с чисто логической точки зрения.

«Искренние» нацисты, как пишет Василий Гроссман в книге «Жизнь и судьба», могут выдвинуть тот же самый довод: «В дымку газовых печей меркло солнце. И даже эти преступления, преступления, каких доселе не видел мир... совершались во имя добра». Как мы уже видели, Гроссман, у которого мать погибла в газовой камере и который первым написал о Трешлинке, проводит прямое сравнение между гит-

\*Нечистая совесть (лат.).

леровским террором и сталинским.

А что, если бы Сталин был прав? А что, если бы теория, утверждающая, что массовые убийства могут привести к осуществлению утопии, оказалась верна? Нам бы выдвинули в той или иной формулировке старый довод, что цель оправдывает средства. Однако в истории человечества это означает всего лишь то, что (пользуясь словами Брайана Мэйджи) «одна последовательность близких во времени событий... называется «средством», а за ней идет другая, более отдаленная, последовательность событий, которая называется «целью». Но... нельзя всерьез настаивать на особом статусе просто-напросто второй по порядку последовательности событий в бесконечном ряду. Более того, вероятность материализации первой последовательности событий больше, чем второй, потому что эти события ближе во времени... Вознаграждения, обещанные второй, менее безусловны, чем жертвы, принесенные ради этих вознаграждений в первой». Иными словами, даже если на самом первичном уровне такой подход кажется возможным, логически он несостоятелен.

В категориях же содержательных убедительно звучит вывод Милована Джиласа: «В общем и целом, Сталин был монстром, который, придерживаясь отвлеченных, абсолютистских и по существу утопических идей, на практике не имел никакого другого критерия, кроме успеха, - а это означало насилие и уничтожение, физическое и духовное». Что же касается его ожесточенных кампаний, идеологических и политических, об одном революционере более ранней эпохи, Николае Шпешнев (прототипе Ставрогина у Достоевского) говорилось, что «его разрушительный радикализм казался лишь маской, скрывающей внутреннюю опустошенность. Самое его лицо напоминало маску, вместе притягательную и отталкивающую».

Характер Сталина на страницах этой книги был скорее выявлен, нежели разобран. И настоящее заключение, если оно может так называться, - это не анализ. Это широко взятый образ Сталина, каким он представляется одному наблюдателю.

В работах советских авторов мы часто сталкиваемся с выражением «отрицательное» явление или «отрицательная» личность. Трудно было бы отыскать более отрицательное явление или более отрицательную личность, чем Сталин. Но «отрицательный» не значит «никакой». Сталин был воплощением чрезвычайно мощного начала, противоречащего человечности и реальности, подобным лишь отдаленно напоминающему человека троллю или демону, пришедшему из сферы или измерения, где действуют иные физические и моральные законы, и пытающемуся навязать Земле с другим устройством свои порядки. Но это гипербола. Даже если Сталин был одним из тех, в ком находили опору представления о таких мифологических монстрах в прежние времена, он все же был человек. Он был смертен, и он умер. Через некоторое время умерли и его система, и его идеи.

Сталин представлял догматизм, веру в миллениаристскую теорию на самом примитивном уровне. Но каким бы ординарным, грубым и ограниченным ни выглядел он как личность, последнее, что можно сказать о его судьбе, - это что мы не можем извлечь из нее никакого урока или что она лишена интереса. Но интересна она была главным образом крайними и тотальными масштабами вызванных ею физических, моральных и интеллектуальных разрушений. Если мы теперь можем начать вписывать Сталина в историю прошлого, то в надежде, что подобный ему не появится вновь.



## ТОТ, КТО НЕС ГИБЕЛЬ НАРОДАМ

### О КНИГЕ РОБЕРТА КОНКВЕСТА. ЗАМЕТКА ПЕРЕВОДЧИКА

"...Борьба велась не между политиками в обычном смысле слова". "...По любым нормальным представлениям это кажется невозможным, невероятным"... "...отклонение от того, что делалось или даже мыслилось прежде"... - так, пользуясь словами автора, можно обозначить тот угол зрения, под которым смотрит на своего героя Роберт Конквест в книге "Сталин. Тот, кто нес гибель народам".

Эта книга - взгляд извне на определенную эпоху в истории нашей страны и на создателя этой эпохи, нравственно-психологическое осмысление феномена Сталина и сталинизма сквозь призму западной общественной мысли, с точки зрения устоявшейся демократической традиции, общепринятых человеческих норм и здравого смысла. Это также отчасти исследование и характеристика марксизма - и классического, и в сталинском его варианте - как идейной основы движения, выдвинувшего Сталина, и как доктрины, именем которой он действовал.

В предисловии Конквест так характеризует свои задачи и метод: "Цель этой книги состоит не в том, чтобы зафиксировать все события жизни Сталина, а тем более все повороты политики партии. Я пытался дать не исчерпывающее жизнеписание, и даже не нечто вроде формально-психологического анализа, а скорее портрет. Портрет этот, конечно, является или в том числе является и портретом историческим и политическим. Тем не менее, я не старался фиксировать все подробности, связанные с хитросплетениями политических схваток, или его поведением во время войны, а фактически нередко их опускал. Я скорее стремился к тому, чтобы облечь неизбежный центральный стержень повествования такими подробностями, в которых, на мой взгляд, ярче всего проявляется характер Сталина. Нередко я углублялся в эти подробности не потому, что они исполнены некоего глубокого смысла, а потому, что, при всей их незначительности, они помогают яснее увидеть целое. Часто поразительно характерные, по мнению автора этих строк, примеры поведения Сталина вообще не отмечены ни в какой из множества его существующих биографий или же отмечены лишь в одной. Но, как говорил Плутарх, "проявления порока и добродетели не ограничиваются прославленными деяниями. Часто самое заурядное происшествие, слово, шутка глубже раскрывают характер, чем великие свершения".

Верный этому принципу, автор показывает своего героя в самых разных проявлениях, намечая внутреннюю связь между гипертрофированным самолюбием и неуверенностью юного семинариста и культом личности Вождя, между рано проявившейся склонностью к политической интриге и позднейшими победами над гораздо более яркими по сравнению с ним соперниками, между его бессердечием по отношению к близким, его неспособностью к дружбе и жестокостью созданной им системы. При этом Конквест не стремится к упрощению и никогда не жертвует частностями, которые как бы не укладываются в общую картину.

"Он был человек без корней"... "Он был или, в некотором смысле, стал человеком без нации и класса, без определенного интеллектуального статуса - кроме тех, которые создавал себе сам" - такова, по мнению Конквеста, одна из важнейших характеристик Сталина, объясняющая многие другие его черты, а написанная им биография Сталина - своего рода история того, как этот человек последовательно обрывал связи с человечностью: с товарищами, со своим народом, с близкими - с тем, чтобы к концу жизни остаться наедине со своим маниакальным и всеразрушающим властолюбием.

Конквест отмечает, что одной из причин, побудивших его написать биографию Сталина - это его уникальность как политика и уникальность созданного им строя. Эта уникальность, по его мнению, заключается в том, что, завоевав власть, Сталин использовал ее лишь для расширения и закрепления той же власти, игнорируя, как ни один другой политический деятель, требования реальности, а подчас и собственные долгосрочные интересы. Закономерный результат - то, что сталинский режим, как ни один другой, "в беспрецедентной степени", держался на лжи.

Многие факты, приводимые Конквестом, в той или иной мере известны, как, вероятно, не новы - или спорны для историка или политолога - некоторые положения и выводы Конквеста. Но думается, что для широкого круга читателей ценность этой книги заключается прежде всего в том, что это образец прекрасно выдержанного биографического жанра, отчасти сопоставимый в отечественной традиции с биографическими произведениями Ходасевича. Она написана прекрасным языком и легко читается. В ней удачно выбрано соотношение между описанием и анализом (представляется, что она несколько более аналитична, чем уже существующий на русском языке "Большой террор"). Определенность этической позиции автора и ясность научной концепции сочетаются с отсутствием категоричности оценок, спокойной интонацией и осторожностью выводов в случае недостаточности фактического материала, а самостоятельность и оригинальность исследовательской мысли - с ясностью и последовательностью изложения.

Вероятно, нет необходимости говорить, что книга, увидевшая свет в 1991 году, основана на обширном фактическом материале и разнообразных источниках, включающих материалы советской прессы и исследования советских историков последних лет, философские сочинения, произведения мемуаристики и художественной литературы.

*Предыдущие книги Роберта Конквеста были названы классическими: о «Большом терроре» Майкл Маггеридж писал: «Это не столько книга, сколько сама история». Конквест несомненно является ведущим ученым-историком по Советскому Союзу и в современной России. Биографией Сталина он завершает исследование темы, которой он занимался всю жизнь.*

*Написанная Конквестом биография Сталина - первая, которая отражает новый этап нашего знания и понимания этой чудовищной и дьявольской личности, ставшей одним из создателей - или разрушителей - современного мира. Недавно произошедший моральный, интеллектуальный, экономический и политический коллапс установившейся им системы наконец позволяет биографу рассмотреть весь феномен Сталина в беспристрастной исторической перспективе. Конквест соединяет живой портрет жестокого, грубого и капризного тирана с пристальным исследованием того воздействия, которое он оказывает и поныне на страны, находившиеся под его несправедливым правлением. Используя массу новых, ставших лишь недавно известными материалов, он разрешает многие спорные и неясные вопросы. Он доискивается до истины в самых темных эпизодах карьеры Сталина: периода, когда умирал Ленин, и столь же критического момента после вторжения немцев. На протяжении всей книги подробности, анализ и исследование складываются в чрезвычайно выразительное повествование.*

*Биография Конквеста станет самой авторитетной из ныне существующих. Эта его книга, написанная его неподражаемым стилем, должна, как и все остальные, стать классикой*

*Роберт Конквест является старшим научным сотрудником Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета. Ему принадлежат семнадцать книг о Советском Союзе и на темы международной политики, а также несколько сборников стихов, прозы и литературоведческих статей. Его книги «Большой террор» и «Скорбная жатва: коллективизация в Советском Союзе и террор-голод» недавно были опубликованы в нашей стране и получили широкое признание.*

Ирина НИНОВА

**И**з Германии пришел объемистый пакет. Одну за другой я вынимал копии докладов, записок, писем. Все же Клаусу Хопке удалось раздобыть их.

Я рассматривал, читал их со все возрастающим изумлением. Даты на них стояли - 1987, 88, 89 годы. Совсем недавние, но это были уже древние документы, из какой-то старой-престарой жизни, почти средневековой. Все они были про мой роман «Зубр» и про меня. Я понятия не имел, какая, оказывается, драматическая история разыгралась за кулисами, на самых верхах - из-за этого

Клаус был самым вольнолюбивым из всех известных мне немецких функционеров, но перед лицом служебной тайны замирал. Я же к этому времени пребывал в хмелю первых лет перестройки, переживал освобождение, избавление от давних страхов, от цензуры, и воздух ГДР казался душным, спертым. Здесь запретили наш фильм «Покаяние», запрещали советские журналы. Немецкое начальство «закручивало гайки».

На моем вечере, который по традиции устроила Академия, слушатели настойчиво спрашивали меня, почему «Зубр» не выходит в ГДР, где книга? Почему задерживается?

Я широко разводил руками. Это не у меня

## Даниил ГРАНИН

объяснять, что обвинения Н. Людвиг один к одному совпадали со статьями в нашей реакционной печати, где среди журналов особенно неистовствовал «Наш современник». Его главный редактор С. Куняев, не в пример Наде Людвиг, не считал себя антифашистом. По возрасту он не участвовал в войне, но, думается, не только по возрасту. По своим убеждениям ему ни к чему было воевать с гитлеровцами.

То, что русские люди, как герой книги Тимофеев-Ресовский, могли в гитлеров-

# ЗУБР В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

романа, затронув все инстанции, вплоть до Политбюро.

Книгу «Зубр» издательство «Volk und Welt» выпустило в 1987 году. В немецком переводе она называлась «Sie nannt ihn Uhr». Перевод и все издательские работы прошли быстро, книга была готова, но в продажу не поступила. Что-то произошло. Что именно, я не знал. У нас в России она вышла уже несколькими изданиями, вышла в Швеции, Польше, Японии, США, а в ГДР почему-то застопорилась.

«Зубр» - роман о русском биологе Николае Владимировиче Тимофееве-Ресовском. В истории русской науки есть несколько ученых мирового класса - Менделеев, Павлов, Вернадский, Вавилов, Капица, Сахаров. К ним с полным правом относятся и Тимофеев-Ресовский. Я имел счастье знать его, он много рассказывал мне о своей удивительной жизни, да и человечнее он был еще более удивительный. Я влюбился в него. Он умер в 1980 году. Спустя несколько лет я решил написать о нем. С 1925 по 1945 год он жил и работал в Германии. Я поехал туда, повидал тех, кто знал его и работал с ним. Роман «Зубр» был напечатан в журнале «Новый мир» и вызвал не то чтобы скандал, но бурную реакцию и читателей и критики. К 1987 году эта реакция не улеглась, а вроде и разрасталась.

О существе споров я еще скажу, пока же про полученные документы. Их было много. Я понимал, что это всего лишь письменные следы, за ними скрывались телефонные звонки, встречи, переговоры, вызовы в ЦК - кто бы мог подумать, что все это творилось вокруг небольшой переводной книги о известном лишь специалистам русском биологе.

Мне сразу вспомнилось, как в 1988 году я приехал в Берлин на сессию Академии искусств и встретился с главным редактором издательства «Volk und Welt» Лео Кошутом. Мы были друзья. Мы знали друг друга много лет. «Что с книгой?», - спросил я. Лео отвечал скуп и неопределенно. Успокоительные капли - не беспокойся, образуется, скоро хорошо не родится... Чувствовалось, что хотел мне что-то расказать, да не мог, дисциплина не позволяла. И Клаусу Хопке она не позволяла. Очень у них партийная дисциплина читалась. С этим у них хорошо обстояло. А Клаус Хопке был заместителем министра культуры ГДР, ведал всеми издательствами страны, самый большой начальник, но тоже уклонялся: «Даниил, есть некоторые сложности, это нормально».

спрашивайте. Что-то было в моей демонстративной усмешке недозволенное. Тогда слово взяла Надежда Людвиг и все поставила на место. Она была профессор, специалист по советской литературе, в свое время она писала о моих романах, хвалила, даже славил меня как певца технического прогресса и научного творчества. Она угнетала своей ортодоксальностью, но отношения у нас сохранялись уважительные.

Она без всяких обиняков начала с того, что новый роман Гранина идейно вреден, играет на руку буржуазной пропаганде. Герой у него, то есть у меня, якобы остается честным ученым в условиях гитлеровского режима, фашизм якобы позволяет Тимофееву-Ресовскому заниматься чистой наукой. Да, к тому же, герой ведет антифашистскую деятельность. Мы, немецкие коммунисты, этого не могли, а русский, в Берлине, может. По возвращении же в Советский Союз после войны его заточили в концлагерь. Фашисты его не тронули, а советские не пощадили. Что же это, если не клевета на социалистическое общество?

Голос ее срывался, она волновалась, нешуточное дело, она чувствовала неодобрение аудитории, она выступала против гостя, против советского писателя, все же известного писателя, она шла одна против всех, но она защищала соцреализм, партийность литературы, основы социалистического сознания, все то, что исповедовала, и готова была взойти на костер.

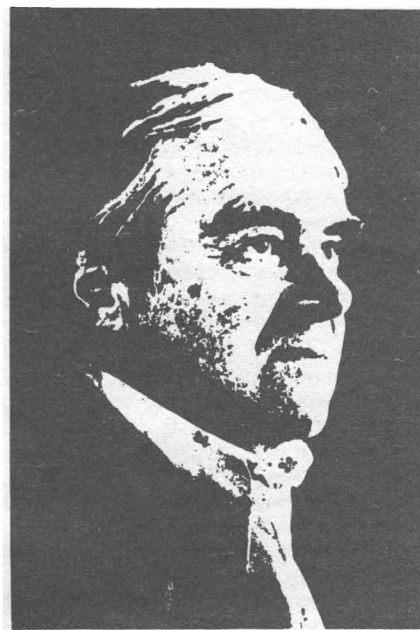
Седенькая, коротко остриженная, она напоминала мне комиссаров двадцатых годов, каких показывали в кино. Наверное, и она себе такой виделась.

Она упрекала меня чуть ли не в том, что я играю на руку неофашизму, что мы в Советском Союзе предаем ленинские принципы.

Вот тут она меня зацепила. Кто бы из моих ребят, из нашего танкового экипажа, мог представить себе, что спустя сорок лет немецкая фрау будет учить нас, как бороться с фашизмом. Где она была тогда, когда нас жгли под Кенигсбергом? Это я помогаю фашизму!

Я не мог сказать ей всего потому, что она была женщина, но все же я сказал ей, что есть разница между немецкими коммунистами и антифашистами, я не знаю, где были немецкие коммунисты в войну, но я знаю, кто разгромил фашистов, и не ей...

Аудитория не читала роман и плохо понимала, о чем мы спорим. Я не стал



ской Германии оставаться независимыми, продолжать свою науку, сохраняя честность - это было выше понимания критиков журнала «Наш современник». Такую ситуацию они воспринимали как личное оскорбление. Для них незывлем был советский тип сознания: тот, кто отказался вернуться в Советский Союз, будь это даже в 1937 году - предатель. Те, кто остались на оккупированных территориях - пособники оккупантов. Те, кто были в Германии при фашизме, были фашисты, работали на фашистов. Все просто. Такого же прямолинейного мышления придерживалась и Н. Людвиг. Однако ясно было, что она выражала нечто большее, чем личное мнение. Ее отвага, очевидно, была неспроста, она знала, что делает... Понадобилось, однако, четыре года, чтобы подноготная этой истории обнажилась.

Наверное, самое время от личных воспоминаний перейти к документам, которые собрал для меня Клаус Хопке. Они интересны в собрании, в последовательности, в хронологии. Первый документ помечен 2 июня 1988 года, последний октябрём 1989. Документы приоткрыли мне кухню той политической стряпни или возни, что происходила в аппарате ЦК СЕПГ. Зрелище одновременно и жалкое, и поучительное.

Очевидно, по просьбе ЦК в ГДР был

послан ответственный работник КГБ из Москвы, который «в связи с книгой Д.Гранина «Зубр» - в течение трех недель проверял и собирал материалы о Тимофеев-Ресовском. Отчет его на немецком языке был предоставлен для ЦК СЕПГ, чтобы они могли оценить. Вместо самой книги они читали справку КГБ, это надежнее, понятнее и короче.

Поначалу КГБ приводит известные Москве данные о Тимофеев-Ресовском. Сообщает, что еще в гитлеровские времена, еще до КГБ Тимофеева-Ресовского проверяли -- Немецкий Союз доцентов и Имперский Союз Науки и Народного Образования. Всякий раз эти организации Третьего Рейха убеждались, что Тимофеев выдающийся ученый, «серьезный и отзывчивый человек и только ученый», это подчеркивалось.

В этих оценках Тимофеев рассматривается как противник коммунизма. В одном документе от 13 июня 1938 года он назван «явным противником коммунизма».

Молодые фашистские ученые, которые работали в Кайзер-Вильгельм Институте, считали Бух (отделение, где жил и работал Тимофеев-Ресовский), политически левым. Поэтому в 1935 году там сменили руководство. «Тимофеев-Ресовский имел, однако, возможность продолжать свои работы и достиг мирового авторитета. Его доклады и публикации были признаны во всем мире. Переписка с другими зарубежными учеными показывает, что Тимофеев-Ресовский мог участвовать в различных конгрессах и публиковаться, живя в гитлеровской Германии».

КГБ отмечает это не без некоторой натуги, а может, и внутреннего удивления.

«Работы Тимофеева-Ресовского по биофизике использовались другими учеными, в частности, немецкими, и ему до 1945 года оказывалась поддержка, несмотря на тяжелое военное положение».

«Не удалось найти никаких других документов и данных, которые бы доказывали, что результаты исследований отдела генетики, и научные труды самого Тимофеева-Ресовского, могли бы быть использованы для военных преступлений против человечества».

«По документам и высказываниям бывшей сотрудницы Института в Берлин-Бухе Шарлотты Третин, с 1942 года проводились в отделе генетики опыты в области ядерных исследований».

Из документов вытекает, что отдел генетики под руководством Тимофеева-Ресовского не был вовлечен в работы по вооружению и военной продукции».

В основе распоряжений Гитлера от 19 июня 1944 года полагалось поощрять только такие исследования, «которые принесут важные преимущества».

Работы Тимофеева-Ресовского к таким не относились. «Отдел генетики мог работать до 1945 года беспрепятственно». Ближайшие сотрудники, такие как доктор Борн, могли участвовать в работах по вооружению. Фактов же участия Тимофеева-Ресовского не было найдено. «Можно считать доказанным, что он, как руководитель отдела, русский, не был ограничен в своих исследованиях и был информирован о секретных исследованиях Борна и Циммера».

Удалось найти все научные статьи Тимофеева-Ресовского и других, из них видно, что до 1945 года Тимофеев-Ресовский широко признан и уважаем, и после ареста его сына.

«Кальтенбруннер отказал семье Тимофеева-Ресовского, когда она хлопотала за сына».

Младший сын Тимофеевых, Андрей, и после ареста брата посещал школу и работал беспрепятственно.

После всего этого работник КГБ приходит к выводу: «Тем не менее еще невозможно, еще рано (!) объективно оценить, правильно ли изображен в книге Гранина его герой, действительно ли он был антифашистом».

«Решение о публикации книги в ГДР можно принять, когда будет в Советском Союзе Тимофеев-Ресовский реабилитирован».

Кстати, КГБ, располагая материалом о полной лояльности Тимофеева-Ресовского, всячески продолжал препятствовать его реабилитации. С 1988-го по 1992 год в реабилитации все время отказывали, каждый раз утверждая, что Тимофеев помогал гитлеровцам, не может быть, чтобы не участвовал в работах на войну.

В свое время сам Н.В.Тимофеев-Ресовский не подавал просьбы о реабилитации. Он говорил, - «кого я должен просить? Кого? Я не хочу их ни о чем просить». Это было ниже его достоинства, и думаю, он был прав. Его не реабилитация значила больше, чем его реабилитация.

В своем отчете КГБ подтверждает, что Тимофеев-Ресовский спасал в своей лаборатории русских, французов, военнопленных, оstarбейтеров.

Из последующих документов видно, что КГБ знал и другие факты и свидетельства об антифашистских действиях Тимофеева-Ресовского, но в отчете эти данные не приводятся.

Итак, отчет КГБ поступил в ЦК в начале июня, а 14 июня издательство «Volk und Welt» направило, как бы в противовес, две рецензии, заказанные специалистам по советской литературе (Кристине Ликс и Франциске Мартыновой). Обе рецензии положительные. Они легли на стол в отдел культуры ЦК СЕПГ Арно Ланк.

Издательство упорно боролось за книгу. Рецензии эти помещали ЦК окончательно закрыть вопрос, поэтому так называемое «Бюро К.Хагера», члена Политбюро, самого большого начальника восточногерманской идеологии, решило противопоставить этим рецензиям мнение человека, который хорошо знал Тимофеева-Ресовского. Так появился третий документ - заключение Роберта Ромпе.

Несомненный авторитет, известный физик, автор многих работ, коммунист, более того, член ЦК СЕПГ, Ромпе знал Тимофеева-Ресовского еще в тридцатые годы, у них были совместные работы.

Я сам, собирая материалы для книги, обрадовался, найдя Р.Ромпе, и обратился к нему. Добиться у него приема почему-то оказалось трудно. Я не сразу понял, в чем дело. В первый раз мы с ним проговорили два часа и он умудрился ничего не рассказать о Тимофеев-Ресовском. Буквально ничего. Тощий, извилистый, с маленькой круглой головкой, скользкий, как минюга, он не давался в руки, выскальзывал, уклоняясь от прямых ответов. Из его намеков можно было понять, что ему не положено, не рекомендовано говорить на эту тему, поскольку он связана с его чуть ли не подпольной работой.

Я решил дожать его, я использовал возможности, какие у меня были, и добрался до члена Политбюро, самого Курта Хагера. Если не ошибаюсь, это было в мае 1986 года. Попросил его помочь пояснить товарищу Ромпе, что я не подослан к нему из ЦРУ и мне можно рассказать о его дружбе с Тимофеевым-Ресовским и сопутствующих обстоятельствах. В тот же день Хагер позвонил к Ромпе. На сей раз Ромпе принял меня

сразу, был любезен, но увы, не Хагер может разрешить ему, есть иные инстанции, во всяком случае он обещает д о б и т ь с я п р а в а рассказать мне кое-что. Вот и все, что я получил от него. Я видел, что он темнит, фальшивит, морочит голову. В романе я написал о нашем свидании, сдержав себя, польстил ему, я все же надеялся, что он когда-то выполнит обещанное. Я поверил ему, а не себе. Конечно, он обманул меня, обдурил. Ничего я так и не добился от него, хотя несомненно, он много знал о Тимофеев-Ресовском. Он провел с ним решающие месяцы 1945 года - крушение Рейха, штурм Берлина, приход Красной Армии. Тимофеев-Ресовский приютил лабораторию Ромпе и самого Ромпе у себя, в Бухе, где было безопаснее, и все это время они прожили вместе.

Феномен Ромпе оставался для меня загадкой.

Что же написал Ромпе в ЦК о своем дружбе и моей книге, какое он дал заключение?

Прежде всего он отмечает, что книга Гранина снижает авторитет советской науки не только в биологии, но и в кибернетике. Надо ли широкому немецкому читателю знать о лысенковщине, о том, что кибернетика объявляла в Советском Союзе буржуазной лженаукой? О, конечно, Тимофеев приютил в Бухе Карла Ломана с его психолого-химической лабораторией, взял к себе и две физические лаборатории, его, Ромпе, и Михеля Шона из Института твердого тела (про Шона ведь не говорил мне!), все так, и все же он, Ромпе, руководствуется прежде всего принципами. Интересы ГДР превыше всего!

«Книга Гранина содержит много ценной информации, но для кого, для чего?» - и уверенно отвечает: «Мы в ГДР зависим от кооперации с Советским Союзом... Прежде всего в технологиях. Возникает вопрос - помогает ли книга Гранина нашей кооперации с Советским Союзом? Я бы сказал - нет».

Тут он прав, насчет кооперации и технологии я не подумал. Не предусмотрел в романе.

«Для нас, в нашей напряженной ситуации действует правило: кто хочет хорошо вести машину, не должен часто заглядывать в зеркало заднего вида».

То есть, зачем кости шевелить. Социализм живет не прошлым, а будущим. От старой дружбы никакой прибыли нет, неприятности же могут быть.

Ромпе подкрепляет свои слова примером: «В случае, когда надо было отмечать юбилей Н. И. Вавилова, мы ждали, что скажет в своей речи в Академии наук президент Академии Марчук и только после того, как прочли в «Правде», наш журнал «Наука и прогресс» опубликовал статью Штуббе о Вавилове».

Вот пример, достойный подражания! И с этой книгой о Тимофееве так же следует поступить, подождать, пока не произойдет реабилитация, затем торжественный юбилей, и чтобы в «Правде» появился отчет. Пока что Тимофеев числится в репрессированных, подозрительных, и давайте воздержимся.

Ромпе не может отрицать, что Тимофеев-Ресовский был «великим биологом», хотя тут же оговаривается, что как физик он не может судить о биологических науках. Хотя снова оставляет себе лазейку: «Я присоединяюсь к отзыву Штуббе и знаю, что Гейзенберг и Бутенат высоко ценили Тимофеева-Ресовского, даже почитали».

Итак, книгу лучше не издавать, о Тимофеев-Ресовском не вспоминать еще лет двадцать-тридцать. Таков вывод Р. Ромпе. Это как раз то, что надо было от него ЦК и Курту Хагеру, товарищ Ромпе знает,

что от него ждут. Мудра поговорка: не вспоя, не вскормя, ворога не увидишь.

Я встречал многих людей, чем-то обязанных Тимофееву-Ресовскому. Роберт Ромпе единственный проявил себя столь неблагодарно. Предательское его поведение легче всего объяснить трусостью. Но у меня есть ощущение, что присутствовала тут и зависть, зависть к тому, кто, пройдя через все муки и ужасы обоих режимов, остался чистым и верным себе. Зависть, которая смыкается с неосознанной ненавистью.

Отзыв Ромпе сработал. Книгу заморозили, чуть что ссылались на заключение Ромпе и других. Спасительное: «и других».

Прошло еще четыре месяца. Лео Кошут, как главный редактор издательства, не оставлял своих стараний. И Клаус Хопке, категорически несогласный с мораторием, пишет новое письмо Курту Хагеру, прилагая вырезку из «Литературной газеты», где напечатано открытое письмо советских ученых, опровергающих измышления В.Бондаренко в журнале «Москва» о Тимофееве-Ресовском. Надо отметить, что полемика в советской печати не утихала. На что постоянно ссылались немецкие черберы из ЦК.

Сам я ни в печати, ни в дискуссиях о книге не выступал. Я был уверен, что справедливость должна восторжествовать и без моего вмешательства, мне было даже интересно увидеть, как это произойдет.

Клаус Хопке послал Хагеру статью и некоего С. Иванова, опубликованную в «Литературной России». Она называется «Тимофеев-Ресовский в Германии». Автор перепевает известный мотив - герой работал в гитлеровской Германии, значит, помогал нацистам. Совок в своем неизменном репертуаре: человек может быть либо красным, либо белым, иных красок не дано.

Двадцатого декабря 1988 года руководитель Общества германо-советской дружбы, член Политбюро, секретарь ЦК, он же Председатель Центральной партийной комиссии, Э. Мюкенбергер срочно сигнализирует другому члену Политбюро - К.Хагеру:

«У нас, в Обществе германо-советской дружбы уже несколько месяцев назад Рагвиц обращает внимание, стоит ли издавать книгу Гранина «Зубр». Несмотря на все сомнения, у некоторых ЛЮДИШЕК есть все же намерение это сделать. Так, в журнале «Искусство и литература» публикуются две статьи о романе - И. Грековой и Е. Сидорова. Я хочу обратить твое внимание на это, ибо предполагаю, что хотят создать предпосылки для публикации книги.

С социалистическим приветом Е. М.»

Для секретаря ЦК людишки - это рядовые члены партии, всякие редакторы, журналисты, издатели, интеллектуалы, которые смеют трепыхаться, иметь собственное мнение. Я думал, что для наших вождей человек - «винтик», нет, оказывается и в немецкой демократической республике царит то же сталинское отношение.

Члены Политбюро, высшего руководства страны, самые большие шишки, включились в сражение с книгой. Вот чем были заняты эти политики накануне падения Стены и своего режима. Автор мог бы гордиться этим, когда бы ему не было так смешно и грустно.

Завотделом культуры Урсула Рагвиц доносит Курту Хагеру на министерство культуры, которое, оказывается, разрешило изготовить и хранить 15000 переплетенных экземпляров крамольной книги. Это было в декабре 1988, а в январе 1989 не-

угомонный Клаус Хопке шлет Хагеру два письма в дополнение к прежним материалам: «они сообщают факты, помогающие решить вопрос о книге».

Первое письмо от доктора Харольда Весселя:

«Дорогой Клаус! Бергдорфский дискуссионный клуб посадил меня во время встречи 87 рядом с Манфредом Ардене, так что я имел возможность поболтать с этим великим стариком. Как это ни странно, Ардене до сих пор вспоминает мою диссертацию 1961 года под названием «Вирусы - чудо и противоречия», которая содержала в себе философски-кибернетическую дискуссию с невероятными догмами Лысенко. Он, Ардене, говорил со-



Н.В.Тимофеев-Ресовский.  
Берлин. 1943.

мною о регулярных кругах в организме и при этом упомянул роман Гранина «Генетик»...»

Придется прервать письмо Весселя, чтобы сказать немного о Манфреде фон Ардене, которого я имел честь знать и бывать у него в Институте в Дрездене. Это действительно был великий человек. Не только ученый, но инженер, прежде всего изобретатель, автор множества замечательных практических работ в электронике, медицинском оборудовании. По широте диапазона его можно сравнивать с Эдисоном. Начал он свои работы во времена Гитлера, занимался ими в войну и затем в СССР, где получил Государственную премию в 1955 году. Вернулся в ГДР, поселился в Дрездене.

Я понятия не имел о его дружбе с Тимофеевым-Ресовским, я бывал у него в семидесятые годы, когда работал над фильмом «Выбор цели». Меня интересовал его рассказ о том, как создавали немецкую атомную бомбу. Биография самого Ардене и приключения его таланта это отдельный сюжет. То, что Ардене появился в моей истории, было неожиданностью.

«...Я должен был сказать Ардене, что «Генетик» издан в ФРГ, а в ГДР, в издательстве «Рубенштайн» лежит, и давно, эта книга в холодильнике. Добрый старик Ардене не хотел мне верить, что книга Гранина до сих пор не вышла в ГДР. Он считал это невероятным. Дорогой Клаус, я придерживаюсь того же мнения, считаю невероятным, что на нас действуют какие-то анонимные слухи, заставляющие нас дер-

жать в холодильнике книгу, которая, на мой взгляд, является большой ценностью как в научном плане, так и литературно. Это потому невероятно, что мы в ГДР никогда не содействовали, например, глупой шумихе вокруг Лысенко... По этой причине наше сельское хозяйство осталось плодородным. Тимофеев-Ресовский, герой книги, вместе с Циммером и Дельбрюком открыли зависимость мутации от X-лучей. Его имя останется в книгах по биологическим наукам, в моей книге оно часто упоминается. Его исследования не могли служить нацистам. Я считаю это невозможным, нацисты не поняли всей истории с атомной бомбой, недооценили ее. Тема «X-лучи и мутации» интересна, когда речь идет о защите от атомного оружия и охране человека, который работает над изготовлением атомного оружия. Поэтому Тимофеев-Ресовский был после войны так важен для Советского Союза... НКВД крепко держало в своих руках советскую атомную программу... Штубе и Ардене лично знали гранинского героя и еще сегодня им очарованы. Оба этих ученых ГДР действительно компетентны в вопросах о книге Гранина. Я не хочу полемизировать, дорогой Клаус, я хочу передать тебе для сведения письмо Ардене, которое он мне послал после того, как мы поболтали с ним о Дрездене. Я сказал ему, что есть слух, что якобы Тимофеев-Ресовский работал для СС. На самом же деле он был образцом стойкости и интеллигентности, и то и другое было исполнено глубокой человеческой любовью. Может быть, он должен был как-то общаться с коричневыми властями, но так как он намного превосходил их в духовном и моральном смысле, я не могу представить себе, чтобы он позволил им себя использовать. Мое предложение пригласить компетентных людей, таких как Ардене, Штубе, Гейслер, Боме, проверить эти слухи и затем решить, кто, собственно, эти люди, которые выступают против издания этой книги и кто стоит за этими слухами.

Желаю тебе успеха Х.Вессель.»

Вессель не называет в числе ученых, видимо не случайно, Р.Ромпе. Предложение Весселя не так наивно, как кажется. Январь 1989 года было время разгара перестройки, демократических перемен в Восточной Европе, где ГДР оставалась последним оплотом догматизма. Вокруг злосчастной книги продолжалась возня. Шла переписка, прибывали бумаги, писали резолюции, обсуждались предложения, велись телефонные переговоры. Дело докатилось до самого Хонеккера, и, как мне передавали, он произнес следующее: «не для того я сидел в фашистском концлагере, чтобы мне теперь доказывали, что Сталин и Гитлер одно и то же».

Крутом творилось уже бог знает что, но идеологи по-прежнему сторожили холодильник. И Клаус Хопке, несмотря на свои рискованные попытки, ничего не мог добиться. Могучие часовые защищали идейную чистоту ленинизма.

Не без некоторой боязни подступал я к письму Ардене. Его мнение было важно не потому, что я сомневался в Тимофееве-Ресовском. И без всяких свидетелей, без документов я верил в его абсолютную порядочность и благородство. Он не мог служить ни большевикам, ни фашистам, никакому неправому делу. И что бы мне ни доказывали, я не принимал никаких аргументов. В конце концов все они оказывались ложными. Свидетельство Ардене было важно потому, что хотелось восстановить ущерб, нанесенный Р. Ромпе. Я чтит немецких физиков и немецких биологов, о которых много хорошего рассказывал Тимофеев-Ресовский. Трагические их жизни

при нацистском режиме напоминали участь некоторых наших ученых. Им приходилось решать те же моральные проблемы, совершать те же ошибки, так же заблуждаться и прозревать. И мучиться: не есть ли их работа - работа на дьявола?

Ардене был для Тимофеева-Ресовского человек со стороны. Их не связывала личная дружба, как Тимофеева-Ресовского со Штубе или с Ромпе. Ардене представлял для меня уже ушедших из жизни великих немецких ученых, таких как М. Лауэ, М. Планк, В. Гейзенберг, В. Паули, А. Зоммерфельд и М. Борн.

"Дорогой Вессель, я вспоминаю наш разговор о Тимофееве-Ресовском и просто ошарашен тем, что известному представителю радиационной биологии приписывается, что он якобы во времена нацизма работал на гитлеровцев. Такой подход неверен. Я его хорошо знал и посетил его около 1940 года в его лаборатории. Мы много разговаривали, и тогда проявилась наша общая враждебность к Гитлеру. Кроме того, в этот день я восхищался его мужеством, в его лаборатории я увидел плакат: «Осторожно, СС подслушивает!» Тимофеев-Ресовский был в тесной дружбе с известными противниками гитлеровского режима доктором Розбаудом (Издательство Хоутермансом, который во время войны, благодаря Макс фон Лауэ, прибыл в мой Институт. Я надеюсь, что мое письмо поможет осветить верным светом деятельность выдающегося ученого, врага гитлеризма.

С лучшими пожеланиями

*Манфред фон Ардене"*

Ардене считал своим долгом вмешаться, хотя никто не требовал его свидетельства, и прекрасно знал отношение к этому делу властей и партийных боссов.

Как я жалел, что не знал ничего этого, когда писал книгу.

Документы «за» и «против» чередовались, отражая усилия и с той и с другой стороны. К тому же Курту Хагеру адресует письмо некий Штранд из Бернау, яростный блюститель партийной идейности.

"Несмотря на то, что я неоднократно писал в отдел культуры ЦК по поводу предполагаемого издания романа Гранина «Зубр» издательством «Volk und Welt», я до сих пор, если не принимать во внимание отписки, не получил ответа по поводу моих сомнений. Правда, книга не вышла в конце 1987 года, как предполагалось, но должна. Это я узнал стороной, должна выйти в середине этого года. Я хочу обратить внимание ЦК на то, что эта книга искажает факты... Авторитету ГДР будет оказана плохая услуга, если наши «деятели культуры» попадутся на удочку. Я думаю, что у многих советских писателей есть достаточно причин быть осторожными в отношении коллаборационистов и невозвращенцев и не оправдывать их.

4.3.89 Скомприветом *Е.Штранд"*

За книгу вступает писатель, сценарист Вольфганг Кольхазе. Он направляет большое письмо тому же К.Хагеру. Книга становится объектом сражения демократов и догматиков. Партия мобилизует своих «автоматчиков». В журнале «Конкрет» (1989) появляется статья О.Тольмайна. Автор обрушился на роман, повторяя советских обскурантов: «Национал-социализм у Гранина выступает как менее ужасный вариант тоталитарного режима, чем сталинизм».

Старательно развивает он тезис, выдвинутый Э.Хонеккером. Сама мысль о том, что можно сравнивать оба режима, кажется кощунственной. Он вскрывает умысел автора противопоставить свободу, которую предо-

ставили Тимофееву-Ресовскому в Германии, советской жизни. "Никого из критиков, которые защищают книгу Гранина, не удивляют неограниченные возможности, которые предоставлены Тимофееву-Ресовскому в гитлеровской Германии".

Оба тоталитарных режима были бесчеловечны и отвратительны. Нельзя сравнивать их по количеству жертв. Арифметика становится безнравственной, когда мы считаем, где больше погибло. Моя книга - рассказ всего лишь об одной судьбе. В статье цитируется Раиса Орлова: «Тимофеев - величайшая личность двадцатого столетия, человек, который пережил оба тоталитарных режима». Через его жизнь и возникает возможность сравнения, опровергающего расхожие представления нашей пропаганды.

Никто нигде не мог привести данных о том, что Тимофеев-Ресовский выполнял какие-либо конкретные задания нацистов, у него нет ни работ, ни отчетов, связанных с расовой теорией или военной тематикой.

После публикации книги, после всех дискуссий, в 1991 году мне стала известна в подробностях следующая история:

В 1943 году из Далема в Бух приехал известный гистолог Халерфарден. Он обратился к Н.В.Тимофееву-Ресовскому, предлагая руководить исследованиями некоторых генетических проблем на человеческом материале, на цыганах. В этом случае можно будет облегчить участь сына, недавно арестованного гестапо. Тимофеев-Ресовский сутки обдумывал предложение. Он не нашел в себе силы сразу отказаться. Понимал и он, что, отказывая, рискует жизнью Фомы.

Много лет спустя Елена Александровна Тимофеева-Ресовская рассказала об этом своей подруге Кузнецовой. До конца жизни оба, отец и мать, мучили себя за принятое решение. В каком-то смысле они считали, могли считать себя виновными в гибели сына.

История эта дошла до меня уже после смерти Тимофеевых-Ресовских, сравнительно недавно. Тема Фомы в доме Тимофеевых-Ресовских была как бы запретной, во всяком случае нежелательной. Ее упорно избегали; теперь многое стало понятней. Хотя далеко не все. До сих пор не могу представить себе, каким образом Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский принял такое решение. Но не могу вообразить и иное решение. Оба решения безвыходные. Это ситуация библейская, шекспировская, трагическая в любом направлении. Великому человеку достаются и великие испытания.

Публикация романа в Германии приносит к моему берегу новые факты, сообщения. Замечательный немецкий физик Риль подтвердил невозможность для Ти-

мофеева-Ресовского никаких работ на потребу нацистов, исключал начисто какое-либо его участие в атомном проекте немцев. Последние годы Риль и Тимофеев-Ресовский были связаны совместной работой. В конце 1992 года в журнале «Naturge» появилась большая статья-исследование, которая окончательно подтверждает непричастность Тимофеева-Ресовского к каким-либо работам на войну, на расистские темы. Историкам не удалось найти никаких фактов, свидетельств, ничего того, что можно было бы поставить в вину русскому генетику.

«Зубр» вышел в Западной Германии (под названием «Генетик»), его читали и восточные немцы, а в ГДР «бюро Хагера» расследовало, каким образом один экземпляр «Sie nannt ihn Uhr» обнаружен был у кого-то на руках. Поднялась паника, словно баццилла чумы вырвалась из лабораторной бутылки.

Несмотря ни на что, книга вышла и в ГДР. Еще успела выйти, пока Стена была цела, пока ЦК работал, и все ревнители сидели в своих кабинетах. В конце октября 1989 года Клаусу Хопке после долгого разговора удалось наконец вырвать у К.Хагера разрешение выпустить «Зубра» из «холодильника».

Странно, но я вспоминаю о тех временах со смешанным чувством. Есть что-то славное в том минувшем, увя, безвозвратно ушедшем. Такого уже не будет, чтобы нас, писателей, так боялись. Ныне уже не то. Ныне, что бы я ни написал, какую бы сатиру или контру, как бы ни уязвил основы, такого переполоха не вызвать. С ностальгическим чувством я перебирал документы, присланные Клаусом Хопке, складывал их в папку, прощаясь с ними и со всем серебряным (или железным) веком могущества литературы, и кино, и живописи, когда нас боялись, собирали совещания, издавали постановления ЦК, никогда не будут уже из-за наших книг давать выговоры, вызывать издателей, переписываться министры, советоваться с КГБ. И мы не сможем более проявлять стойкость и чувствовать себя героями. Грустно. То правительство и та партия, - ах как уж мы приспособились друг к другу в своей не любви! Никто не будет теперь испытывать к нам такой горячей неприязни. У них было занятие - они запрещали, охраняли, изымали, увещевали, а чем теперь занимается, допустим, Министерство культуры? Бог его знает. Нынешним властям мы не нужны. Никто не выискивает в моих книгах крамольных фраз, не сообщает о них куда следует. Боясь, что власти вообще перестали их читать. Похоже, мы стали безопасны, бессильны и должны заняться всего лишь настоящей литературой.



## Готтольд Эфраим ЛЕССИНГ

*Бессмертен Клопшток, люди правы!  
Но кто зачитывался им?  
А нам не надо вечной славы,  
Чтоб нас читали, мы хотим.*

**М**едленно надвигался 1968 год. В обществе появились небольшие, но важные изменения. Одним из них был новый закон о высшем образовании, который разрешил тайное голосование при выборах университетских руководящих органов (вследствие которого меня избрали проректором Карлова университета). Хотя результаты выборов должен был еще утверждать сам министр, это был, тем не менее, шаг

альную страну, до уровня «развивающейся». В начале шестидесятых годов Чехословакия первой из соцстран зафиксировала упадок темпов промышленного развития. Таков был непосредственный результат ссоры с Китаем, так как китайцы заказывали у нас очень много специализированных поставок, от которых они после разрыва с Москвой отказались. Речь шла по меньшей мере о 4-х миллиардах крон. Плановое хозяйство, которое было безоглядно скопировано с советской системы, претерпело жестокий удар. Действовавший

чтобы пражский эксперимент прошел удачно и он мог бы опереться на возникшие в его ходе общественные структуры как у себя в стране, так и за рубежом.

В 1967 году кризис обострился, и правительство Новотного обрушилось на своих открытых критиков из рядов интеллигенции, прежде всего на писателей, которые создали мощный рупор общественного мнения - еженедельник «Литерарни новины» (тираж 50 000 экземпляров, рост которого постоянно насильственным сдерживался). Осенью 1967

## Эдуард ГОЛЬДШТЮККЕР

ного курса не имеют поддержки в кругах интеллигенции, кроме того, их интеллектуальный уровень не делает чести партии. Затем разговор коснулся шестидневной войны, которая тогда всех очень волновала, потому что на сей раз советской позиции не была оказана безоговорочная покорная поддержка. Я удивился, почему снова и снова повто-

# ВОСПОМИНАНИЯ ЕВРОПЕЙЦА

к свободе выражения общественного мнения, отход от мертвящей серости, которая расплзлась по всей стране. Ведь можно сказать, что Чехословакии удалось «догнать» своего советского собрата по уровню отсталости! Трагедия нашей тогдашней ситуации состояла в том, что чехословацкая десталинизация только начиналась, когда советская авиаматка уже уверенно плыла курсом неосталинизма. Кроме того, десталинизация должна была осуществиться в стране, которой сталинизм нанес особенно жестокий и коварный удар. Из коммунистических партий, которые после войны подпали под непосредственное советское влияние, КПЧ была единственной, которая - за исключением недолгих перерывов - имела опыт почти двадцатилетней легальной парламентской деятельности, т.е. со дня основания до Мюнхенского соглашения. Ее социальная база имела массовый характер. К моменту Мюнхенского кризиса число ее активных членов достигло 60 000, за нее голосовали 10 процентов избирателей, 750 000 голосов. Прочное ядро КПЧ сохранилось. Это решительно отличало ее от коммунистических партий других стран восточного блока, где коммунисты перед войной представляли собой маленькие нелегальные организации, как, например, в Румынии, Польше или Венгрии. Польскую коммунистическую партию Сталин ликвидировал с особой жестокостью еще перед войной. Только немецкие коммунисты, которые вообще были исключением во многих отношениях, имели за плечами опыт, подобный нашему.

Последствием сталинизации Чехословакии была роковая, прямо-таки безрассудная ориентация народного хозяйства на развитие тяжелой промышленности, которая довела Чехословакию, высокоразвитую индустри-

пятилетний план был отправлен в мусорную корзину, экономисты лихорадочно искали новое решение. Партийное руководство впервые задумалось, не следует ли заняться экономической реформой.

Как только решение об экономической реформе было принято, партийный аппарат разделился на два лагеря - сторонников и противников реформ. Последние боялись, что в случае успешных изменений они утратят свои привилегии. Характерная для атмосферы второй половины шестидесятых годов деталь - лучшие антипартийные анекдоты создавались в недрах секретариата партии!

Я вспоминаю разговор с Эрнстом Фишером во время одного из его приездов на лечение в Чехословакию. Тогда он сделал смелый прогноз: «Теперь при проведении экономической реформы у вас произойдет раскол аппарата, но только благодаря этому и будут созданы предпосылки для изменений системы». Он был прав, что в высшей степени показал 1968 год. Откуда взялись все эти вчерашние аппаратчики, поддержавшие «пражскую весну» и оставшиеся ей верными ценою тяжелых жертв, такие, как редакторы «Руде право», и многие другие? Вскоре обнаружилось, что предложенные реформы, пройдя все надлежащие инстанции, становились такими распыляемыми, что утрачивали первоначальный смысл. Невозможность провести успешную экономическую реформу без политических изменений делалась все яснее. Постепенно выявилась центральная идея «пражской весны»: попытка дать стране возможность функционировать как государство двадцатого века. Это было неприемлемо для тогдашнего советского руководства, которое было не в состоянии освободиться от сталинских примитивов. Пражский эксперимент мог стать источником важного положительного опыта и для СССР. Я уверен, что сегодня Горбачев много дал бы за то,

года «Литерарни новины» были отняты у наказанного таким образом Союза писателей и переданы Министерству культуры, под руководством «надежных» людей, под которым газета и прозябала несколько месяцев. Этому мероприятию предшествовал съезд писателей, который особенно наглядно продемонстрировал пропасть между интеллигенцией и косным партруководством.

В напряженной атмосфере перед съездом писателей аппарат ЦК стремился завербовать наиболее значительных из них на свою сторону. Но он не справился с этой задачей, потому что не только беспартийные писатели, но и коммунисты Союза были однозначно за реформы. Более того, они и были одной из опор реформизма. Поэтому секретариат партии решил действовать осмотрительно и «промыть мозги» влиятельным писателям-коммунистам поодиночке, в форме доверительных бесед. Высокопоставленные функционеры из идеологических отделов приглашали к себе предполагаемых противников курса Новотного и старались их переубедить.

Меня пригласил к себе секретарь ЦК Владимир Коуцкий. Я помнил его еще школьником. Он был очень способным математиком, прекрасно играл в шахматы. Потом он заболел туберкулезом, пережил тяжелую операцию, после которой ничего не осталось от его юношеской отваги. Наш разговор состоялся вскоре после шестидневной арабо-израильской войны. Коуцкому предстояло вскоре поездка в Египет, несомненно для того, чтобы как-то утешить Насера. Насер хотел того года уйти с поста президента, однако Советы убедили его остаться. Наш разговор с Коуцким начался с предстоящего съезда Союза писателей. Для него было особенно важно удержать нас от критики сторонников курса Новотного (в частности, главного редактора журнала «Пламень»). Тут я не мог ему что-либо пообещать, напротив, сказал, что поборники косерватив-

руется старая ошибка, почему советские функционеры в который раз неспособны верно оценить ситуацию. Как они могли благословить Насера на эту самоубийственную войну, и почему мы, КПЧ, должны принять концепцию «насеризма»?

За несколько дней до съезда писателей в «Литерарни новины» появилось интервью, в котором известные литераторы (Прохазка, Лустиг и другие) высказали такую же критику отношения Чехословакии к шестидневной войне. Второй человек в стране, руководитель партийной делегации на съезде Иржи Гендрих в официальном приветствии к съезду сразу же обрушился на это интервью. Но тут произошло нечто невероятное для такого рода аудиторий: подвергшиеся партийной критике писатели не приняли ее и перешли в наступление против линии, которую представлял Гендрих. Гендрих не верил своим ушам. Он вспотел от волнения и, нарушая все приличия, снял пиджак, а после того, как Павел Когоут предложил прочитать письмо Солженицына Союзу советских писателей и это предложение было принято подавляющим большинством, демонстративно покинул зал. «Ну, теперь все, вы проиграли», - сказал он в ярости.

Вслед за его массивной фигурой зал заседания постепено покинули и остальные члены партийной делегации. Уход Гендриха всех напугал, стали гадать, что теперь грозит еженедельнику «Литерарни новины», что будет с финансовыми средствами Союза писателей (которые прежде всего шли от продажи газеты) и, конечно, какая судьба уготована издательству «Чехословацкий списыватель» («Чехословацкий писатель»), которое принадлежало Союзу. Во время перерыва я подумал, что как старый партиец смогу предотвратить худшее, и решил взять слово. Эта же мысль пришла в голову и Яну Прохазке, потому что было ясно: никому из критиковавших руководство не удастся выпол-

\*Eduard Goldstücker. Prozesse. Erfahrungen eines Mitteleuropäers. München u. Hamburg, 1989. Написаны в эмиграции в Англии.

нить роль посредника, но это не удается и сторонникам Новотного. Когда я уже стоял на трибуне, мне передали из президиума телеграмму эмигрантского ПЕН-клуба с просьбой высказать к ней свое отношение. В телеграмме содержался призыв к съезду выступить в поддержку одного недавно арестованного писателя. Это шло вразрез с моими планами, потому что и парторганизация Союза писателей, и правление уже занимались этим вопросом, но в данных условиях было неразумно делать это открыто. Арестованному писателю это вряд ли бы помогло. В то же время отклонение петиции ПЕН-клуба было для Союза писателей относительно безболезненной уступкой и демонстрацией готовности к компромиссу. И вот я, которому вскоре предстояло самому уйти в эмиграцию, сказал, что люди, отказавшиеся участвовать в нашей жизни, не имеют права в нее вмешиваться и что у нас достаточно сил, чтобы самим решить наши проблемы. Но смысл и значение моего выступления заключались в другом. Нужно было найти точку соприкосновения критических голосов в зале и тех сил в партаппарате, которые могли бы оказать по крайней мере молчаливую поддержку нынешней патовой ситуации. Конечно, я все-таки выступил против цензуры, так что моя речь, задуманная как путь к компромиссу, не могла быть напечатана, так как я отказывался сделать в ней сокращения, которых потребовала цензура.

Одним из последствий съезда было вето партийного руководства на избрание Яна Прохазки председателем Союза. (Тогда впервые, согласно изменениям в Уставе Союза, решили выбирать не первого секретаря, а председателя). Кроме того, на четырех наиболее воинственных ораторов (Вагдулика, Климу, Когоута и Лима) были наложены взыскания. Речь Вагдулика, которая и сегодня представляет собой блестящий анализ того маразма, в который впало чехословацкое общество, вызвала огромный интерес и широко распространялась в перепечатках. Я уже говорил, что непосредственным поводом для ухода Гендриха было предложение Павла Когоута. Так как я в общем-то знал о трагикомическом страхе чехословацкого руководства перед самой возможностью каких-то разногласий с Советами, я предложил рассматривать эту часть протокола конференции как внутренний материал и не публиковать ее.

Это было в июне 1967 года, а после каникул должно было состояться «персональное дело» четырех «злоумышленников» - Союз писателей тоже должен был понести наказание. За день перед заседанием Центрального Комитета я встретился с Гендрихом, о чем меня просили многие друзья и знакомые, да я и сам

считал это своим долгом. Поскольку я был его старым знакомым, он разговаривал со мною более двух часов, которые прошли в оживленном споре. Я старался убедить его в том, что лучше было бы прекратить преследования, потому что санкции только углубят разрыв между руководством и общественностью. Гендрих возражал, что мягкость по отношению к интеллигенции возмущает рабочих, что партия демонстрирует таким образом свою слабость. Единственным результатом нашего разговора было уменьшение меры наказания для Когоута, потому что во время поездки в ФРГ Когоут сделал некоторые заявления, которые можно было истолковать как смягчение позиции. Он отделался выговором. Три остальных «злодея» были исключены из партии, а у Союза писателей отобрали «Литерарни новины».

Через несколько дней Гендрих собрал писателей-коммунистов в Народном доме. Атмосфера была подавленной, после речи Гендриха никто не взял слова. Лишь один старый сочинитель пропагандистских произведений, сын которого сидел тут же за столом Президиума в составе делегации Гендриха, зачитал свое заявление о лояльности. Затем поднялся писатель Грубин, но в отличие от собственных выступлений в 1956 году на сей раз он высказался очень осторожно. Когда я понял, что никто больше выступать не будет, я взял слово. Я сказал, что в рамках партийной дисциплины нам не остается ничего иного, как согласился с принятым решением. Однако я по-прежнему сомневаюсь в его правильности, потому что оно вытекает из пренебрежения общественным мнением, из стремления учредить опеку над обществом, хотя последнее давно уже созрело для большей свободы.

Непосредственно после собрания в Союзе писателей состоялось импровизированное собрание партгруппы, чтобы обсудить, что делать дальше. К моему изумлению, слово взяла молодая писательница Индришка Сметанова и заявила: «Теперь я знаю, как решить проблему председателя Союза. Предлагаю Гольдштюккера». Это не входило в мои планы, и вскоре после заседания я позвонил в секретариат и сказал, что в том случае, если моя кандидатура и на самом деле будет рассматриваться, следует учесть мое несогласие. Однако с этого времени об этом заговорили все. Писатели вынуждены были обороняться, отсюда возник план избрать «директорию» в составе трех человек, в том числе и меня. Я согласился, и в 1968 год, который оканчивался традиционно роковой для Богемии восьмеркой, я встретил на этом посту. В беспокойные последние дни 1967 года я часто вспоминал моего друга Ладислава Мнячко, который уже

несколько месяцев был объявлен «врагом народа». Летом вскоре после съезда писателей он пригласил меня на свою пражскую квартиру. Был там и пражский корреспондент "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг" Разумовский. Мы пили чай и сливовицу, а потом Мнячко вдруг предложил проводить меня до трамвайной остановки. Это было неблизко, и я удивился. Но из нашей беседы стало ясно, для чего он так поступил. Мнячко рассказал мне по секрету, что из протеста против официального антисемитизма он решил покинуть страну. Я был в замешательстве и пытался его отговорить. Однако он настаивал на том, что он не может жить в такой атмосфере. Он был родом из Моравии, вырос в Словакии, участвовал в словацком восстании и стал значительным словацким писателем. Его жена была еврейка. Он действительно уехал, осел где-то за границей, был лишен гражданства и стал объектом ожесточенных атак наших пропагандистов. В эти дни я не мог его не вспомнить. Я вспоминал наш последний новогодний вечер, который мы отпраздновали вместе. Тогда он поднял бокал для тоста и сказал: «За ваше здоровье, друзья. В этом году закончится эра Новотного».

Я спросил его, как он до этого додумался, - ведь нет никаких признаков. Он допил остаток русского шампанского и ответил еще более убежденно: «Увидишь, что так будет».

Уже больше года назревал кризис, но разразился он только в октябре 1967 года на заседании ЦК, когда Новотный наконец-то столкнулся с решительным сопротивлением. Конечно, он пытался утвердиться на своих позициях с помощью хитроумных ходов. Один раз заседание было прервано, потому что он уехал в Москву, официально - на празднование годовщины Октябрьской революции, по сути - в надежде, что ему удастся привлечь Брежнева на свою сторону. Как раз в день его отъезда студенты устроили демонстрацию против условий в общежитиях. Несмотря на то, что демонстрация проходила в высшей степени мирно - студенты несли горящие свечи и скандировали: «Нам нужен свет и тепло!» - полиция жестоко расправилась с ними.

Возмущение было всеобщим. Для нас, преподавателей вузов, это был повод к резкому протесту, и нам под давлением общественности удалось добиться небывалой по тем временам отставки министра внутренних дел. Когда Новотный несолоно хлебавши вернулся из Москвы, он попытался привлечь на свою сторону армию. Но и тут он не имел успеха. Приехавший в Прагу Брежнев все еще не мог забыть, что во время падения Хрущева Новотный не был на его, Брежнева, стороне. Приехав в Прагу, он распротер руки и

заявил: «Это ваше дело!» Эта фраза быстро стала знаменитой, однако Брежневу пришлось вскоре горько пожалеть о сказанном. Первым последствием был компромисс 5 января 1968 года: Новотный оставался президентом, но уступал пост первого секретаря партии. Нужно сказать, что имя Дубчека - до октября 1967 года - в этой связи еще не произносилось. Скорее думали об Олдржихе Чернике. А Новотный, которого уже критиковали со всех сторон, поссорился и со Словакией. Его и раньше там не очень-то любили, теперь же он вообще повел себя как слон в посудной лавке. Он не замедлил обвинить словацкое руководство в национализме и задел тем самым еще не зажившую рану. В результате, вопреки собственным интересам, он достиг того, что объединил против себя самых разнородных противников. Их возглавил Дубчек. Все сразу почувствовали, что его появление на посту секретаря ЦК означает нечто большее, чем обычную косметическую операцию. От имени руководства нашей писательской организации я составил приветственное письмо Дубчеку, и мы направили его в ЦК. Это было, если я не ошибаюсь, 11 января 1968 года.

Вскоре после этого я познакомился с Дубчеком, когда он пригласил на прием в ЦК университетскую делегацию (ректора и проректоров). Он произвел на меня потрясающее впечатление. После всех этих вождей сталинского типа перед нами был скромный порядочный человек, который смог сказать нам, представителям интеллигенции: «Я прекрасно понимаю, что только случай привел меня на этот пост, но я заверю вас, что, пока я занимаю его, я буду относиться к вам иначе, чем мои предшественники. Они старались доказать вам, что вам без них не обойтись. Я же постараюсь вас убедить, что вы больше нужны мне, чем я вам».

Такого еще не вводилось слышать, потому что Новотный никогда не упускал случая излить свой гнев на интеллигенцию. Мы почувствовали, что выборы Дубчека - это прорыв, что сейчас открывается подлинная возможность демократизации всей системы. Выступая по радио в те дни, я сказал, что тот, кто сейчас возвращается на родину, чувствует себя в историческом смысле в атмосфере 1918 года. Потом меня за это сильно упрекали, но такое чувство было не только у меня.

Сразу же после того, как меня выбрали секретарем Союза писателей, для меня начался период оживленной деятельности. В ряде газетных и радиоинтервью я постарался рассказать, как я представляю себе работу писательской организации в новых условиях, и, кажется, мне это удалось. Лишь телевидение вело себя



осторожно, чего-то выжидая. В конце эры Новотного руководителем внутривластного отдела ТВ стал Камил Винтер, которого я знал еще со времен английской эмиграции. Лишь через десять дней после того, как я был избран, он дал о себе знать. Мы в общих чертах обозначили беседу, которая была затем показана 4 февраля и в которой я первым из представителей нового курса разъяснил по телевидению его цели. Я осудил прежнюю политику партии по отношению к интеллигенции как искусственно насаждавшую враждебность, противоречившую всем нашим традициям, в том числе и партийным. Я сказал, что новое руководство Союза писателей требует пересмотра дел исключенных авторов и возвращения „Литературной новины». Я намеревался также поднять вопрос об отмене лишения гражданства Ладислава Мнячко. Как проректор Карлова университета я высказался за изменение отношения к студентам, которым следует дать возможность объединяться в различные организации по интересам. Еще до того, как закончилось телеинтервью, зазвонили телефоны, и на меня обрушился поток вопросов и поздравлений.

Ситуацию в первые недели после январского пленума ЦК можно, пожалуй, назвать периодом своего рода стагнации. Словно испугавшись собственной смелости, ЦК решил не публиковать материалы драматических дебатов об отзыве Новотного. Только смелая газетная статья Смрковского кое-что сказала о новых перспективах. Но тогда я понял, что сегодня публичную реакцию вызывает только то, что появляется на телеэкране.

...Чрезвычайно важным было собрание, состоявшееся в бывшем Дворце Ярмак, который тогда переименовали во дворец им. Юлиуса Фучика. То, что стали называть "процессом обновления", привлекло шестнадцать тысяч посетителей плюс миллионы радиослушателей по всей стране, и Иозеф Смрковский, Густав Гусак, Павел Когоут, Мария Швермова, Ота Шик, Ян Прохазка и я выступали с речами и отвечали на вопросы.

Я тогда часто общался со Смрковским; известным мне еще с довоенных времен как Тонда Пекарж из пражского округа. Правда, сначала я его резко критиковал, когда сразу же после реабилитации он начал сотрудничать с Новотным и занял незначительный пост заместителя министра сельского хозяйства. Это не повредило нашей дружбе - до его преждевременной кончины. А тогда, когда он стал замминистра, я высказал в кругу друзей свое удивление. Кто-то передал ему мои слова, и однажды вечером, поздней осенью 1966 года, он пришел к нам, чтобы поделиться своими соображениями и планами. Мы разговаривали всю ночь, вспоминая хорошие

и плохие времена. Он интересно описывал май 1945 года, вооруженное восстание, политическим руководителем которого он был, и не без самоиронии рассказывал, что именно он отклонил личное предложение генерала Паттона прийти на помощь Праге! Уже под утро нам было ясно, что ничего не изменилось в наших прежних отношениях. "Мы еще послужим республике", - сказал он, прощаясь. С самого начала Иозеф был одним из радикальнейших критиков "новотнизма". После январского пленума ЦК он был первым функционером высокого ранга, который покусился на наши табу, отстаивая свою точку зрения, согласно которой в процессе демократизации главную роль должен сыграть сам народ, демокс.

В отличие от наших контактов со Смрковским моя встреча с Гусаксом во время этой публичной дискуссии была первой после долгих лет. Мы оказались рядом и беседовали как старые друзья. И так было всегда, вплоть до августа. Я заметил тогда, что он мало изменился. Он никогда не сомневался в том, что его собственные взгляды и выводы - единственно правильные. Сначала он решительно выступил за политику демократизации. Но уже в апреле он начал колебаться. В это время в Братиславе разразился скандал вокруг журнала "Культурный живот". Часть редколлегии во главе с Новомесским вышла из журнала, обвиняя некоторых пражских писателей в сионизме (особенно они нападали на Арношта Лустига), и основала "Новое слово", журнал, ориентированный на Гусака. Сегодня я спрашиваю сам себя, не тогда ли начался путь, который привел Гусака на вершины и в пропасти власти. Полезно было бы разобраться, что же такое произошло тогда в Братиславе на самом деле и кто стоял за кулисами событий. По старому проверенному методу "Советы" с самого начала наших реформ уже искали человека, которым можно было бы заменить Дубчека. Сначала они сделали такое предложение Смрковскому, когда его избрали председателем парламента, и он в этом качестве посетил Москву. Вполне вероятно, что Гусак, тонко чувствующий политическую ситуацию, уже тогда решил списать со счета реформы и демократизацию и обратить на себя внимание "Советов". Но стать кандидатом Москвы было не так-то просто. Как прототип диктатора он, конечно, им подходил - в его стиле не было ничего демократического. Это был типичный автократ. Он рассматривал власть как смысл своей жизни и был готов пожертвовать за нее многим, друзьями в том числе. Тем не менее человек он умный, с чрезвычайно развитым интеллектом. У него нет недостатка в мужестве и стойкости. Когда он был в тюрьме, его не удалось принудить к

безоговорочному и удобному для гебистов признанию своей вины.

Сначала он работал в Госкомитете по вопросам федерации. Равновесие между Чехией и Словакией было одним из кардинальных вопросов 1968 года и - одновременно - важнейшим рычагом карьеры Густава Гусака. Используя этот рычаг, он достиг уровня заместителя премьер-министра, в кабинете которого состоялось наше последнее совещание. Тогда мы отметили, что процесс федерализации государства застыл на мертвой точке. Мы собрались во время маневров советских войск, этой генеральной репетиции вторжения на нашу территорию. Я сказал тогда, что процесс федерализации необходимо ускорить, что республике угрожает опасность, как во времена Мюнхена. Если мы не хотим, чтобы наши нерешенные внутренние политические проблемы использовали внешние силы, мы должны действовать. После моих слов Гусак демонстративно замолчал и как бы отстранился от происходящего.

Я привожу этот эпизод, потому что сегодня форма сосуществования чехов и словаков - единственное, что сохранилось от Пражской весны. Гусак считает это своей заслугой, - и действительно, он много для этого сделал. Но и здесь результат не соответствует первоначальным намерениям. И здесь русские наложили свое вето. Ведь по замыслу федерализация должна была создать систему равновесия между чехами и словаками. Наряду с уже существовавшей словацкой компартией нужно было создать компартию Чехии. Затем следовало избрать общие руководящие органы компартии Чехословакии. Все шло к этому, и тут-то вмешались русские. Ведь, согласно их логике, русской, российской компартии не существовало, почему же должна существовать чешская? Как известно, есть армянская, казахская, литовская и всякие прочие компартии, а русской не существует по той простой причине, что русские - везде. В Чехословакии такое решение было на пользу словакам. Трагедия исторического развития словаков состоит в том, что они достигли вершин своих успехов либо при покровительстве Гитлера, либо дряхлого Брежнева, т.е. благодаря помощи внешней диктатуры. Во время словацкого восстания 1944 года Гусак даже был согласен на вхождение Словакии в СССР!

После крушения советской политики в "народно-демократической" Европе, т.е. во всех странах, которым они навязывали всю собственную модель, Советам пришлось отдать соблюдение своих интересов в руки людей, которых они сначала обрекли на уничтожение: Гомулки - в Польше, Кадара - в Венгрии, Гусака - в Чехословакии.

А тогда, перед тысячной толпой, перед людьми, которые связывали свои надежды с изменениями в партии, Гусак был пламен-

ным революционером. Он призывал к процессу обновления, требовал демократизации, "без которой нет продвижения по пути реформ", и т.д. Пока эти лозунги помогали ему приблизиться к власти, он поддерживал их всеми средствами своего недюжинного ума и характера. С той же силой он проводил позднее лозунг "нормализации", т.е. ресоветизации Чехословакии. Подлинная заинтересованность в успехе чехословацкого эксперимента уступила расчету. А тактика и стратегия отступничества были хорошо разработаны.

На мой взгляд, мое выступление на митинге выглядело на фоне Гусака почти что консервативным. Я говорил только о том, что считал наиболее важным в тот момент, - о руководящей роли партии. В советской практике она сводилась к монополю власти партаппарата, при Сталине - тайной полиции. Но в настоящий момент, в 1968 году, партия не может снять с себя этот груз, этого не позволяют геополитические условия проведения реформы. В данной ситуации необходимо признать и сохранить руководящую роль партии. В стране нет альтернативной команды, которая может взять в свои руки рычаги управления, и отказ от руководства партии может создать опасный вакуум власти. Поэтому сейчас речь может идти о том, чтобы по-новому определить этот приоритет.

Увы, я не вызвал оваллий. Но я высказал то, в чем был тогда убежден, да и сейчас я все еще считаю, что мое предложение было разумным и имело шанс на успех. Правда, новое понимание руководящей роли партии потребовало бы от коммунистов демократизации всей внутривластной жизни, чему сталинизм сопротивлялся изо всех сил. В ответ на мое выступление консерваторы скрежетали зубами, они ощутили от него большую угрозу, чем от радикальных неистовств. Когда я вскоре после митинга повторил свои основные идеи на западногерманском телевидении, причем особо подчеркнул необходимость учета интересов и согласия всего чехословацкого общества, советские журналисты назвали меня контрреволюционером, который наконец-то обнаружил свое подлинное лицо. Я же был убежден, что мы сможем создать новую плюралистическую систему, которая будет учитывать интересы разных групп населения и контролировать действия властей. (Освобожденная от цензуры пресса уже действовала как такая контролирующая инстанция.) Сейчас я уже не знаю, можно ли это было реализовать. Беспощадное разрушение едва начавшегося процесса оставило этот вопрос без ответа.

**В** давние времена, рассказывают, был в одной боярской новгородской семье мальчик Вася.

Вырос он могуч и дерзок и никого не хотел слушаться. Батюшка всяких ему нанимал наставников, каких только можно было сыскать в многолюдном Новгороде, но Вася хоть учению был охоч и способен, однако слушаться страх как не любил и все норовил делать по-своему.

Через то много раз бывал больно бит, и много обид было от него людям, и одна на него была управа - это его матушка, она ему говорила так:

- Можешь, Вася, никого не слушаться, но меня изволь слушаться, если не хочешь вечно гореть в геенне огненной. Ибо после Всемогущего Господа кто тебе больше меня? Из моего лона ты вышел, моим молоком вскормлен, мои песни поешь, - что бы ты был, когда б не я?

И Вася эти слова принимал к сердцу, потому что помнил, как пребывал, малый и ничтожный, в материнском лоне и впитывал его живительные соки, и с соками этими входила в него, Васю, мощь и удаль, и всякое соображение, и слова всех песен, какие он певал потом, становясь отроком, и вьюношей, и зрелым мужем.

А когда он впитал все, что мог впитать, Господь в него вдунул душу, а вместе с нею и печение о ней, так что Вася, слушая слова матушки, говорил себе:

- Премудрые эти слова, и если я, раб божий Василий, их не послушаюсь, то это будет для моей души совсем не хорошо.

Еще он не стал зрелым мужем, как уже сложили про него множество сказок. Сложили, к примеру, сказку, как однажды, когда он вышел поразмяться в кулачном бою, двинулись на него две толпы новгородцев. С двух сторон поднялись кулачища как гири, но он махнул своей правой ручкой - и в толпе, направшей справа, образовался как бы проулок, и Вася вскричал:

- Славен город Великий Новгород!

Потом махнул левой ручкой, и в левой толпе образовалась улица, вдоль нее лежали окровавленные и стонущие, и Вася между ними пошел, восклицая:

- Славен город Великой Новгород!

И после того уже никто не дерзал на Васю кулак поднять.

И еще сложили сказки, какие писанные красавицы, царевны да королевны, златокосые и темнокудрые, одна другой румяней и пригожей, хоронясь от суровых отцов и ревнивых мужей, тешили Васю своей любовью. И как, спасая одну красавицу, убил Вася лютее чудовище - Змея Горыныча, а спасая другую, убил злого волшебника Кащея. И как попал Вася на дно морское и до того угодил Морскому Царю своей игрой на гусях и пляской, что Царь сам пустился в пляс, да таково лихо, что взбаламутил все море и перетопил все корабли. После чего взбрело Царю на ум выдать за Васю свою дочку и тем навсегда закрепить, удержат его при себе для молодецких забав. Но Вася сказал - царевен и на суше достаточно, так что мокрая и скользкая Морская Царевна ему без надобности.

- Славен город Великий Новгород!

Благополучно вынырнул из бушующей пучины аккуратно у батюшкиной пристани, где батюшкины работники сгружали с батюшкиных стругов привезенную из Биармии соль и солили рыбу в большущих бочках и бочками этими заваливали батюшкины склады.

Брехали Васины завистники, а их было видимо-невидимо, будто сказка насчет Мор-

## ОКНО НА СЕВЕР

ского Царя отнюдь не про Васю была складена, а про некоего богатого гостя, Садка по имени. Известно, зависть чего не выдумает? Какой такой Садко, об Садке в Новгороде не слыхивали, а Васю знали во всех новгородских концах. А златокосые-то да темнокудрые, с алыми ланитами, их тоже Садку припишете? Ну, тут уж поостерегитесь, они, пожалуй, и обидятся.

Так жил Вася - худо ли? Дай Бог каждому. Из богатой Биармии возили батюшке и соль, и горючий камень, и руду, и строевой

## Вера ПАНОВА

жен, наполняя свои лари и кладовые рытым бархатом, перекатным жемчугом, соболями и горностаями. А за женами и мужья обшивали свою одежду соболями, и нанизывали на пальцы блистающие перстни, и в уши вдевали серьги с яхонтами.

А однажды Вася со своими товарищами знатно поживился, разбив на Волхове купецкий караван, и загорелось ему справиться себе новое ожерелье - старые его украшения, он полагал, попримелькались людям и более не возбуждали зависти, Вася же, прости его

# СЛАВЕН ГОРОД ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

РАССКАЗ

лес. Вонючими бочками с соленой рыбой батюшкины склады были забиты от утоптанного земляного пола до крыши, крытой листовой медью, в звонкой казне батюшка не отказывал сынку, если же когда казны не хватало для шумной жизни, Вася кликал батюшкиных работников и вел их бить чужие струги, плывущие по Волхову.

Матушка за эти дела сердчала на Васю, иной раз даже обзывала его Вараввой и Каинном, даже, случалось, наказывала из собственных рук. Но Васе без грабежа никак было не обойтись: давно миновали те красные дни, когда князья и их наместники, что ни праздник, кормили-поили народ безвозмездно, а выходя к нему, пригоршнями кидали в него монетами киевской и иноземной чеканки. Старые деды рассказывали чудеса - как выставляли на площадях жареных быков и бочки с вином, а по дворам развозили на возах калачи и жареных кур с гусями, - выломал у гуся ножку и ешь на здоровье, выбил втулку из бочки - подставляй ковшик и пей, сколько требует душа.

Ничего этого Вася и его сверстники уже не застали, им-то за каждый кусок и глоток платить приходилось, что тут делать? А самое простое - налетать на чужое добро и перетаскивать чужие токи в свои ладьи с поспивством и криком:

- Славен город Великий Новгород!

И как было им не хвалиться при всяком случае своим городом! Может, древнее стольного Киева он был, а дома имел прочнее и богаче киевских, а мостовые улицы свои и стогна замости бревнами, уложенными плотно одно к одному, и не было в нем двора без колодца с водой чистой и пользительной, и не из одной Биармии шли к Новгороду корабли со всякой всячиной, но из всех стран везли все доброе, чем только славятся заморские земли, - драгоценные ткани, и кружева, и алмазы, и хрусталь, и оружие, и работников, обученных ремеслам, и писцов для составления договорных грамот, и воинов, готовых за хорошую мзду сражаться с кем угодно, не щадя своей крови.

От воинов этих, от искусных ремесленников, от псыменных и торговых людей новгородцы перенимали их умение, знания, и речь, и одежду, - только по богатству одежды иноземцы не могли угнаться за новгородцами, особенно жены новгородские великолепием своего убранства побивали иноземных

Бог, любил возбуждать зависть.

- Гляди, - он сказал золотых дел мастеру, - такое мне сделай ожерелье, какого ни у кого нет в Новгороде.

- Можно, - сказал мастер. - Заходи перед постом, будет готово.

И к Великому посту, точно, получил Вася новое ожерелье, и, точно, не было еще такого ожерелья в Новгороде, а может - и на всем белом свете. Будто из золотого кружева было оно, и, как лучи от солнца, расходились во все стороны подвески, а в каждую подвеску был вставлен камень такого цвета, как густая кровь, и с такими гранями, что свет от них брызгал алыми снопами. И этого мало, вокруг каждого камня золотым накрапом сделан был венчик из махоньких цветочков по образцу цветочков черемухи, и так это было сработано, что, однажды взглянув на это, нельзя было взор отвести.

А Вася надел эту красоту себе на шею и пошел в лес гулять. В лесу на деревьях птицы поют, а под деревьями разбойник покаживает с кистенем.

Увидел он Васино ожерелье и нацелился стукнуть Васю кистенем. Но птицы как вступятся, как раскричатся, не бей, кричат, не займай.

- Он - как мы, - сказали птицы человечьи голосами. - Пушай летает вольно.

- Он в крови, - сказал разбойник, - И руки в крови, и шея ровно бы каплями крови обвешана. Вы нешто в крови?

- А глянь на сову, - сказали птицы. - У ней клюв в крови и когти в крови, она зайчонка задрала. Драть зайчат и лисят ей богом указано. Нам же не указано, вот и летаем невинные - не по своей заслуге. Васе назначено - струги сокращать и людей бить. Не его в том вина, не по своей воле ручищи себе окровавил.

Рассмотрел разбойник Васины ручищи, и прельстились они его пуще ожерелья: бугристые, жиливатые, цепкие, все могут:

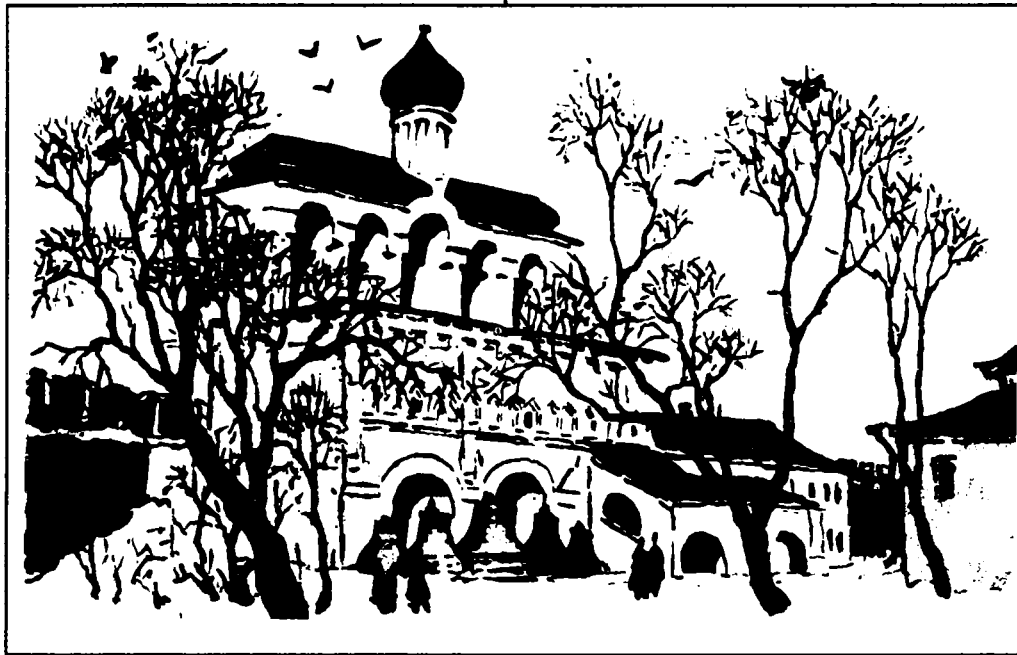
пуг водить,  
дома складывать,  
струны перебирать,  
ласкать,  
убивать.

- Послушай, - сказал разбойник, - там в чаще медведь от спячки проснулся, лежит как гора, шкура богатышная. Одному мне его взять несподручно, пойдем вместе возьмем, вдвоем - запросто.

- Не хочу, - говорит Вася.  
 - Почему это?  
 - Не хочу, и все.  
 - Да почему же?  
 - Буду я тебе растолковывать - почему да отчего. Охоты нет, и весь сказ.  
 - А ты через неохоту.  
 - А это я не могу. Я только то могу, на что у меня охота есть.  
 - Ну, уважь, пойдём.  
 - На что мне тебя, разбойника, уважать?  
 - Сам ли ты не разбойник?  
 - Нет, я не разбойник, я в своем новгородском лесу гулял не тужил. А ты в мой лес пришел да волку надо мной хочешь взять, иди - говоришь - через неохоту. А я не же-

- Это откуда у тебя, сынок, такое богатое украшение?  
 - То мне товарищ мой сработал, - Вася говорит.  
 - Чай, недешево обошлось, - матушка говорит.  
 - Да как сказать, - Вася отвечает. - Сколько-то золотых слитков, да сколько-то жиней человеческих, а камни он свои ставил.  
 - Ах, сыночек, сыночек, - матушка говорит, - не сносить тебе твою головушку.  
 - Может статься, и не сносить, - Вася соглашается, - да ведь конец-то, матушка, один - что так, что здак.  
 - А грех, Вася, об грехе ты думаешь?  
 - Я, - говорит Вася, - больше всех об

- Славен город Великий Новгород!  
 И которого били, ему отвечал теми же словами:  
 - Славен город Великий Новгород!  
 И не так ему было больно от Васиных кулаков и сапог, подкованных железом.  
 И когда случалось Васе с товарищами нападать на струг, и кричал он громким голосом, оглашая Волхов, и мосты его, и берега:  
 - А ну, скидавай замки, развязывай узлы, волоки товары на палубу!  
 И тут добавлял для бодрости:  
 - Славен город Великий Новгород!  
 И плывущие на струге, выволакивая из трюма токи и ящики, утешались отчасти и вторили с охотой:  
 - Славен город Великий Новгород!



Новгород. Звонница Софийского собора.

лаю через неохоту ходить. И выпрашиваешь у меня, а я тебе вовсе и отвечать не желаю, и ступай ты от меня куда хочешь, сделай милость.

- Куда же? - спросил разбойник. - Я бы, может, и пошел, да идти-то некуда.

- А это не моя печаль, - Вася говорит, - об этом сам заботься.

- А то сходим на медведя, - сказал разбойник.

- Нынче говоришь "на медведя", завтра скажешь - "иди землю пахать", когда мне, может, совсем не того будет завтра хотеться. Я, Вася Буслав, этак не согласен. Я, Вася Буслав, по своему хотению жить хочу, не иначе.

- Зря это ты, - сказал разбойник, - я б тебе все уменье рассказал, когда и чего хотеть, - для твоей же, Вася, пользы.

- А мне не надо твоего уменья, по мне пушай дурацкое, да мое, буславское.

- Ну, коли так.

- Да, от так, - сказал Вася.

- Тогда я и впрямь пойду, пожалуй.

- И с Богом.

- Смотри, Вася, пораскинь. Не кусать бы тебе потом локти.

- Да уж как-нибудь.

И разбойник повернулся и пошел с кистенем своим прочь, а куда пошел - нам без интересу. И птицы с ветвей, насмехаясь, гремели ему вслед: "Славен город Великий Новгород" - гремели не смолкая.

Надел Вася ожерелье и ходит по Новгороду из конца в конец, красуется. Люди подходят, дивятся, ему лестно. Матушка строгая стала было пытаться;

нем думаю, как я, должно быть, всех грешнее. Но, уповаю, в день воскресения и моих ушей достигнет труба, и аз, грешный, восстану со всеми.

- Ой, Вася, так ли?

- Так, матушка.

- Веруешь, Вася?

- Верую, матушка, и вы веруйте.

И страшно матушке не верить, и верует она изо всех сил, что и для грешного сына ее прогремит архангельская труба, и страшно ей глядеть, что Васина шея будто каплями крови обсажена.

И люди на новгородских улицах говорят:

- Что-й-то, Вася, какое ожерелье у тебя, будто каплями крови шея обсажена.

- Нешто не красиво? - Вася спрашивает.

- Красиво-то оно красиво, да глядеть боязно.

- А не гляди, коли тебе боязно, - Вася отвечает.

- Да для чего ж надел, коли глядеть не велишь?

- Я для своей радости надел и для того, чтоб говорили по белу свету: нигде таких ожерельев делать не могут, кроме как в Великом Новгороде.

- И впрямь не могут, - говорит прохожий.

- Славен город Великий Новгород!

- Славен город Великий Новгород! - восклицает Вася в ответ.

И довольны оба. И всяк идущий мимо доволен, слыша это.

И так шел Вася по всему Новгороду, из конца в конец, и все твердил:

- Славен город Великий Новгород!

И когда случалось ему бить кого, он бил кулаками и ногами, приговаривая:

**Р**оскошный иностранец появляется осенним вечером в доме протопопа Алексия. Немало нарядных гостей повидали новгородцы в своих домах и на своих улицах; сами умеют пощеголять. Но этот новый приезжий одет так, будто собрался на королевский пир. Желтый шелк шит в прорези его черного суконного платья, и таким же шелком подбит ниспадающий до щиколоток широкий бархатный плащ, отороченный седым бобром. Завитые перья свешиваются со шляпы, а на шею надета золотая литая цепь. Его башмаки даже на взгляд тяжелы, как амбарные замки. И словно для того, чтобы сделать их еще тяжелей, к ним приделаны медные пряжки, а на пряжки вываливаются толстые кожаные языки, разукрашенные узором из искусно пробитых мелких дыр.

# НАЧАЛО ЕРЕСИ

РАССКАЗ

И когда он протянул руку, до пальцев поросшую черным волосом, в свете лампад на этих пальцах заиграли самоцветные камни.

Он дороден. Пухлые, как у бабы, плечи поднимаются выше ушей. Живот переливается через пояс, как тесто через край квашни. Могучие икры играют под шелковыми чулками.

Он появляется не сам, его приводят княжие люди. Они велют протопопу взять его на постой и держать, и кормить с его слугами и конями, покуда он не переделает в Новгороде свои дела и не вознамерится вернуться домой.

- Где же твой дом, господин? - спрашивает протопоп, когда они остаются вдвоем за ужином.

Поповны, Софья Алексеевна и Варвара Алексеевна - со своими мужьями Васюком да Ивашкой - разошлись по спальням, челядь примолкла в поварне. И протопоп, закипший в скуке своего дома, рад, что за его столом сидит такой видный, по глазам видать, умный, без сомнения, бывалый человек. По-собачьи подвывая, кружит за окнами ветер. Две лампы - зеленая и алая - освещают все то же, что вчера и третьего дня. Освещают образа с Иисусом то державно-строгим, то (псковское письмо) в виде кудрявого агнца, освещают поставец со всякими диковинами: кубками переливчатого стекла, мраморными и хрустальными яйцами, морскими раковинами, деревянными раскрашенными образинами. Каждая из диковин когда-то поначалу была - радость и награда за терпеливую и убогую жизнь; но, простояв перед глазами полвека, постыла так, что и не глядел бы на нее, - стала одной из скудных принадлежностей этой жизни.

- Дом мой в Киеве, - отвечает гость. - Сказать точно - в ста верстах от Киева, но по большей части живу в самом Киеве, в княжеском дворце, ибо состою лекарем при князе Михаиле Алексеевиче и лечу его семейство, от самого князя до грудных его правнуков, а потому обязан постоянно находиться под рукой.

Что должно последовать за таким ответом? Должны последовать во множестве новые протопоповы расспросы: каков нравом князь Михаил Алексеевич, кто его предки, с кем состоит в родстве? Велик ли его двор, богаты ли хоромы, прибыльна ли служба у него, сколько, к примеру, платит своему лекарю, от каких болезней лекарю (его зовут Зхария) довелось лечить самого князя, и княгиню его, и их детей, и внуков, и правнуков.

Обо всем протопопу надобно узнать от Зхарии, ибо как узнаешь, что делается за пределами Новгорода? Не иначе, как от заезжего либо захожего человека, странника. Кабы не эти странники, благослови их Бог, так бы и просидел протопоп весь свой век, ничего не зная. А ничего не знать кому хочешь прискорбно, от этого недолго захиреть и отдать Богу душу.

Еще надобно знать протопопу Алексию, какими средствами лечит Зхария, теми ли, что приняты у новгородских лекарей. И узнает Алексий, что князю печень Зхария излечил так же, как некогда излечили и протопопу: надрезал по весне ствол березы и подвешивал горшок, потом опускал тот горшок в студень ручей и охлажденным кисло-сладким целительным соком поил князя после всякой трапезы, и боли унялись, и прекратился запор, и моча стала светлой и чистой. Ибо березовый сок вымывает песок из человека и очищает кровь.

- Самое это богатое дерево - береза, - говорит Зхария, - многими способами продлевает человеку жизнь. Собери молоденькие березовые листочки и обложи ими расслабленного - и у расслабленного прибудет силы. Пей настой горького и черного, как желчь, гриба, что вырастает на теле старой березы, - не можно и высказать, от каких скорбей себя охранишь.

И о других целебных растениях выпрашивает протопоп у Зхарии, и Зхария, что знает, выкладывает, не таит. Учит, какая польза от молодых еловых корней, а еще большая - от ягод шиповника. Видать, князь его за эти знания награждает щедро, ибо живет Зхария, видать, немногим хуже самого князя, вот, слышь, хвалится, - накупил, де, через людей товаров в немецких городах и теперь ждет, когда корабли с этими товарами придут в Новгород, в том и дела его, говорит, здесь состоят.

- Чего только нет, - хвалится, - на тех кораблях, главное же - разное узорочье, на которое так падки и новгородцы, и киевляне, и всяк, кто побогаче на Руси. Что ты скажешь, вот ведь русским к Китаю куды ближе, нежели немцам, а этот желтый китайский шелк куплен втридорога в немецком городе Гамбурге, куда привезен кружным путем через многие страны, а почему так? Божья воля, говоришь? Навряд ли Бог, надо думать состоит при торговле шелком, у него, надо, думать, других дел немало, просто мир устроен несовершенен, как по части торговли, так и по всякой иной.

Дойдя до Бога, разговор касается образов псковского письма. Давно воспрещено писать Спасителя в виде агнца, а неслухмяные псковичи, говорит Алексий, - доселе пишут. И тем низводят Сына Божия до сына Авраамова, Исаака, и еще ниже - до твари, не имеющей бессмертной души.

Тут кстати вспомнилась история Исаака, которого Авраам чуть было не принес в жертву, чуть было не ударил ножом, - и ударил бы, не останови его Вседержитель окриком Своим.

Они прослезились оба, вспомнив сию умильную историю, Алексий и Зхария, у обоих светлая слеза упала в бороду, и отсюда оказался один шаг до рассуждения о Ветхом завете и Новом - который выше и истинней. Протопоп стоял за Новый, Зхария же славит Ветхий, для него вера в Иисуса Христа - непутевое людское измышление, хула на Господа.

- Иже от Отца рожденна прежде всех век, - бормочет протопоп свой символ веры, - рожденна, несотворенна, единосущна Отцу.

Но Зхария говорит - не может быть Сын единосущ Отцу, как не может плод быть единосущ древу, на котором вырос.

Зхария говорит - не могло быть рождения прежде всех веков, то есть до Сотворения мира. Сотворение записано день за днем, нет там места для рождения Сына. И не безумие ли думать, говорит Зхария, что Единый Всемогущий Бог мог родить, мог размножиться, как любая им созданная тварь, - сего не приемлет ни человеческое благочестие, ни человеческий разум.

Алексий говорит - разум немощен и подвержен Дьяволу. Зхария говорит - разум нам дан от Бога, негоже его отвергать, истинно верующий прислушивается к разуму. Зхария говорит - противны здравому рассудку и рассказы о Троице, и нигде не нагнали столько пустяков, как в учении о трех ипостасях Бога, это учение как худая рыба сеть - чуть тронешь в одном месте, расплывается вся. Если существует Дух Святой, говорит Зхария, и если Сын единосущ Отцу, - не ясно ли, что Дух исходит от обоих, почему же христианская церковь велит веровать, что Дух исходит лишь от Отца, а что он исходит от Сына - не могли и помыслить?

- Не было Иисуса Христа, - говорит Зхария, - был великий пророк Моисей, как веровали при нем, так надлежит веровать и ныне и впредь, только живучи по Моисеевым заповедям можно спастись, от ложного же христианского учения уже отворачиваются все, кто спасением дорожит.

- Только на Ветхий завет указывай пасомым твоим. Не доверяй, - говорит Зхария, - заповедям бессильной доброты, доверяй заповедям твердости и мудрости. Только на Ветхий завет указывай пасомым. По слову Моисея Господь наслал казни на египтян и расточил силу их, молитве же Иисуса не внял, Иисус не сумел Себя спасти от мук и погребения, это ли не знак, что он не был Сыном, что посланцем истинным и излюбленным был Моисей?

Так говорил Зхария, мятежно возмущая детскую протопопову душу. Протопоп негодует, но слушает, ведь где и когда еще услышишь этакое? Протопоп спорит, но у гостя на каждое слово запасено десять, он, видать, об этом спорил не раз и не два, протопоп же застигнут врасплох, его мысль еле ворочается с боку на бок.

- Зовешь себя христианином, - говорит Зхария, - как же дерзашь перечить Христу?

- В чем, в чем я перечу? - ужасается протопоп.

- Как же не перечишь. Читал ведь, что Он сказал: "Я пришел не разрушить закон, но исполнить". Сказал так или нет, отвечай. А ты хочешь разрушить то, что Он приходил исполнить.

И протопоп должен согласиться, что истинно Он так говорил, и безумный страх охватывает протопопову душу, - истинно, как же он, недостойный иерей, осмеливается перечить Тому, кому служит. Страшное обвинение - что отвечать обвинителю...

Беседуя, протопоп не забывает угощать гостя, а тот не забывает усердно кушать и солонину с хреном, и гусятину с капустой, запивая брагой из венецийского кубка на высокой ножке. За солониной и гусятиной из поварни приносят свежую свинину и печеную репу, за брагой - квас, а хозяин и гость все сидят и рассуждают. Слово за слово, и вот уже говорит Зхария, сколь богоугодно было бы пробудить в людях разумное исповедание веры, воротить ее к Моисеевой чистоте, и протопоп уже соглашается - богоугодно, мол.

Далее - сулит Зхария протопопу и его дочерям богатые подарки, как только придут его корабли, а протопоп снимает со стены образ с нежноглазым беленьким псковским агнцем и дарит Зхарии на память. Далее - хулит отчаянный Зхария святое причастие. А далее протопоп уж не смекает, с какой стати лезут они оба по шаткой приставной лестнице вверх, протопоп впереди, Зхария за ним, протопоповы подошвы цепляются за плащ Зхарии, лезут вместе на чердак, а оттуда через оконце на крышу, под звездное небо.

Крыша крыта медью, ладони по ней скользят, как намазанные салом, сорвешься - так и расколешься, как глиняный черепок, о бревна мостовой, но - ползком-ползком - Алексей и Зхария добираются до трубы и усаживаются рядышком на тепленьком местечке. Сдается - прямо на них срываются сверху осенние звезды, Зхария тычет в них пальцем и называет их незнакомыми именами, у протопоба же для звезд и их сочетаний свои названия, привычные от младенчества. Он видит Стожары, видит мигающую кровавую звезду войны и бедствий, и с чего тут рядом сидит этот иностранец и все называет не так - протопопу чудно и без надобности.

Но - любопытно! Наипаче любопытно, когда Зхария, перейдя на понятную протопопу киевскую речь, начинает толковать звездные знаки - какая звезда что предвещает и как можно уберечься от многих бед, ежели своевременно уловишь предвещения. Это не колдовство, отнюдь, говорит Зхария, но знание, свыше данное человеку среди других знаний, пренебрегать им неблагодарно и бессмысленно.

- Ибо задолго до Моисея, - говорит Зхария, - мудрецы научились разгадывать звездные знамения и записали сие учение в книги, называемые магическими, но немудрые римляне велели уничтожить это сокровище, по всей Римской империи магические книги были собраны и преданы огню. Римляне совершали это злодейство из боязни, как бы подвластные им народы не стали мудрыми и не возмущались бы, и вот из-за этой-то несправедливой, неправедной боязни мы, умные люди и пастыри душ, сидим здесь на крыше, не вооруженные звездным знанием, не в силах прочитать начертанные над нами письмена.

- Впрочем, - говорит Зхария, - не все пожрал огонь, кое-что дошло и до нас сквозь дым и пепел лихолетья.

И, подняв над головой узкий палец (в свете звезд взблескивают самоцветы), Зхария принимается читать небесные письмена.

Невеселое это чтение, светила сулят одно лишь недоброе - набеги, сечу, разорение храмов, клеветы, кровь. Что же, говорит Зхария, от этого не уйдешь, со времен Каина мокнет и мокнет земля в крови, жизнь несовершенна.

Возможно, он говорит, если все вернемся к вере истинной, меньше станет зла на свете и больше добра.

И протопопу уж не хочется спорить, ему вдруг тоже хочется истины и совершенства, прежде он о них не думал, теперь же они ему стали нужны позарез, - и улучшение торговли, и чтоб ему, протопопу, собственные корабли везли шелк прямо из Китая (а зачем? - он не знает), - и чтоб мильным его внукам, деткам Варвары и Софьи, богаче жилось и веселей, чем прожил он, их дед, свои годы.

Он глядит за Зхарийн палец, как на указку, и силится запомнить непривычным своим умом звездную азбуку на случай, ежели доведется в свой черед пересказать кому-либо, - нет, не все истребили римляне, кое-что уцелело в пламени и пепле веков, можно сжечь магические книги, но невозможно сжечь человеческую жажду знать, что же было в тех крамольных книгах, вот гляди - понадобилось узнать это и новгородскому протопопу, а сколько лет и зим и верст от Рима до Новгорода, сам посуди.

Внизу, под звездами, лежат крыши новгородских домов, из труб течет дым, под крышами течет такая же, как у протопоба, жизнь с кувшинами молока в погребах, с тестом в квашне, с развешанными на плетнях перинами (чтоб их прохватило морозцем), с людьми, жаждущими знать, что делается и делалось за пределами Новгорода.

Он понимает, протопоп, что занятие его преступное и опасное, что зря он тут сидит и слушает мятежные речи чужого человека, но можно ли от этого оторваться, можно ли уйти от этих звезд вниз, к своим лампадкам и квашне с тестом?

Если б до конца все рассказали премудрые светила! Если б рассказали о том дне, когда протопоп и с ним другие иереи, им соблазненные в жидовскую ересь, будут верхом въезжать в родимый Новгород, имея на головах (в издевку) колпаки из бересты, а по сторонам будут бежать новгородцы с криками и смехом, а палачи поднесут к берестяным колпакам горящую лучину, и огненный язык лизнет протопопу глаза, и запахнет паленым от бороды, и с овчинку покажется небо...

Если бы светила рассказали и о другом дне, когда жидовствующие в священнических ризах, с крестами на персях, будут возведены на костры, и опять сбежится народ смотреть, как наказывают еретиков, и блевотиной изгадят снег вокруг мученических костров...

...Расскажи Зхария об этих днях расплаты, думается - отлепился бы протопоп от трубы и ринулся что есть духу вниз, в свои безопасные натопленные горенки. Но то ли звезды ничего такого не открыли Зхарии, то ли Зхария утаил от протопоба, но так и просидел протопоп до холодного влажного рассвета, наострив уши на речи соблазнителя.

Правда, до расплаты протопопу предстояло получить то, за что придется платить. Он будет идти, пророчествовали звезды, и люди перед ним будут расступаться. Он выйдет с крестом для целования, и богатые и знатные будут тесниться ко кресту, толкая друг дружку, и наперебой устремляться лобызать его, протопопову, руку. Подарки потекут к нему, один другого щедрей и утешней. В царские палаты войдет он и даст благословение венценосным особам, восседающим на золоченых стульях. Так что, может статься, все те пламена, что за сим воспоследуют, не суть непомерно высокая расплата за исполнение давних заветных вождений, не робей, протопоп!

"Не робей, протопоп", - говорит он себе и не чувствует, не чувствует, как беспощадный огненный язык лижет ему очи. "Не робей", - говорит он себе, стоя перед именитым дяком с шелково расчесанной бородкой и пересказывая ему Зхариины кощунственные речи. "Не робей", - говорит, нет, шепчет он себе, пересказывая эти речи самому грозному великому князю, восседающему в потоках золота в Грановитой палате. "Не робей, протопоп", - хотя достаточно не только что великому князю, но дяку его шевельнуть пальцем, как будешь ты, протопоп, ввергнут в узилище и подвергнут мукам, но ты не робей, не робей.

- Не оробеешь? - спрашивает Зхария.

- Препояшусь мечом храбрости, - отвечает протопоп, - и не дрогну!

- А потом, - отвечает Зхария, - воцарится вера истинная, и умножится добро на земле, и уменьшится зло. Тебе же останутся богатые щедрые дары и любовь сильных людей, и будешь ты богат и знаменит, и молва будет шествовать перед тобой и стелить ковры тебе под ноги.

А об огненных казнях - опять ни слова, лукавый Зхария. И сидит протопоп, греет поясницу у теплой трубы. И только когда осыпались звезды и побелело полнеба, давая место солнцу завтрашнего дня, - только тогда передвигает протопоп

затекшие ноги, и встает, и идет вниз, в горницу, пить битень.

Софья Алексеевна и Варвара Алексеевна давно уже накрыли стол к утренней трапезе, и зятя Васюк да Ивашка дожидаются тества. И как они тоже жаждут известий, то спрашивают у него, что за гость посетил их дом, и так выходит, что им первым излагает протопоп учение Зхарии, первыми выводит их на дорогу преступления и гибели. То-то спасибо скажут ему дочери, хлопочущие днесь у стола, то-то вспомнят это утро Ивашка да Васюк, когда заплылают на ихних головах берестяные колпаки.

Но пока что до этого еще далеко, а потому пьют-едят беззаботно. Пока что на перекладинах приставной лесенки показываются бапки с медными пряжками и узорчатыми языками, а потом могучие икры в шелковых чулках - Зхария, любезный гость, тоже насыдился на крыше вдоволь и шествует завтракать. И опять поит и кормит его протопоп, а в протопоповой поварне кормятся Зхариины слуги, а в протопоповой конюшне - Зхариины кони, а вечером стелют Зхарии постель на пуховых перинах и подкладывают под злокозненную его голову подушки в шелковых наволоках, и так он живет-поживает под протопоповой кровлей, а там приходят в гавань его корабли, пройдя долгий путь через Гамбург, Любек и Ревель, через штормы и таможенные заграждения, - этим долгим древним путем плыл некогда еще Рюрик, родоначальник нынешних князей, со своей дружиной... Корабли привозят Зхариины товары, и поповны прячут в лари богатые подарки, и протопоп прячет свои, он расставляет на поставце новые диковины и полагает - сим закладывается основание богатству, о коем загадывал,

коего чаял с отроческих лет, тех лет, когда загадываешь обо всем бесшабашно-дерзко, не только о богатстве и о славе, но о короне даже, не думая, а как же все сие достигается, и уж конечно не помышляя о жестокой расплате, а лишь радуясь меду, бочка которого где-то тебя дожидается. Лишь сладость меда на твоём языке и в снах твоих, и множество звезд, над тобою сияющих в ту пору, хоть знают все, но скрывают от тебя свое знание - сам его добудешь когда-то страшной ценой. Да, придет час - и узнаешь, как жжется огонь и как сталь вонзается в тело, и почем что в жизни, - все узнаешь, дай срок.

Не сидеть бы тебе, протопоп Алексий, у трубы в ту осеннюю ночь. Не пересказывать бы тебе Зхариины речи ни своим зятям, ни своим духовным сыновьям и дщерям, что доверчиво приходят к тебе на исповедь. Не видеть бы тебе сильных людей - ни ученого дяка Курицына, ни обходительную молодую княгиню Елену, невестку великого князя, не стоять бы тебе пред великим князем, восседающим в Грановитой палате, а прежде, прежде всего - не встречаться бы тебе в твоей юдоли с роскошным иностранцем Зхарией, исполненным знания и прельщения. Тогда не было бы и тех огненных казней, когда сперва обуглили тебе лик твой и голову, как кусок полена, а потом всего тебя, вместе с наперстным крестом и парчовой ризой, надушенной гвоздичным маслом, обдирали в горстку пепла. Когда жестокие сердцем, видя муки твои, злодейски ликовали и поносили тебя, а мягкие сердцем впадали в дурноту от адского зрелища и блевотиной оскверняли снег вокруг твоего мученического костра.

**В** последние годы своей писательской деятельности Вера Федоровна Панова постоянно обращалась к истории Древней Руси. Ею был издан цикл повестей "Лики на заре"; вскоре после смерти писательницы были опубликованы "мозаики" другого цикла "Начинается век семнадцатый". Все они представляются удивительно удачными. Особенно хочется вспомнить повесть "Кто умирает?" - о смерти Василия III, отца Ивана Грозного. Исследователь древнерусских памятников не мог не заметить, что эта повесть основывалась на внимательнейшем прочтении и передаче на языке, доступном современному читателю, летописного рассказа о смерти Василия III. Даже заведомо вымышленные реплики так гармонировали с летописным текстом, что создавалось ощущение полного стилистического единства.

Рассказ "Славен город...", напротив, целиком основывается на былинах о Василии Булаеве и представляет собой опыт своеобразной травестиции былинного повествования.

В основе рассказа "Начало ереси" - церковно-политический памятник, "Просветитель" Иосифа Волоцкого, или, скорее, его пересказы в трудах историков XIX века.

Само по себе это, естественно, не может вызывать возражения: писатель - не историк, он не обязан опираться на близкие по времени к описываемым событиям источники, он не обязан даже избегать вымысла. Неизданные рассказы такого значительного писателя, как Вера Панова, безусловно, заслуживают публикации.

Как мы уже отметили, исторической основой рассказа служит "Просветитель" Иосифа Волоцкого - сборник "обличительных слов на еретиков", составленный не ранее 1502 - 1504 годов, времени разгрома новгородско-московской ереси, следовательно, через тридцать с лишним лет после того, как в Новгород в 1471 году приехал западнорусский (литовский) князь Михаил Александрович (у В. Пановой "Михаил Алексеевич"), в свите которого находился, по уверению Иосифа, таинственный "жи-

довин Схария" (у В. Пановой - Зхария). Причина, по которой Иосифу необходимо было во время расправ над еретиками в начале XVI века доказывать, что они были не просто еретиками, а отступниками от христианской веры, впадшими в "жидовство", объяснена им была с полной откровенностью. По каноническим правилам еретики, покаявшиеся в своих заблуждениях, не подлежали казни, но после

## Яков ЛУРЬЕ

ных казней, когда сперва обуглили тебе лик твой и голову, как кусок полена, а потом всего тебя обратили в горстку пепла!" - патетически восклицает она в заключительном рассказе. Но новгородского протопопа-еретика Алексея никто не сжигал - он

## О РАССКАЗАХ ВЕРЫ ПАНОВОЙ

собора, "увидев огонь горящ", еретики, к огорчению Иосифа, "все начаша каятися, не хотяще огнем сожжени быть или иноу горькою смертью умереть". Но канонические правила, указывал Иосиф, "писаны о еретичех, а не отступницех, иже Христа отвергшиися", - отступников же можно казнить, даже если они "по нужи" покаются. Подлинные взгляды еретиков, по всей видимости, были совсем не такими, как их изображал Иосиф Волоцкий, - еретики выступали против монастырей и монастырского землевладения, возможно также против некоторых видов икон.

Конечно, приняв версию Иосифа Волоцкого, В.Ф. Панова вовсе не воспринимала ее в той одиозной форме, которую придавал ей волоколамский инквизитор и которую охотно развивают некоторые исторические сочинители. Взгляд ее на "Зhariю", которому она дала профессию врача и положение "роскошного иностранца", достаточно гуманен; не видит она ничего ужасного и в восприятии его рассуждений (некой смеси иудаизма с католицизмом) новгородским попом Алексеем. Но дальнейшую судьбу Алексея писательница нарисовала в полном противоречии с источниками - даже и с "Просветителем". "Не встречаться бы тебе в твоей юдоли с роскошным иностранцем Зхарией, исполненным знания и прельщения. Тогда не было бы тех огнен-

умер естественной смертью еще до первого собора против еретиков в 1490 году и более чем за два десятка лет до второго собора 1504 года, когда нескольких еретиков действительно направили на костер. А еще ранее, вскоре после своей смерти, Алексей одержал весьма значительную моральную победу. Все церковники того времени, включая обличителей ереси, верили, что в 1492 году - по тогдашнему календарному счету семитысячном - мир кончится. Алексей же был убежден, что конец света в 7000 году не наступит: "Пройдут три лета, кончится седмая тысяща - заявлял он в 1489 году. - И мы, де, тогда будем надобны!"

Такой финал жизни еретика Алексея представляется не менее выразительным, чем найденный Верой Пановой. Но, конечно, выбор сюжетной развязки, даже в историческом повествовании, - незабываемое право художника.

**В** первый раз они праздновали Рождество в его старом родительском доме. Он пустовал уже десятки лет и постепенно приходил в упадок. Но тут они взялись за дело и устроили ремонт. К Рождеству дом был готов. Отопление и все остальное работало.

В этом доме, где им было так уютно, сохранилась вся старая утварь: двухэтажные кровати, открытые очаги с духовками, полки для посуды, угловой шкаф с Библиями и облатками для причастия, домашняя аптечка с пузырьками для лекарств - все было, как прежде. Но в округе уже все было по-другому, не так, как раньше. Старых усадеб осталось немного, да и в тех было совсем мало людей. Если как следует оглядеться, можно было насчитать совсем немного освещенных окон. Да и они сами не очень-то способствовали празднеству света. Они зажгли всего лишь несколько свечей и огонь в очаге.

Рождественский вечер медленно склонялся к полуночи. Они поужинали, не очень обильно, скорее благоговейно. Потом расстелили на полу взятую из саней меховую полость, уселись перед очагом и беседовали, в отсветах огня. Рассказывал вообще-то он, тот, кому этот дом был родным. Рассказывал о людях, что жили там прежде, о событиях, про которые ему доводилось слышать, и о доме, где они находились. Многого приходит на память в рождественский вечер, если доведется праздновать его дома.

В комнату проникал шум ветра, порывы которого ударяли в северное окно. Рождественская ночь вовсе не была тихой и мирной, но снег все же падал. Скоро-скоро окна будут со всех сторон обрамлены снегом и станут напоминать глаза путника в зимнем лесу.

- Если не жалеть времени, - сказал он, - и обойти всю округу, да поглядеть на старинные крестьянские дома Севера, то увидишь, что окон на север там совсем мало. И ничего удивительного в этом нет. Север - страна гмы и холода. Да и смерти тоже. Зачем же глядеть в ту сторону.

Старики, строившие бревенчатые дома в селении, прекрасно знали, откуда в дом должен проникать свет. С юга и с востока - вот откуда. Тогда дом уже рано утром озаряется светом. А днем туда вливается тепло. Двух окон на восточной стене и двух на южной для крестьянского дома было вполне достаточно. На северной можно было обойтись и одним окном. И часто дом строился так, что спальные боковуши располагались у северной стены. Тогда, находясь наверху и занимаясь чем-то в большой горнице, можно было не смотреть на север. Да так было и теплее.

"Север - страна скверной погоды", - так думает большинство людей и поныне. Риксдагу Финляндии, ожидающему столько других законов, следовало бы учредить закон, благодаря которому сторона Света - Север - утмняется. Тогда здесь, в нашей стране было бы намного уютней.

Хотя кто его знает!

Вообще-то проблема окна на север - какая-то особенная; объяснить ее хорошенько я не могу, хотя довольно много думал об этом.

Восток - велик и значителен, как говорят старики. Оттуда приходят лето, зима и Судный день. На юге обитает тепло. А когда солнце оказывается на западе, близок конец рабочего дня, что тоже хорошо. Но с севером все - совершенно иначе.

В окно на север все видится совершенно по-иному, чем в другие окна. Это звучит как само собой разумеющееся. Но на севере видится все так, как, быть может, и не хотелось бы...

В ночь на двадцатое января 1858 года кто-то проснулся в этом доме и увидел, что в северной стороне неба спустилась алая роза. Вскоре она превратилась в ад цветущих роз. Сомнений не было: где-то возник югар. И пожар немалый. Неясно было только, что именно горело.

Может, это церковь!

- Нет, - сказал Петрус Москаль, - горит город Ньюкарлебу. - Я видел, как горят города.

Петрус Москаль служил царю в войну 1808 - 09 годов, ю был ранен и остался после этого в селении. Составившись, он все равно продолжал считаться авторитетом в вопросах войны и крупных пожаров.

Петрус Москаль оказался совершенно прав. Днем

## Ларс ХУЛЬДЕН

стали появляться первые живые свидетели пожара, уничтожившего город.

Но для северной стороны неба более обычно, когда она пылает зеленым пламенем. Это случается каждую осень и каждую зиму. Дети спрашивали, что это так пылает, словно зеленый огонь несется по небу, словно зеленый смерч. Может, вам уже довелось узнать, что это волны Северного моря отражаются в небе? А далеко ли до Северного моря? Да, очень далеко!

Северное сияние напоминает войну. Думаю, что тот, кто писал о небесных рыцарях с копьями, должно быть, видел северное сияние и принял его за знамение, если не за саму войну.

Однажды, когда я был маленьким, я увидел, как разверзлось небо и ангелы, совсем не белые, а голубые, на-

# ОКНО НА СЕВЕР

## ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

В конце 1989 года нам (двум ленинградским литераторам) посчастливилось побывать в родных краях Ларса Хульдена, куда он привез нас из города Ньюкарлебу. И мы увидели прекрасный неброский эстерботтенский ландшафт и усадьбу Хульдена с разными службами и с жилым домом, где сохранилась, вместе со старинной утварью, детские колыбельки и спальные боковушки, душа его отца и других предков. Видели мы и "окно на север".

Видели мы это окно в одно из любимых Ларсом времен года, поздней осенью. Жаль только, что после полудня, а не в вечерних или ночных освещенностях.

Но все равно - это было прекрасно и незабываемо.

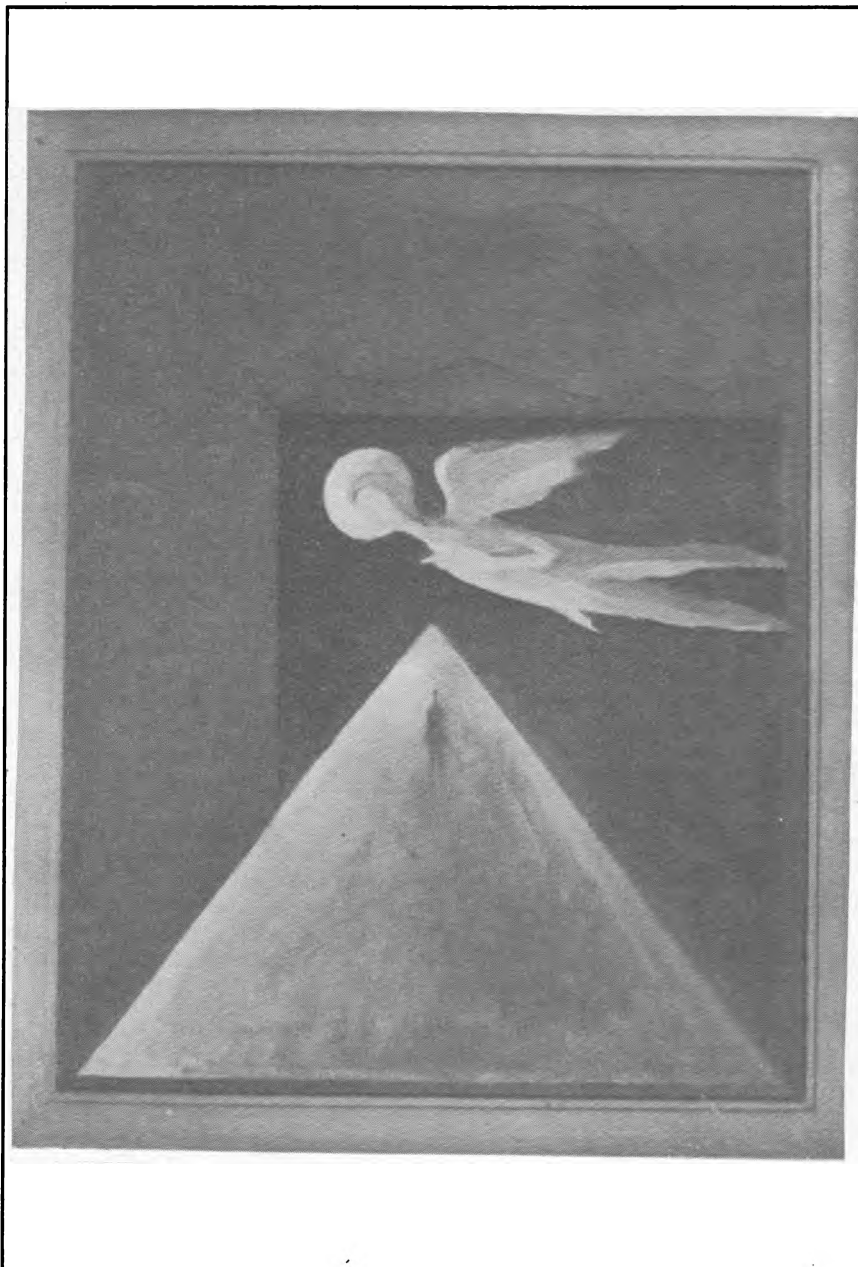
*Людмила Брауде*

Ларс Хульден (род. в 1926 г.) - один из крупнейших поэтов современной Финляндии, пишущих на шведском языке, сын известного поэта Эверта Хульдена (1895-1967). Автор многочисленных поэтических сборников, таких как "Убить волжского" (1958), "Вещная птица" (1964), "Господин Волк" (1969), "Пастушья песня" (1973), "Стихотворения на случай" (1979), "И старое, дорогое..." (1981), "Ежегодник общества Нулы Искарингата" 1987; сборника новелл "Дом" (1979) и т. д.

чали спускаться вниз по дороге из серпантина. Они подошли прямо ко мне и запели. И все вокруг было освещено их голубым сиянием. Я решил, что это - Суд Божий, и очень испугался. Но это был сон, и я почти сразу же проснулся. И если когда-нибудь начнется Суд Божий, я знаю: он произойдет точно так, как я видел во сне.

Ангелы явились с востока или скорее с северо-востока. Я мог бы увидеть их из окна на север. Но, как уже говорилось, это был сон.

То, что север - могущественная сторона света, видно как нельзя лучше хотя бы из того, что гроза затихает, стоит ей оказаться на севере. Все грозы в здешних местах приходят с юга, а иной раз, по весне, с запада. Но исчезают они на севере. После нескольких молний и ударов грома грозовая туча, которая часами медлила, не поднимаясь ввысь, мгновенно рассеивается.



"Ты, мой ангел".

Можно встать, подойти к окну и взглянуть на тучи, проплывающие мимо. Они - черные, густые, но совершенно умолкшие.

Когда я был маленьким, я залезал на скамью, где стоял чугунок с кашей, и видел оттуда на лесной опушке трех великанов с глазами, устремленными в мою сторону. Они никогда не подходили ближе. Но разве можно было надеяться, что они не подойдут? Никогда нельзя надеяться на такое!

И я никогда не понимал, как это дедушка может так уверенно сидеть на этой скамье и скрести ложкой дно чугунка. Видно, вовсе каши объелся. Он, как и многие

другие, считал, что самая вкусная каша - та, что пристала к дну чугунка.

Однажды прилетел к нам воробушек, уселся на подоконник и заглянул в окно. Тут дедушка страшно забеспокоился. И я узнал, что когда мелкие пташки залетают в окна, кто-то в доме должен умереть.

Когда-то из северного окна открывался вид на две дороги. Одной из них уже больше нет, потому что пятьдесят лет тому назад ее перегородили разными пристройками. И дорога вынуждена была переместиться дальше к востоку. Однако на протяжении более ста лет из окна можно было следить за теми, кто приближался с севера. Большею частью это были старухи, бродившие меж усадеб. И еще цыгане.

Цыгане почти всегда приходили с севера. Почему они всегда приходили оттуда? Пожалуй, этот вопрос нуждается в тщательном изучении.

Вторая дорога, которая идет вдоль дома, тоже очень старая, значительно старше дома, который и сам-то выстроен в двадцатых годах XIX века. Она тянется еще на несколько километров к соседнему селению на западе. Вернее, тянулась, так как теперь от нее осталось совсем немного. Из окна на север можно было прекрасно разглядеть всех, кто шел или проезжал мимо по этой дороге. Прежде их было гораздо больше, чем теперь.

Все невесты, которых привозили в эту усадьбу, появлялись на этой дороге. И все покойники из усадьбы свержали по ней свой последний путь.

Говорят, что их можно видеть из окна, по крайней мере, некоторых, если выглянуть оттуда в полночь, в одну из главных ночей года - в рождественскую или новогоднюю ночь, в ночь на страстной неделе между великой пятницей и великим четвергом. И видеть не только тех, кто когда-либо прежде странствовал по этой дороге, но и тех, кто когда-либо свершит там свое странствие; но покажутся они тому, у кого глаза ясновидца.

- А у тебя глаза ясновидца?

- Если бы знать. Но обрести зрение ясновидца можно в любую минуту.

Рождественский огонь уже почти догорел. В глубине очага осталось лишь несколько тлеющих угольков. Пора было задвинуть заслонку и отправляться на покой.

- Интересно, что творится за северным окном в рождественскую ночь? - спросил он и подошел к оконному стеклу.

- Нет, - возразила она, - уже полночь. - Не хочу знать ни о бывших, ни о будущих невестах и ни о каких мертвецах. Поднимемся лучше наверх.

Немного можно было увидеть из окна на север. Тускло светил рождественский фонарик, поставленный кем-то посреди селения среди заснеженных сугробов. А в остальном - хоть глаз выколи. Ветер стонал в высоких елях, кольцом окружавших дом. Все домочадцы быстро вернулись назад, в тепло.

Из кровати у самых дверей, где они лежали, едва можно было различить северное окно. Порой словно ледяными пальцами стучали в стекло снежинки, гонимые ветром.

Некоторое время он лежал, прислушиваясь и вглядываясь в темноту. "Окно на север - самое важное в этом доме", - подумал он перед тем, как заснуть.



Столетие со дня рождения Эдит Седергран отметили в 1992 году многие страны. Организуются симпозиумы, читаются лекции, ставятся спектакли по пьесам о ее жизни, издаются сборники ее стихов в новых переводах. То, что имя Эдит Седергран зазвучало в мировой литературе, возможно, не удивило бы ее. Она прекрасно сознавала свою роль в обновлении поэзии на шведском языке, который избрала довольно рано, хотя считала, что лучше всего знает

лась с поэзией Центральной Европы. Русская поэзия того времени была знакома ей еще в годы школьной учебы.

Благодаря состоянию, которое приобрел дедушка Эдит, владелец литейного заводика, семья Седергран сравнительно безбедно существовала до 1917 года. После Октябрьской революции мать и дочь потеряли все. Они жили потом в крайней бедности в Райволе, где был их постоянный дом с тех самых пор, как родилась Эдит /не считая времени, когда она училась в школе/. Книга "Стихотворения"

## О ПОЭЗИИ ЭДИТ СЕДЕРГРАН

немецкой.

Мир ее видений охватывал небо и землю, людей, богов и героев. Она верила, что слово - носитель и выразитель сокровеннейших мыслей - спасет мир. Главными источниками вдохновения, сменявшими один другой, были для нее Ницше и Рудольф Штейнер, а под конец Евангелие и Псалтырь.

Ее жизненный путь был коротким. Она родилась 4 апреля 1892 года в Санкт-Петербурге и умерла в день летнего равноденствия 24 июня 1923 года в местечке Райвола - Рошино примерно в 40 километрах от города, которое до 1940 года находилось на финской территории. Ее мать, Хелена Хольмрус, родилась в том же городе, что и Эдит. Родители матери были выходцами из юго-западной Финляндии. Ее отец, Матс Седергран, родился в Нэрсесе, в финляндской провинции Эстерботтен. Он умер от туберкулеза осенью 1907 года, а на следующий год Эдит заболела той же болезнью, которая в конце концов одолела ее.

В доме говорили по-шведски. Но училась она в немецкой школе /Петершуле/. И у ее матери, любившей литературу и весьма начитанной, основной язык в школе был немецкий. Стихи Эдит начала писать в школе, и писала их, в основном, на немецком языке. Но внезапно осенью 1908 года она принялась писать по-шведски. Исследователи ее творчества пытались выяснить причину, побудившую ее к этому, но до конца понять этого не смогли. Уже в это время она твердо решает всецело посвятить себя поэзии. Писать стихи на немецком, когда в доме говорят по-шведски, а живешь в русской столице, нелегко, необходимо было найти другое решение.

Заболев, она в 1909 - 10 годах лечилась в санатории города Нуммела, расположенного к северу от Хельсинки, позднее, в 1911 - 14 годах продолжила в Швейцарии /в Давосе/, потом снова - в Финляндии. В Швейцарии она ближе познакоми-

/1916/, которой дебютировала Эдит, встретила, в целом, положительную оценку критики. Лишь некоторые эссеисты потешались над тем, что в стихах ее не доставало рифмы и размеров /вернее, их не было совсем/, а тем самым, согласно мнению этих эссеистов, не было и причин для создания такого рода произведений. Следующий сборник "Сентябрьская лира" /1918/ был отмечен печатью пробудившегося к новой жизни нищестанства, которое заставило призадуматься кое-кого из ценителей ее стихов. Мнения критиков разделились также и в отношении последующих сборников стихов "Алтарь роз" /1919/, "Тень грядущего" /1920/ и сборника афоризмов "Пестрые наблюдения". Из оставшихся после ее смерти стихотворений был составлен сборник "Страна, которой нет" /1925/. Писательница и критик Хагар Ольссон, близкий друг Эдит Седергран, способствовала пониманию ее творчества. Среди прочих книг она издала сборник "Письма Эдит" /1956, новое издание 1990/. Самое полное издание произведений Эдит Седергран представлено в сборнике "Стихотворения и афоризмы" /Шведское литературное общество, Т 563, III; 1991/. Полная биография Эдит написана Гуннаром Тидестремом /1949, вновь издана в 1992/.

Выбор стихотворений, издаваемых впервые в переводах, осуществленных Людмилой Брауде, Ниной Беляковой и Сергеем Степановым, дает содержательную картину богатой различными оттенками лирики Эдит Седергран. Можно надеяться, что сборник этот найдет читателей как в России, так и в той стране, которая была родиной ее отца.

Лиризм ее сборника представит еще ярче и потому, что стихи на шведском языке даются и в переводах на русский и финский.

Ларс ХУЛЬДЕН



### ЗВЕЗДЫ

*Когда наступает ночь,  
Я стою на крыльце и слушаю.  
Звезды толпятся в саду,  
А я стою в темноте.  
Слышишь, вот со звоном упала звезда,  
Не ходи босиком,  
Сад мой полон осколков.*

### СЕВЕРНАЯ ВЕСНА

*Все воздушные замки мои  
растаяли, как снег.  
Все мечты утекли, как вода,  
из всего, что любила, остались  
лишь синее небо да блеклые звезды!  
Ветер тихо листвою шевелит.  
Пустота отдыхает. Воды тихи.  
Старому дубу пригрезилась  
Белая тучка. Ее он целует в мечтах.*

### ДЕРЕВО ЧУЖБИНЫ

*Красны плоды на дереве чужбины,  
на дереве чужбины серьги - пурпур,  
оно стоит на солнышке и шепчет:  
приди, приди, о золотая дочь, скиталица,  
кудесница лесов осенних -  
я расскажу тебе, откуда счастье и куда уходит.  
Коснись моей коры - тебе на пальцы  
падет вся роскошь осени.  
Приди, приди, о нежная, счастливая, багряная,  
я тайную тебе тропу открою...  
Приди, приди, о бледная, о жаждущая набухания крови -  
ты далеко уйдешь, туда, где никого не знаешь,  
там ждут тебя восточные глаза,  
молчаливые, спокойные, печальные...  
Ты будешь счастлива там далеко от дома.*

### VIERGE MODERNE

*Да, я не женщина, я - нечто,  
да, я - дитя, я - паж, я - дерзкое решенье,  
Я - луч хохочущий оранжевого солнца,  
Я - сеть для жадных рыб,  
я - поднятый бокал за честь всех женщин,  
я - шаг по направлению к гибели случайной,  
прыжок к свободе и самосознанию.  
Я - шепот крови в голове мужчины,  
я - дрожь души, томленье и боренье плоти,  
я - вывеска у входа в новый рай,  
я - ледяной поток, колени захлестнувший,  
воды с огнем согласное единство.*

**Я** листаю журнал "Огонек". Теперь он считается рупором перестройки, но этот номер вышел в декабре 1948 года. А на следующий год, в феврале, он с московским почтовым штампом пришел в маленькую квартиру моей бабушки на площади Меритуллинтори, где раньше был молочный магазин.

Бабушка никогда не выписывала "Огонек" и даже не слышала о его существовании. У нее не было знакомых в Москве. Нигде не отыскать отметки о том, кто отправил журнал. Лиловый картонный конверт сохранился до сих пор. На нем перечеркнут адрес на Пунавуоренкату, по которому бабушка никогда не жила. Обложка "Огонька" выглядела. На рисунке, выполненном в пастели, молодой светловолосый мужчина держит высоко над головой ве-

## ДВА ДЯДИ

РАССКАЗ

нок, сплетенный из цветов и пшеницы. Из колосков венка восходит солнце. Под ним видна часть глобуса с границами Советского Союза. Над солнцем, купаясь в его лучах, сияют в вечном блеске серп, молот и красная звезда.

Венок вплетены красные ленты со словами "пролетарская революция". Мужчина смотрит с обложки прямо в глаза читателю. Он непреклонен, прекрасен и серьезен. Он перед всеми открыт. Он отважен, чист и героичен. На нем желтоватая рубашка без воротника и синий комбинезон с верхом типа жилетки, к нагрудной части которого прикреплена красная звезда и два неизвестных мне ордена. Картина называется просто "Рабочий". Ее автор - художник Грюнштейн.

Этот юноша, как полагала бабушка, был дядя Пааво, ее сын.

На фронте были не только погибшие и вернувшиеся. Была еще третья группа, гораздо менее многочисленная, чем первые две: пропавшие без вести. Понятно, что и из них большинство погибли, но обстоятельства, время и место их гибели остались неизвестны. Все они исчезли, в полном смысле этого слова, от них не осталось даже тел.

Дядя Пааво, сводный брат моей мамы, пропал без вести в сражении при Ханко, в боях за группу островов Хесте. Отец дяди Пааво был русский, капитан царской армии Алексей Алексеевич. Мама и тетя помнили, как он приходил повидаться со своим сыном, родившимся в Тампере в 1918 году. Своего собственного отца они не помнили совсем: он скоропостижно скончался, когда им было всего один и три года.

Алексей Алексеевич приходил часто. На нем была серая шинель с удивительно красивой, ярко-красной подкладкой. Она ослепительно вспыхивала, когда он брал сына на руки. Потом эти посещения прекратились, так как Алексею Алексеевичу пришлось уехать. Дядя Пааво тогда едва умел ходить. Алексей Алексеевич увез бы всю семью, но бабушка хотела остаться в Финляндии. Оставшись, она поступила очень разумно, так как Алексея Алексеевича расстреляли по его возвращении в Петроград. Дядя Пааво кончил семь классов Выборгского лицея. У дяди был необыкновенно красивый голос, и бабушка считала, что ему следует учиться музыке. Однако его самого привлекала совершенно другая карьера. Дядя Пааво выбрал профессию своего отца, выучившись сначала на авиамеханика, а затем окончив школу полиции в Хельсинки, он тоже стал кадровым военным.

В 1941 году дядя Пааво служил в Первом батальоне береговой обороны, который перевели с острова Елге на полуостров Ханко в середине июля, где он сразу попал под жестокий огонь. Дядя Пааво был тем знаменитым прапорщиком Сеетривуо, о котором рассказывает Нило Лаппалайнен в своей книге "Полуостров Ханко во второй мировой войне": "На Хясте под командованием прапорщика Сеетривуо были унтер-офицер и 15 ря-

## Лена КРООН

довых, а также минометный взвод". Финны несли в этих боях огромные потери. Они были слабо вооружены и значительно уступали русским по численности. Бойцы не успели установить минометы на боевые позиции до начала атаки.

Рассказывая о безнадежной обороне финнов, Лаппалайнен пишет: "На островах погибли, пропали без вести и утонули один офицер, 11 унтер-офицеров и 51 рядовой. Среди утонувших был и прапорщик Сеетривуо".

Бабушка так и не поверила в это. У нее были разные, правда, весьма хрупкие основания считать, что ее сын жив. Рассказывали, что, когда дядя Пааво пропал, на Ханко слушали передачу по русскому радио. В ней было сказано, что во время захвата Ханко был взят в плен молодой офицер, единственный офицер на острове.

Позже, во время войны, мой отец ехал однажды в купе с двумя офицерами, которые говорили о захвате Ханко. Выяснилось, что они были из тех немногих, которые выбрались живыми с Хесте в июле 1941 года. "Что случилось с прапорщиком Сеетривуо?" - спросил отец. "Он поплыл последним, после своих солдат", - отвечали они. Прапорщик вошел в воду,

не сняв рюкзака, сказал, что курева он ни за что не оставит. После этого они его больше не видели. Известие о том, что дядя Пааво пропал без вести, которое прислали его молодой вдове, было весьма лаконично: лишь дата, когда он выбыл из состава роты.

Товарищ Орлов, член Контрольной комиссии, сидел в Торни\*, высоко над крышами хельсинкских домов, и контролировал. Через него бабушка пыталась выяснить судьбу дяди Пааво, но безуспешно. Остальные перестали ждать дядю, в том числе и его молодая жена. Пока из почтовой щели не упал «Огонек» в лиловом конверте, на котором стоял штамп Moscow 31.1.1949. «Это Пааво», - сказала бабушка. Мама и тетя отнюдь не были в этом уверены. Дядя Пааво не был таким светлым, как молодой человек на портрете. Не мог он и так молодо выглядеть в конце 40-х годов, если был жив. Ни одна из статей в «Огоньке» не имела отношения к портрету на обложке. Не было ясно также, где и когда Н.Грюнштейн нарисовал этот портрет и была ли у него живая модель.

Это был единственный номер «Огонька», который моя бабушка получила за свою жизнь. Никаких других известий о дяде Пааво, ни реальных, ни воображаемых, ей не довелось больше получить. В 1961 году, через двадцать лет после исчезновения, дядю объявили умершим. Бабушка умерла в 1970-х годах, в очень преклонном возрасте. Имена их обоих вырезаны на гранитной плите, стоящей на церковном кладбище в Кустави. Это очень далеко от тех мест, где родилась бабушка, тех крутых берегов Ладоги, где она ребенком смотрела на сверкающие монастырские купола. А дядя Пааво и вообще никогда не был в том приходе, где теперь могила с его именем. И костей его не найти под тяжелой плитой.

В Москве есть гостиница под названием Ленинградская. Однажды в ее нижнем вестибюле ждала автобуса в аэропорт группа финских туристов. Они отдыхали в Крыму и теперь возвращались в Финляндию. В вестибюль - не с улицы, а откуда-то из внутренних помещений - вошел высокий мужчина, пожилой, но с военной выправкой. На нем была какая-то форменная одежда и на голове фуражка. Этот мужчина уверенно направился к даме из туристической группы, опустился перед ней на колени, взял ее руку и с почтением поцеловал. Был ли он пьян? - Нисколько, это дама полностью исключала. Он произнес длинную фразу по-немецки. Женщина не расслышала или не поняла его слов, но она утверждала, что он говорил по-немецки. Затем мужчина поднялся, вежливо поклонился даме и ее спутникам и удалился. По его одежде женщина решила, что он был из служащих гостиницы, но едва ли это так. В Москве всегда любили носить форму, мундиры и фуражки. Через двадцать семь лет после официального заявления о смерти дяди Пааво эта дама пришла к моей маме и сказала: «Мы с Вашим братом были знакомы

\*Торни (башня) - ресторан и гостиница, где находилась Контрольная комиссия.

на Раййоки. Кажется, я встретила его в прошлом году в Москве.» Дяде было бы теперь семьдесят лет. Можно ли с уверенностью признать в семидесятилетнем двадцатилетнего? И с какой стати дядя заговорил бы с финской женщиной по-немецки в московской гостинице? Может быть, потому, что в 1938 году на Раййоки он обычно читал этой женщине стихи и афоризмы на немецком.

Теперь у меня, узнавшей эту историю, два дяди Пааво. Первый - пожилой господин. Он живет в Москве. Я вижу, как он шагает - все еще по-военному стройный - по широкому проспекту оживленного, бурлящего города. Я вижу его вдаль, неясно и вспоминая строки:

*Низкий дом без меня ссутулится,  
Стерфй лес мой давнл издох.  
На московских изогнутых улицах  
Умереть, знать, судил мне бог.*

Почему мне чудится этот бродяжий дух? - В самом деле: форменная одежда и фуражка говорят совсем не о бродяжничестве - напротив, об устоявшемся ритме жизни. - Потому, наверно, что неясность истории дяди Пааво придает его образу печальную фатальность.

Причины, приведшие его в этот город, остались тайной. Приехал ли он отсюда, на землю своих предков, по собственной воле? Почему он молчал все эти годы, хотел ли забыть всех женщин из своего прошлого: молодую жену, мать, сестер? - Не знаю. До сих пор он нравится женщинам. Дама, помнившая его по Раййоки, нашла его здоровым и бодрым. Он, несмотря на преклонный возраст, все еще ходит на службу, какова бы она ни была. Он всегда встает рано, чтобы успеть спокойно выпить чаю. У него свой стиль и осанка. Он внушает уважение.

Другой дядя Пааво - навеки юноша. Его останки погружены в нерушимую тишину глубоководных могил. Холодные слабосоленые воды залива придавили источенные кости, когда-то позволявшие ему жить и бороться на земле. Высоко над ними кружат в погожие летние дни дорогие прогулочные яхты, сменившие тяжелые, неуклюжие канонерские лодки времен войны. Иногда море затягивается тонкой пленкой инея и затем толстым льдом. Порой солнце прорезает лучами польню почти до самого дна. От рюкзака, в котором он хранил свой драгоценный табак, едва ли что осталось, кроме заржавевшей застежки. Над дядей моим - пять саженей глубь, каждая кость его как коралл... У него есть возможность и жизни, и смерти. Я не успеваю и глазом моргнуть, как его образ превращается из покойника в живого человека, из юноши в старика. Я и не знаю, куда поместить его: в Москву или царство Аида, жизнь его и смерть остались загадкой. Но и в своем двойном образе он по-прежнему дядя Пааво. Я помню его, так никогда и не встретив.

## Вислава ШИМБОРСКАЯ

### СКЕЛЕТ ДИНОЗАВРА

*Возлюбленные Братья,  
прошу взглянуть на пример неверных пропорций:  
перед вами скелет динозавра -*

*Дорогие Друзья,  
слева тянется хвост в бесконечность,  
справа шея - в бесконечность с обратным знаком -*

*Уважаемые Товарищи,  
посередине лапы, увязшие в иле  
под тяжестью тела -*

*Достопочтенные Граждане,  
природа не знает ошибок, но любит шутить,  
обратите внимание на эту смешную головку -*

*Дамы и Господа,  
такая головка была не способна предвидеть,  
и потому она - череп погибшей рептилии*

*Великопелное Собрание,  
слишком маленький мозг, слишком большой аппетит,  
много глупой сонливости, мало мудрой  
предусмотрительности -*

*Высокие Гости,  
у нас в этом смысле положение куда лучше:  
жизнь прекрасна, и земля - наша -*

*Уполномоченные Делегаты,  
над мыслящим тростником звездное небо,  
в мыслящем тростнике нравственный закон -*

*Мудрейшая Комиссия,  
удалось лишь однажды  
и, видимо, только под этим единственным солнцем -*

*Правительствующий Совет,  
какие ловкие руки,  
как красноречивы уста,  
что за голова на плечах -*

*Верховная Инстанция,  
какое чувство ответственности вместо хвоста -*

## Алексей МАШЕВСКИЙ

### ХРОНИКА

*Редко-редко теперь на экране мелькнет...  
Щек свисающих складки, и брови вразлет,  
Кумачового бравого съезда главарь  
С пневматической челюстью, вставленной в рот,  
На трибуну возложенный, как на алтарь,  
Агнец, ленинец верный, податель щедрот.  
Мы бросаем дела все - идем смотреть,  
Как там шамкает, чавкает целая треть  
Нашей жизни, оплывшие звезды бренчат,  
И руками сидящие в зале сучат.  
Дорогой, крепкостенный, уютный дурдом!...  
Словно в щелочку мы подсмотрели тайком:  
Нагота-то какая, уродец какой! -  
Дремлет старый, обрюзгший, напившийся Ной...  
Тише, тише! Давайте пройдем стороной.  
Эти годы - как грубый тяжелый ковчег,  
Герметичный отсек, водолазный костюм.  
Только голубь слетает на блестящий снег  
Арапатской горы, только времени шум...  
Ты качайся, душа, в колыбели морской,  
В ненадежной скорлупке своей замирай,  
Об одном умоляю, останься живой  
И не слушай пространства истошного вой,  
Переваливающегося через край!*



**В** горной пещере, неподалеку от библейского города Сигора, заживо гниет в нечеловеческом безвременье великий изгнанник Лот.

Жить ему остается, вероятно, минут пять или - самое большее - день-два; разумнее было бы прекратить конфликт с Господом, начавшийся в тот момент, когда Лот покинул Содом. Но Лот не ренегат, как Иов. Он не помирится в финале со своим противником. Он уже и не праведник. Пустившись в изгнание, он перестал быть таковым. Лот напивал на мораль, сорвал с себя маску и в ярости отрицания взорвал свою биографию. Он устремился в изгнание с интенсивностью, даже не снившейся содомлянам.

Лот - человек полярных состояний. Из крайне лояльного он становится крайне нелояльным, из патер фамилиас - монстром своей фамилии, из бюргера - крайним анархистом, из патриота - человеком, не имеющим отечества, из сверхправедника - архигрешником.

Возникает подозрение: не заключается ли в этих его действиях желание привлечь к себе внимание Милосердия? Понравиться ему. Заставить броситься его спасать любой ценой. Столь большой грешник реабилитирован Милосердием! - разве это не лучшая реклама для Божьей инстанции? От Томаса Манна мы знаем, что Страшный Суд может заинтересоваться умеренным грешником лишь постольку поскольку... а кто из нас - мелких, средних и больших грешников - не питал тайную надежду на упомянутую инстанцию?

Нет, не верится! Милосердие, надежда - все это для Лота абстрактные понятия, как, скажем, галактика, юриспруденция и число „пи“ - для динозавра, как родина, мораль, язык и обычаи - для головастика, как миссия, ответственность, страх перед Богом и страх перед Адом - для египетских пирамид.

Для отрицателя Лота все это не имеет значения. Фома Аквинский еще не родился. (Не говоря уж о Томасе Манне.)

В конце концов Лот снова мертвецки пьян, как и во время кошмарных ночей после разрушения Содома, когда он на одном и том же проклятом ложе обрюхатил обеих своих дочерей. В результате чего появились род моавитян и род аммонитян. Иногда, уважаемые дамы и господа, меня тревожит мрачное подозрение, что все мы - поздние европейцы - далекие потомки этих двух родов, созданных пьяным Лотом и его дебильными дочерьми через день или два после разрушения Содома и затем разбросанных по Земле...

Однако именно Лот - Лот, а не Адам, Моисей или кто-нибудь из бесчисленных библейских столетних старцев, этих маляков долголетия - стал родоначальником рода изгнанников, которых не следует мерить общей человеческой меркой и путать с кем бы то ни было.

Размышляя над историей Лота, я просто выхожу из себя. Столько противоречий!

## ИЗГНАНИЕ. БЕЖЕНСТВО. ЭМИГРАЦИЯ

Я читал ее буква в букву, с надеждой отыскать хоть какие-нибудь ориентиры Божьей идеи относительно этого бедолаги. Но нет! Ничего. Ничегошеньки. Никакие теологические комментарии не помогают. Их квинтэссенция всегда одна и та же: линия Бога - прямая линия. Это линейное мышление

# ЛОТ В ИЗГНАНИИ

в высшей степени раздражает. (Как раздражает квадратное или треугольное мышление.) Попытка внедрить в хаотичный, трагический, богатый мир человеческой эмоциональности холодные формулы Божьей геометрии - противна.

Содом, Гоморра, публичное насилие и позор, гром и треск, огонь и пепел, супруга, превращенная в соляной столб, изгнанничество, алкоголь, кровосмешение, смена идентичности и отречение - для чего все это - спрашиваю я себя, - когда отсутствует назидание, мораль, как, скажем, в добрых старых баснях Лафонтена? Почему все запутано? Почему не сказано, по какой причине Лот бежит из города Сигора в горы и становится отшельником? Ни где и как он умер, ни на каком году жизни? Что, кроме эксцессов, он совершил в своем изгнаничестве?.. О многих менее значительных личностях (как, например, его дядя Авраам) даются точные сведения, исчерпывающая генеалогия, полная информация. И в самые маразматические поступки несносных столетних старцев из Ветхого завета вложен смысл и дан ключ к этому смыслу. Только Лот - сверху донизу знак, видимый лишь сквозь мутную пелену. И совсем не ясно, что же он в сущности означает.

Господи!

Ведь эта история не имеет финала! Что Ты хочешь сказать мне кошмарной своей семантикой? Почему в Содоме Лот - праведник, а вне его - большой грешник, нежели Каин? И почему Ты при данном положении твердишь, что спас его? Не милосерднее ли было бы дать ему погибнуть вместе с содомлянами?

Но или вопрос поставлен неверно, или, после того как я воспринял некоторые взгляды Лота, я стал противен Милосердию. Оно отказывается со мной общаться. Посему я вынужден дать случившемуся свою интерпретацию.

Итак, Господь делится с Авраамом своим намерением разрушить Содом: "И сказал

## Виктор ПАШКОВ

Господь: "Вопль содомский и гоморрский, велик он, и грех, тяжел он весьма; сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю".

Тут Авраам вспоминает, что в Содоме живет его племянник Лот, и начинается типичный еврейский торг с Богом: "Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? (и с праведником будет то же, что с нечестивым?) - спрашивает Авраам. - Если в Содоме найдется хотя бы пятьдесят праведников, не разрушай его!" Господь отвечает: "Если Я найду в Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие".

С пятидесяти число праведников сокращается до сорока пяти, сорока, тридцати, десяти! Чтобы стало ясно, что единственный праведник в Содоме - Лот.

(Но, согласно Божьей арифметике, если в грешном городе проживает только один праведник Лот - один Кьерке-

гор, один Ницше, - город этот может спокойно быть разрушен.)

И Господь посылает в Содом своих ангелов-агентов.

Почему Авраам и Господь так убеждены, что Лот праведник? Господин Лот живет двойной жизнью! Днем он обычный бизнесмен (стада, слуги, шатры), лицо с весьма высоким общественным положением, хай сосайети\*, а ночью - тайный праведник. (Будь он явным праведником, общество нокаутировало бы его задолго до прибытия ангелов-агентов). Это чистая мимикрия. Лот старается не быть распознанным как Лот. "Вот! - подчеркивает он свое высокое положение. - Мой стада многочисленны, моя продукция высокого качества, жена моя светская дама, дочери мои учатся в Оксфорде, дядя мой Авраам напрямую связывается с самим Господом (вы в него не верите, но моя репутация доказывает его существование), я приношу достаточно дивидендов экономике, культуре и искусству Содома. Могу же я позволить себе не участвовать в ваших декадентских развлечениях. Ноли ме тангере! Как-никак, цивис содомикус сум\*\*".

И пока в Содоме бушует агрессивная баварщина, Лот ведет себя как элитарный веймарский республиканец. Не будучи при этом в состоянии осознать, что в сущности - он страдающий клаустрофобией мутант Микки-Мауса в сонном уединении охватившей все государство ночной поллюции. Вот вам и праведник!

Лот - изоляционист. Не больше и не меньше. На этом этапе он стремится любой ценой себя изолировать, отмежеваться от событий и участников этих событий.

Для доморощенных бунтарей, превращающихся в революционеров уже через пятнадцать минут после того, как где-нибудь запахнет революцией, изоляционист являет-

\*High society (англ.) - высшее общество.

\*\*Noli me tangere, civis sodomicus sum (лат.) - не тронь меня, я содомский гражданин.

ся предателем. Те, кто раньше наживался на содомии и аплодировал грязным прикосновениям, которыми обменивались главные жрецы с золотыми тельцами, теперь снова склонны к коллективному трансу. Для них каждый, кто не кричит: "СМЕРТЬ!" и "ДОЛОЙ!" - предатель. Большой взрыв приближается, и содомляне очень хорошо это знают. Они не могут терпеть оппозицию Лота, который снова вне их живой цепи. Они хотят, чтобы был суд, чтобы катились головы с плеч жрецов, будто это может остановить или отсрочить Большой взрыв. Они не хотят ликвидации содомии как идеологии и государственной политики, потому что должны будут сменить ее на что-то другое. И это другое может их отбросить назад, потребовать коллективных жертв.

Лот молчит. Лот стоит в стороне. Лот страдает, переживая за Содом. Он не питает никаких иллюзий ни в отношении Большого взрыва, ни в отношении своих сограждан. В отличие от них он готов на жертвы, хотя знает, что жертвы в данном случае бессмысленны.

Может быть, аналогия, проводимая мною между Содомом и некоторыми европейскими странами, на которые сейчас низвергаются сера и пепел, вызывает досаду, но такова моя интерпретация. Аналогии напрашиваются сами собой.

Господь начал разрушать Содом задолго до того утра, когда Лот и его семейство отправились в изгнание в Сигор. Большой взрыв - это финальный аккорд. Задолго до него Иегова наказал Содом тупыми и коррумпированными правителями, развратной системой правления, все сильнее и сильнее вырождающимся народом, не имеющим понятия о чести, нравственности и высоких идеалах, народом, предающим и убивающим своих праведников. (Будь это иначе, разве остался бы Лот в единственном числе?) Будь это не так, содомляне не изнасиловали бы Лота перед дверью его собственного дома и содомия как идеология не распространилась бы на все государство и весь народ.

Господь сказал, что вопли содомлян достигли его ушей. Но какие вопли?

Вопль отчаяния? Нет! Вопль мщения!

Вопль омерзения? Да что вы! Вопль похоти!

Вопль угнетаемого? Тысячу и тысячу раз нет! Это был вопль пьяного раба, который распевает в корчме разбойничью песню, звенит цепями в знак своей мужицкой силы и страшно вращает глазами, чтобы благодаря такой манере поведения войти в народный эпос. Сodomляне приучены содомией к тому, что свое омерзение, отчаяние и протест они не могут открыто выкрикнуть в Содоме. Такое можно только пропихать. В лучшем случае - выразить посредством политического анекдота как формы социальной отдушны.

Позднее, когда одна олигархия решит укоротить другую олигархию на голову, будет поднят вопль до небес. Но и на этот раз он будет плохо артикулирован и потому не дойдет до Божьих ушей.

В этой атмосфере бесчестия и бессмыслия Лот действительно изоляционист. Или, если хотите, праведник. Наиболее точно его ситуацию выражает понятие "внутренний эмигрант".

Существуют внутренние эмигранты, которые навсегда остаются таковыми. Есть тотальные, и есть частичные внутренние эмигранты. Факт, что один человек изолирует себя в клозете в три раза дольше и чаще, чем этого требует его ежедневная необходимость, означает, что он внутренний эмигрант. Однако это отнюдь не возвышает его до уровня, скажем, Готфрида Бенна, который

до конца остался в своем Содоме, набухнув противоречиями и будучи распят одновременно на трех крестах: внутренней эмиграции, политической эмиграции и изгнания. Сьорен Кьеркегор также умер в клаустрофобной Дании. Ницше также. Некоторые из великих - Томас Манн, Лион Фейхтвангер, Бертольд Брехт, Артур Рембо, Генри Миллер предпочли - кто уйти в изгнание, кто (на глазах у всего мира) вертеть сложные фигуры на трапеции политической эмиграции.

Я думаю, что внутренний эмигрант, не эволюционирующий в изгнанника, - бунтарь по интуиции, а не бунтарь по рождению. Лот природный бунтарь. Он профессионал. Это отличает его от уже упомянутых сформировавшихся за пятнадцать минут фальсификаторов, для которых их бунтарство рождается ситуацией.

Коллективный бунт всегда есть нечто подозрительное. Независимо от конечного результата. Во всяком случае коллективные бунты 1917 и 1933 годов служат тому доказательством. Почему в моем сознании не присутствует бунт евреев против фараона, но осталась личность Моисея, который тащил их за собой через моря и пустыни на протяжении полувека? Но это отдельный вопрос.

Можно еще многое сказать не в пользу Лота. Пока он продолжает сидеть в Содоме в качестве внутреннего эмигранта, он никакой не Лот. Он плакатный праведник и похож на красивую швейцарскую корову, учтиво глядящую на нас с обертки шоколада "Милка". Он продолжает занимать гордую, алитарную и сентиментальную позу.

Лот еще не разорвал пуговину, связывающую его с Содомом и содомлянами! Ненависть и отвращение - эти альфа и омега для изгнанника - еще не коснулись его сознания и души. У него все еще не потемнело в глазах от бесконечных поворотов головы туда и сюда в поисках себе подобных. "Я нуждаюсь в существах, которые были бы на меня похожи!" - кричит бедняга Лотреамон в сумасшедшем доме. Лот не хочет осознать, что Господь АПРИОРИ решил, что в Содоме не должно быть второго Лота; что эта шахматная партия будет играть не до ничьей или пата, а до того момента, пока на доске не останется только один король. Что он должен принять весь ужас этого факта. Нет! Лот почти склонен - после того как над ним публично учинили насилие - натянуть портки и, застегиваясь, сделать заявление в прессе, что все, только что содеянное, не что иное как акт свободы. "Я ненавижу место, где я родился, - с горечью заявляет изгнанник Генри Миллер, которого только мировая война заставила вернуться в Америку. - И буду ненавидеть его до конца жизни. Самым ранним порывом было отречься. Отречься от отцовского дома, от города, который я ненавижу, от моей страны и ее жителей, с которыми меня ничего не связывает". И дальше: "Чужие народы могут быть жестокими и варварскими, но что за дьяволы те, что выглядят, как ты, говорят, как ты, носят ту же одежду, едят ту же пищу и травят тебя, как собаки! Разве это не самые злейшие враги, каких только может иметь человек? Для чужих, может, и найдется извинение, но для подобных людей я никакого извинения найти не могу!" "Я умру там, куда меня забросит судьба, - пишет матери смертельно больной Артур Рембо. - Я навсегда останусь там (в Абиссинии), потому что во Франции кроме Вас у меня нет друзей, нет знакомых, вообще нет никого".

Лот не покидает Содом, хотя находится в тотальном противоречии со средой, обществом и идеологией. Я вынужден признать, что Лот - патриот. И, черт побери,

это так! Именно в этом состоит трагедия этого человека, понесшего урон от родины, Бога и сограждан!

Если бы Лот совершил харакири на пороге своего дома, если бы в знак протеста за пять минут до Большого взрыва истребил свою семью, если бы, подобно Сократу, принял яд - он и остался бы в истории человечества примером великого патриотизма. Вместо "Набуко" Верди написал бы оперу "Лот".

Но Лот в три четверти такта порвал с неаполитанским патриотизмом и избрал своей судьбой изгнанничество. Из анонимного патриота Лот перерос в Лота-грешника, Лота, не имеющего отечества, Лота - личность креативную, заслуживающую, чтобы над ней поразмыслили.

Лот выбирает изгнание, а не политическую эмиграцию, к которой его подталкивают. Он не просит у властей Сигора политического убежища, не ссылается на свой статус праведника, не оговаривается, чтобы показать, куда и каким образом было направлено насилие. И это вопреки тому, что любая страна - от Египта до земли Ханаанской, - не затронутая содомией, сочла бы для себя за честь предоставить политическое убежище диссиденту и праведнику такого ранга.

Отвечает ли это его характеру? Что содержит в себе понятие "политическое убежище"?

В 1978 году я жил в бывшей ГДР, в городе Росток. Был музыкантом и, как любой музыкант из "братской" страны, - социалистическим гастарбайтером. Работал в местном театре.

В то время государство это приняло в свои широкие объятия большую группу эмигрантов из Чили. Создало им фантастические условия, выделило лучшее жилье, предоставило сцену для собственного театра. Чилийская эмиграция организовала драматическую труппу. Были поставлены революционные и авангардные пьесы. Для них всегда обеспечивался полный зрительный зал. Эмигранты к каждому обращались со словом: "товарищ...", все были для чилийцев товарищами, все - хорошими. Велики были их страдания, но и зарплаты - тоже. По вечерам, когда не было спектаклей, они тихонько наигрывали на гитарах в клубе при театре, изучали революционную романтику и пели песни, в которых речь шла о демократии, свободе, отчизне и о том, что мы "венсеремос".

Все мы знали, что чилийские политические эмигранты покинули страну, в которой свирепствовал фашистский террор. Видели, как они принимают услуги другой страны, во всех отношениях тоталитарной, лживой, демагогической, несостоятельной, строящей стены с фотокамерами, которые стреляют и убивают, если ты пытаешься эту стену перескочить.

И такая именно страна постелила десять матрасов для чилийской политической эмиграции, превращая ее в принцессу на горошине. То же самое сделала для чилийцев и Болгария, которая была ничуть не любезнее к своим собственным инакомыслящим гражданам, чем ГДР, и не менее тоталитарной.

Это заставляет меня думать, что политический эмигрант - это человек, обязанный не только принимать законы и политическую систему страны, обеспечивающей ему политическое убежище, но и закрывать глаза на все существующие там формы террора. Получивший политическое убежище не располагает самим собой. Он автоматически становится подвластен новому социуму и предназначен для употребления. Он - га-

стролер, гость на сцене нового театра и обязан играть отведенную ему роль.

Я не выступаю против политической эмиграции! Я прекрасно понимаю, что, когда определенная система пускает в ход против своих оппонентов смертоносную машину, когда тебя ставят в угол под дуло винтовки, которая вот-вот выстрелит, вполне по-человечески эмигрировать и продолжить борьбу из другого угла. Политическая эмиграция была, должна быть и всегда будет, пока человечество не засучит рукава и не построит в конце концов вавилонскую башню. Я только хочу подчеркнуть разницу между изгнанником и политическим эмигрантом. Как я ее вижу из своего угла.

Первый из них - затворник и индивидуалист, как внутри, так и за пределами своей страны.

Второй живет преимущественно в коллективе.

Первый не приемлет как старое, так и новое общество, в котором находится.

Второй часто вынужден целовать руку, подающую ему хлеб.

Первый свою идею рождает мучительно, в противоречиях. Затем бросает все силы на то, чтобы ее осуществить, не будучи при этом уверен в конечном результате.

Второй работает на идеи, рожденные до него, принаравливается к ним и всеми силами старается их осуществить, фанатично веря в хеппи энд.

Первый - уже не патриот.

Второй - патриот.

Первый выворачивается наизнанку, чтобы откорректировать Божью идею.

Второй выворачивает наизнанку мир, чтобы могли восторжествовать его идеи.

Первый никогда не вернется на землю Ханаанскую.

Второй страстно желает вернуться на вновь обретенную родину.

В политического эмигранта часто стреляют и - убивают.

Изгнанник - это человек, у которого расстреляна душа.

Как на типичный пример изгнанника я бы указал на Солженицина, который категорически отказывается вернуться в Россию и в то же время не скупится на упреки и нагадки в адрес нового общества, отказывается от его услуг, не желает становиться для него парадной лошадью, живет затворником в своей псевдорусской пещере в Атлантиде, со своими идеями и сознанием своей миссии; его не волнует, принимает мир его послания или нет.

Но вернемся к Лоту - мы покинули его в тот момент, когда он находился в своем доме с семьей и Ангелами.

Как единоличная фирма и наивысшая инстанция Господь уже принял окончательное решение о карательной экспедиции. Он уже распорядился судьбами Лота и содомлян - возврата нет. До Большого взрыва остаются считанные часы.

Между прочим, что стоило ему поступить подобно американскому политику и задать своему избирателю Лоту демагогический вопрос: "Что, по-твоему, следует изменить в этом Содоме? У тебя есть идея?" Лот только этого и ждет! Лот не тот человек, у которого отсутствуют идеи. Он - праведник и демократ - готов забыть о причинном ему зле, готов пойти на новые жертвы. Помните, что он говорит окружившей его дом разъяренной толпе, орущей и требующей предать ей Ангелов. Вот его слова: "Братья мои, не делайте зла; у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше вы выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего".

И такого человека лишится Содом!

Человека, у которого чувство чести, справедливости, собственного достоинства, гордости и долга развито так болезненно, что граничит с гипертрофией.

Человечество должно было бы рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом, когда его покидают такие личности. Оно должно было бы выть от горя, что не оценило все его качества и не использовало их в полезных делах. Нет же, человечество испытывает тайное облегчение, когда праведник его покидает или - еще страшнее! - когда он отрывается, чувствует омерзение, приходит в ярость, когда поднимается во весь свой рост против земли и неба и демонстрирует свою способность на грандиозные и исчерпывающие себя грехи, не идущие ни в какое



Лот.

сравнение с умеренными пакостями, которые мы накапливаем всю нашу жизнь, чтобы в конце ее возвести вавилонскую башню из экскрементов, стократно превышающую наш духовный рост. "Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: "Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города". И как он медлил, то мужи те (Ангелы), по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его и оставили его вне города".

Лот колеблется. Лот не хочет милостей, над Лотом снова понадобилось упражнять насилие. Лот персона нон грата. Гражданство, гражданские права, права человека и тому подобное - все эти фикции - у него отняты. Эскорт из Ангелов препровождает его напрямик до границы Содома. Во внутреннем кармане его только что купленного костюма лежит уан уэй тикет\*.

Конец внутренней эмиграции. Конец позору.

Этот колеблющийся Лот мне до боли знаком. Лот - человек, до последней минуты не желающий порвать тонкую ниточку, связывавшую его с Содомом и содомлянами, ибо он знает, что для него это означает конец! Конец - даже если Содом не будет разрушен, возврата нет.

\*One way ticket (англ.) - билет в одну сторону.

Лот не боится коллективной смерти, она для него не страшна. Он доказал, что не боится и индивидуальной - там, среди беснующейся толпы.

Лот боится не смерти, а жизни! Того, что предстоит ему с этой минуты, вакуума и изоляции в этом вакууме. Бремена бытия, которое обрушится на его плечи с удвоенной силой в тот самый момент, когда он выйдет из морта-Содома и двинется под этим яростным солнцем и синим небом, подобно некоему зомби.

В конце концов он страшится миссии, которую должен будет взять на себя и выполнить, - миссия человека, раз и навсегда умершего как праведник и воскресшего для проклятой второй жизни, жизни изгнанника.

Один из Ангелов сказал: "Спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть". "Нет, Владыка!" - в первый и последний раз исторгается из груди Лота душераздирающий вопль.

- НЕТ!

В этом "Нет!", вырвавшемся из самой глубины души, содержится гораздо больше протеста и муки, чем во всей филиппике оппортуниста Иова, пытавшегося своим ворчанием в эмигрантской яме убедить Господа вернуть ему богатство, женщин и здоровье.

Это "НЕТ" стоит больше, чем "Архипелаг Гулаг" или точнее - столько же. Оно, как последнее дыхание героя Бекетта, хватившее ему, чтобы прошептать в оглушительной тишине бессмыслия и безнадежности: "Нет! нет... нет..."

Но что дальше?

"Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь... и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и (все) произрастания земли. Жена Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом".

Ах этот взгляд назад!

Политический эмигрант, оглядывающийся назад, ничем не рискует. Глядя назад, он фактически устремляет взгляд вперед и видит будущее намного яснее настоящего.

Космополит вообще не может оглянуться назад: где бы он ни находился, он сам центр круга.

Экономический эмигрант должен смотреть назад. Необходимость сравнивать: "вот те, что позади" и "вот Я, что впереди", постоянно заставляет его бежать вперед, повернув при этом голову назад. Он находится в состоянии перманентного состязания. Он надеется, что настанет день, когда он вернется, как магараджа на слоне, станет филантропом, учредит денежный фонд для научных целей, издаст мемуары, где будет рассказываться, как маленький чистильщик сапог из Бронкса достиг положения члена клуба миллионеров в Нью-Йорке.

Но изгнанник, оглядывающийся назад, превращается в соляной столб, в застывший водопад слез, в оцепеневшую падаль отчаяния, в неподвижный, ненужный обелиск, на котором не запечатлено ни одной победы.

Что бы произошло, если бы не жена Лота, а сам Лот оглянулся назад?

Тогда он не был бы Лотом, а позорным беглецом, застигнутым проклятием Содома. Самоубийцей. В Библии не было бы истории Лота. Господь скривил бы рот в гримасе наивысшего презрения к собственному опростовешшему ему творению. И написал бы в своей тетради еще одну с легкостью одержанную над человеком победу.

Но я думаю, что если бы даже это и

случилось, то где-нибудь, когда-нибудь, на другой географической широте, в Западной или Восточной Европе, на Антильских островах или в Судане должен был бы появиться другой Лот и другой Содом; должны были бы иметь место другие искоренение человека и другой Большой взрыв. Мир и мировая история нуждаются в Лоте. Так называемый Прогресс должен время от времени останавливаться перед подобным океаном бездонной муки, чтобы погрузить в него хобот, насосать энергии и снова увистать вперед, в неизвестном направлении со скоростью в триста километров в час, подобно некоему раскормленному "мерседесу".

Изгнанник не должен смотреть назад, но он и вперед смотреть не может! Там ничего нет, в смысле конкретного направления. Что это впереди, что могло бы произвести на него впечатление, в городе Сигоре? Кельнский собор или Эйфелева башня? Или улицы Сигора, мощенные американской брусчаткой, о которой говорят, будто она выпечена из демократии? Александрийская библиотека, где он почерпнул бы мудрость и знания?

Для изгнанника "вперед" не существует, никакие новые впечатления ему не нужны. Он попросту некое ведро, переполненное прошлой жизнью, функция которого заключается в том, чтобы перелить содержимое в дыру, отверстие новой жизни.

Лот преспокойно может выколлот себе глаза, подобно Эдипу (тем более что он напрямую связан с этим своим будущим родственником). Тогда он будет смотреть только внутрь.

Изгнаннику не нужны и уши! Кого и что ему слушать? Телевизионные новости или Густава Малера в Берси? Какие новые звуки смогут ласкать его слух? Какую еще новую информацию он примет и обработает?

А для чего ему нос?

Чтобы, согласно формулировке изгнанника Беккета, унюхать отвратительный запах своей собственной разлагающейся плоти?

Он преспокойно может быть откровенным чудовищем: без глаз, ушей и носа, но с разверстым ртом, куда поступают пища и алкоголь.

И - с половым членом! (Прошу прощения.) В котором одновременно заключены его проклятие и его величие.

Все символы креативности, борьба, торжество, противопоставление, грехопадение, вызов и амнистия пред инстанциями Милосердия (раз им это необходимо!) - в этом пульсирующим, экзальтированным и скандальном члене.

Он зреет и зреет с мистической мощью, назло физиологии и морали, назло семи смертным грехам, законам Моисея, красному октябрю и коричневой чуме, нежным революциям, умеренным революциям, бархатным революциям и полуреволюциям; назло тоталитарным системам и обществам потребления, ангелам, инквизиторам, чиновникам и демагогам - назло всей проклятой банде!

И когда момент настанет и условия созреют, когда человеческая история выдвинет свои нечеловеческие требования, этот член произведет свой Большой взрыв, он закружит, и миллиарды его агрессивных сперматозоидов рассеются глубоко в небе, оплодотворят некую одинокую, готовую к зачатию звезду.

Тогда, предполагаю, родится нечто принципиально новое и нежное, нечто невиданное, несслышанное, музыкальное, полностью отличающееся от нас и очень близкое к нам, как случилось иной раз на нашей земле... редко, но случилось. "И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала

страшая младшей: "Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли; итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восставим от отца нашего племени". И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим (в ту ночь); а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: "Вот, я спала вчера с отцом моим; напоим вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племени". И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего; и родила старшая сына, и нарекла ему имя: Моав (говоря: "Он от отца моего"). Он отец Моавитян донныне.

И младшая тоже родила сына, и нарекла ему имя Бен-Амми (говоря: „Он сын рода моего"). Он отец Аммонитян донныне".

Это не ложь! Лот действительно боялся остаться в Сигоре. Одним своим присутствием он превратил бы маленький мещанский городок во второй Содом. Лот уже приходит сюда не как праведник, а как Лот! Для грешника, охваченного сознанием своей правоты, нет места ни в одном городе мира. В пещеру, в пещеру! - На территорию зверя и отшельника, раненого медведя, создания, исполненного непонятных для него же самого намерений. Первобытного и возвышенного, начала и конца и в конце - бесконечности.

Истинно! Творение рождается только в условиях изгнанничества. Пещера - вот место для идей.

Это правда! Лот не почувствовал ни когда вопли дочери, ни когда они вышли.

Идеи - эти печальные дочери изгнанника - входят в глубокий мрак его слепоты, подплавивают и ласкают... Они безобразны - с точки зрения эстетики, - но он не видит их безобразия, потому что он выколол себе глаза.

Голоса их хрипны и надтреснуты, потому что они пили то же крепкое вино, но он этого не слышит, потому что разодрал ногтями свои ушные перепонки.

От них дурно пахнет, потому что они потеют, как черные рабыни, в своем стремлении зачать во что бы то ни стало, но он не чувствует этого; в своей греховной страсти они откусили ему нос.

У Лота только разверстый от жажды рот и напряженный, готовый на все член, который торчит вовне, вне его собственного желания или нежелания, торчит патетично в совсем неподходящей для патетики атмосфере.

Вокруг свет и мрак - одновременно! - звуки и безмолвие, боль и наслаждение, смысл и бессмыслица, отрицание и восторг, север и юг.

Вокруг изгнанничество, лишенное воспоминаний, бесконечная усталость и вольтова дуга высокого напряжения. Стены, о которых эпидермис сообщает, что они полуразрушены. Чужими выстрелами? Собственными зубами? Какое это имеет значение! Пещера - эхо детских качелей, и Лот качается, держась обеими руками за перекладины (если у него все еще есть руки!). Все выше и выше - головокружительно! Вот-вот перевернется через голову! И так до тех пор, пока качели не превратятся в катапульту и не выстрелят им в самое сердце Бога.

И в наступившем микроинфаркте Господь, охваченный незнакомой болью, тихо простонет:

- Нет, Лот! Нет... Сжался! Если бы я не разрушил Содом, это сделал бы ты!

## Ремон КЕНО

### МИР НАД ЗЕМЛЕЙ

*Забвень-крот кружит впотмах там нашей памяти тюрьма в подземной тьме находит крот еще один забытый ход*

*за ним червяк во тьме густой и два и три и пять и сто и полчища червей снуют верша подземный тайный труд*

*огромный мир в земле запрятан его граница горизонт мы рады бы проникнуть взглядом в его глубины - только он надежно скрыт в сетях блужданий сквозь лабиринт воспоминаний*

\*\*\*

*Кто посмеет убить быка у священника у дурака у эдила у постового взяты топорик найдется сила*

*Кто бы в жертву быка принес ни мясник, ни герой-колосс ни колбасник и ни полковник - миг торжественный и опасный! -*

*Кто же даст за быка ответ уголовник анахорет дьяволица или бесстыдник ведь потом, поди, не отмывься*

*Ни священник и ни босяк ни мясник да и ни дурак ни полковник и ни колбасник но глянь нашелся виновник*

*И пойдут они друг за другом чтобы в прудик полный лягушек вещь какую-то бросить с испугом что быку отрубила уши*

### ГЛУХИ НОЧИ ТУМАНЫ ТЕНИ

*Глухи ночи туманы тени Глухо дерево камень глух Глухо молот бьет при паденьи Глухо филин терзает мой слух*

*Слепы ночи и слепы камни Слепы травы и колос слеп Слепы черви в земле под нами Слепы зерна родящие хлеб*

*Немы ночи и немо горе Немы просьбы в решительный миг Немы воздух ветер и море Немы озеро лес и крик*

*Искалечено все что суще звери камни гора овраг книги полные всякой чуши и прилежный читатель-дурак*

*Но кто видит? Кто слышит?*

*Кто скажет?*

**П**оедешь со мной фотографом?

Все началось в Театральном гриле в Стокгольме январским вечером 1982 года. Мне было двадцать три года. Несколько лет назад я приехала в Стокгольм из Арьеплога, и вот в оживленной беседе передо мной открывались новые возможности. Моя любовь к путешествиям получала смысл. Напротив меня сидел Андерс, который только что вернулся в Швецию из Афганистана, побывав там среди афганских партизан. Скоро он снова туда собирался. По сравнению с осенью Андерс сильно отошел и зарос бородой, которую нарочно отпустил, чтобы легче было проникнуть в Афганистан; лицо, обожженное солнцем, шелушилось, на нем блестели яркие живые глаза. Он с огромным наслаждением курил сигарету, шурясь от дыма, который струйкой поднимался вверх вдоль правой щеки, постепенно рассеиваясь в воздухе.

- Поеду!

- А ты могла бы научиться снимать кинокамерой?

- Конечно!

Сказано - значит решено! Как видно, мне не суждено измениться, хотя рассудок советовал мне сказать "нет". Родители, конечно, будут против этой поездки. Занятия (я была студенткой и изучала социологию) придется отложить до лучших времен, а теперь моим главным делом будет фотография, которой я раньше занималась между прочим. Своим отъездом я подведу друзей из Шведского союза за общество без наркотиков, в работе которого я принимала активное участие с тех пор, как в семнадцать лет впервые задумалась о том, какой вред они творят среди населения внутренних областей Норрботтена. Мне предложили серьезное дело и одновременно приключение: серьезное, раз речь шла об Афганистане - мирной азиатской стране, которая на рубеже восьмидесятых годов была оккупирована Советским Союзом. Однако меня манило и приключение: проверить, на что я способна! Кроме того, я уже тогда понимала, что с человеком, который позвал меня с собой, нас должно соединить нечто большее, чем совместное путешествие по Афганистану.

Мы вышли на улицу. В Стокгольме было холодно, и на тротуарах лежал снег. Шагая по утоптаным дорожкам, мы продолжали обсуждать начатый разговор.

Семь месяцев спустя мы были в Пакистане, рассчитывая дожидаться подходящего случая, чтобы с помощью партизан пересечь территорию Афганистана. Потянулось время ожидания в неприятной гостинице Кветты. Я читала. Потом заболела дизентерией. Я уже раскаивалась в своем решении. Мне страшно было отправляться в полную неизвестность, где можно погибнуть или стать калеккой. Я уже подумывала, не лучше ли будет ограничиться поездкой вдоль афганской границы. Мы стали встречаться с афганцами. Казалось, конца не будет этим бесконечным посиделкам. В прокуренной комнате стоял густой дым американских сигарет "Ред энд уайт"; наши афганские посетители непрерывно курили их, коротая время в ожидании момента, когда они с партией закупленного оружия смогут отправиться через линию фронта.

Однажды к нам наведались двое пакистанцев. Это были полицейские из службы безопасности Пакистана. Сначала они на несколько дней обосновались в холле гостиницы, записывали имена наших посетителей, которые, впрочем, никогда не соответствовали истинным, и выспрашивали персонал о

наших намерениях. Нас это совсем не устраивало. Дело в том, что журналистам было запрещено проникать на территорию, на которой обитали приграничные племена. Нескольким нашим зарубежным коллегам уже помешало это сделать и выдворили их домой. Однажды полицейские пришли к нам в номер. Они были очень вежливы и, начав с оличностей, кончили тем, что попросили нас купить бутылку джина. Сами они как мусульмане не могли этого сделать: "Вы знаете ведь, что у нас действуют чрезвычайные законы. Сейчас здесь не то, что при Али Бхутто".

На другой день мы пошли выполнить их просьбу, и нам как туристам из христианской страны с соблюдением всех установ-



ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ И ФОТОГРАФИИ

## В ТЕНИ ВОЙНЫ

### Мария СЕДЕРБЕРГ

ленных правил продали положенную норму. Вечером явились наши полицейские. Один из них так напился, что не мог стоять на ногах; в полночь они распрощались и ушли. С тех пор нас никто не тревожил.<...>

Появились свидетельства очевидцев о варварских расправах русских над гражданским населением. 13 сентября 1982 года были заживо сожжены в подземном водоводе 105 жителей деревни Падхваб-Хана в провинции Логар. Попав в окружение, в тоннеле спрятались 92 взрослых жителя и 13 детей.

Обнаружив их, советские солдаты налили в тоннель бензин и подожгли. Через несколько минут раздался взрыв, от которого сотряслась вся округа. В отличие от большинства других беззаконий, этот случай получил широкую огласку, причем он был подкреплен хорошо документированными свидетельствами. Он был решительно осужден Постоянным народным трибуналом на его сессии, состоявшейся в Париже несколько позднее в том же году.

До тех пор война в Афганистане была забытой войной. В Европе пренебрежительно отнеслись к освободительной борьбе афганского народа. За неделю до отъезда в Пакистан я слушала выступление Пьера Шори в Стокгольмском университете. Выступая с предельно резкой речью перед социал-демократами, он делал доклад о международном положении. В конце 45-минутного доклада,



19 августа 1991 года в семь часов утра Мария Седерберг позвонила мне из Стокгольма. "У вас военный переворот. Горбачев арестован". Моя первая реакция - ничего себе шведы шутят - мгновенно сменилась какой-то тупой оторопью: "Ничего, приезжай. У нас свой Президент. Разберемся".

Повесил трубку, я уставился в телевизор, откуда посмертные маски дикторов взывали к народу, послушал их родные, трофейные голоса и вдруг чуть не взвыл: "Боже! А если она и вправду придет!".

Мария приехала на следующий день. С мужем, двухлетней дочкой и фотовыставкой "Неизвестный Афганистан". На фотографиях - жертвы войны: раненые, беженцы, сироты.

Все дни путча она без передышки снимала. Ни растерянности, ни страха - жесткий профи с повадкой "зеленых беретов" и полной сумкой "Никонов".

24 августа, в день взятия Смального, в "Галерее 99", на Лиговском проспекте, 99 открылась выставка Марии

да, посвященного вмешательству США в дела центральноамериканских государств, он вспомнил об Афганистане. Как заклинание, которое показывало, что Афганистан не забыт, прозвучало осуждение агрессии, и Пьер Шори обрисовал вызванное ею усиление напряженности в мире.



Едва вставал вопрос о поддержке Афганистану, левые коммунисты Швеции начинали выкручиваться и финтить. Осуждая военное вторжение, они, тем не менее, не желали поддерживать каких-то моджахедов, чьи действия не укладывались в схему борьбы с империализмом: афганцы выбрали себе неподходящего противника. К тому же они - реакционеры, и женщины у них бесправны.

Если социалисты отказались горячо поддержать Афганистан, то, казалось бы, буржуазные силы должны были активно выступить в поддержку независимости. Конечно же, агрессия вызвала у них глубокое возмущение. Но активные протесты? Нет уж, увольте! Зато видя, что демонстраций в

женщин и детей. Каждое новое знакомство означало для меня новый шаг к цели. Мне помогало то, что меня как женщину пускали на "другую половину". Афганские женщины, укрытые за чадрой и толстыми стенами, на самом деле оказались совсем не теми забитыми созданиями, какими я их воображала. В доме, в семье, среди родни у них была власть. Все, что связано с внешним миром - добывание средств к существованию, необходимые покупки - относилось к обязанностям мужа.

В то же время я убедилась, что в некоторых домах женщинам живется плохо. Они трудятся, как рабыни, и терпят побои, но я все-таки убеждена, что такое скорее является исключением. Многолюдная семья, в ко-

расценила бы как преимущество ту сестринскую заботу и защищенность, которой пользуется афганка в своей семье.

После восьми с лишним лет оккупации Советский Союз, наконец, вывел свои войска из Афганистана. Многие приписывают эту перемену Горбачеву и его политике реформ и видят в этом динамическом лидере великого миротворца восьмидесятих годов. Действительно, именно Горбачев принял решение о выводе войск, но он несет огромную ответственность за те военные действия, которые продолжались при нем в течение четырех лет. Большинство афганцев, которых вы встретите в этой книге, пострадали именно в тот период. Для меня афганцы являются бесспорными побе-

защиту Афганистана никто не устраивает, представители буржуазных партий направили свою критику против активистов времен Вьетнамской войны. Наблюдение за ходом войны обеспечивали независимые журналисты. Наши крупные редакции новостей не отправили на место событий хотя бы репортерскую группу. Должно было пройти много лет, прежде чем войной в Афганистане всерьез заинтересовались средства массовой информации.

В Афганистан мы попали осенью 1982 года. А затем, хотя мы этого и не планировали первоначально, за первой поездкой в Афганистан последовало еще несколько. Я вернулась в Пакистан спустя четыре года, после того как закончила курс

*Седерберг "Неизвестный Афганистан". Свободный фотограф Мария Седерберг была в Афганистане в восьмидесяти годы несколько раз. Интересовалась она не самими военными действиями, фотографии боев и оружия делала другие. Мария работала в тени войны, среди ее жертв. Она фотографировала тех, кто вынужден был жить во время войны, называемой на Западе "забытой". Но для тех, кто живет в тени войны, нет никаких "забытых войн", для этих жертв ужасы и последствия войны всегда рядом, даже после того, как чужие солдаты отозваны домой. По словам Марии Седерберг, все ее встречи и разговоры с беженцами и моджахедами были полезным материалом для интервью и познакомили ее с культурой Афганистана. С помощью магнитофона и статей в Швеции делались репортажи из Афганистана для радио и телевидения - и таким образом финансировались ее поездки. Она путешествовала за свой счет и никогда не являлась представителем какой-либо организации или газеты.*

Дмитрий Шнейерсон



ФОТО М. СЕДЕРБЕРГ



ФОТО М. СЕДЕРБЕРГ

социологии, а потом побывала там еще два раза - в 1987 и 1988 годах.

Афганистан меня приворожил, и лагеря беженцев в Пакистане вызвали у меня особый интерес. Этот народ, ставший беженцем и решивший вернуть себе свою землю, внушал уважение. Благодаря этим людям перевернулся мой взгляд на карту мира, так что Пешавар или Бараки-Барак в Афганистане стали в моих глазах ее центром. Головокружительный переворот всех представлений.

У большинства корреспондентов в центре внимания и в фокусе объектива была война, ее орудия и разрушения. Первый план у них занимал партизан с калашниковым. Я тоже снимала такие кадры, но меня больше привлекало другое: житейские ситуации, лица

торой женщины интенсивно общаются между собой, служит здесь сдерживающим началом: мужа, который издевается над своей женой, сразу берут на заметку, остальные женщины сообщают об этом своим мужьям или выражают открытый протест. Шведская женщина, которая в одиночестве подвергается насилию в своем доме, скорее всего

дителями в этой войне, несмотря на то что трудно говорить о победе, когда афганцы имеют миллион убитых, сотни тысяч покаленных и более пяти миллионов беженцев, вынужденных покинуть свой дом.

Непоколебимая убежденность, которая отличала афганцев в их борьбе за свободу, имеет глубокие корни. Может быть, разгадка

заключается в тех призывах, с которыми афганские женщины на протяжении веков обращались к своим мужчинам. В одном ландае - коротком стихе пуштунской народной поэзии, - женщина говорит:

- Пускай мои кудри потеряют своего господина, но я не помешаю ему, моему возлюбленному, сражаться за родину.

\*\*\*

Шамшато - совсем новый лагерь для беженцев, и нашему шоферу приходится немало потрудиться, чтобы его найти. Он останавливается, спрашивает, как туда проехать, поворачивает назад, отыскивая среди пустынной местности недавно проложенную дорогу. Мы находимся в нескольких милях к югу от Пешавара, и, несмотря на завывание мотора, пылищу и езду по холмистой местности, нас охватывает ощущение покоя. В ушах у нас еще стоит звон от шума и грохота городских улиц.

Пешавар раньше принадлежал Индии, потом отошел к Пакистану, но исторически и географически это - афганский город, который под влиянием военных событий по ту сторону границы стал вдруг бурно расти. Население Пешавара и его ближайших пригородов увеличилось за счет афганских беженцев на полмиллиона с лишним человек, а может быть, и того больше, поскольку люди обеспеченные как-то сами устраивались с жильем, и местные власти даже не пытались взять их на учет, так что они не были охвачены регистрацией. Предки афганцев пришли в Пешавар и Северо-Западную пограничную область около 1400 г. Впоследствии здесь находилась зимняя резиденция афганского двора.

По ту и по другую сторону границы обитает один и тот же народ - пуштуны, численность которого составляет около 12 миллионов. Примерно половина живет в Афганистане, где пуштуны на протяжении нескольких веков составляли преобладающую часть населения. Язык пушту с характерным жестким произношением относится к восточно-иранской группе языков, его письменность представляет собой разновидность арабского алфавита. Жизнью пуштунов управляют не столько исламские законы шариата, сколько пуштунвали - старинные родовые обычаи этой народности. И все же, несмотря на общность афганских и пакистанских пуштунов, пешаварцы стонут при виде афганских грузовиков и автобусов, которые то и дело проносятся по улицам, задыхающимся от транспортно-го потока. На них обыкновенно значится индекс TRP, который выдается для транзитных машин, но хотя они везут афганцев или афганские грузы, их присутствие воспринимается как наглядное доказательство того, что весь город "заполонили беженцы".

Мне запомнился разговор с Шарафутдином - тридцатидвухлетним отцом двоих детей, у которого мы побывали в гостях. Он вернулся в Пакистан после нескольких лет, проведенных за границей. Его дом стоит на Джамрудской дороге у въезда в район Университетского городка, где обосновались конторы иностранных организаций по оказанию гуманитарной помощи и где находятся афганские больницы и магазины.

- Мы, конечно, сочувствуем афганцам. Как мусульмане мы должны по-братски помогать друг другу. К тому же они ведут мужественную борьбу против русских, и все же...

Шарафутдин умолк. Мы как раз остановились у дверей его дома. Он обернулся и указал рукой на кучи мусора, мелкие ларьки и чумазых полуголых детей, игравших на улице.

- Вот, посмотрите! Из-за наплыва афганцев Пешавар стал похож на свалку. Продавцы выбрасывают мусор прямо на обо-

чину. Сколько машин и народу! Цены на жилье подскочили. Продукты вздорожали.

Войдя с улицы, мы очутились в очаровательном дворике - с ухоженной лужайкой и цветущими кустами.

- Понимаете ли, - продолжал Шарафутдин уже более доверительно, - ведь многие афганцы - богатые люди. Они заводят здесь коммерческое дело и наживают большие деньги. Я думаю, что только половина из них захочет после войны вернуться к себе домой.

Дорога поднимается вверх по склону холма. Впереди показывается недостроенный дом, перед ним стоит грузовик, из которого выгружают мешки с мукой. Разбитые дорожной тряской, запыленные, мы вы-



лезает из джипа. Лицо, шея покрылись слоем песка, песок забился в ноздри. Мы приехали в час дня, в самый солнцепек. Еще только конец февраля, а градусник показывает тридцать градусов в тени. Через два-три месяца температура будет на десять-двадцать градусов выше. Накинутая на голову шаль немного спасает от солнечных лучей.

- Нет! Никаких журналистов! Лагерь закрыт, - услышали мы от начальника лагеря.

Поглядев на документы, которые мы с Мариам выложили перед ним, он только

покачал головой:

- Кто вас сюда прислал?

- Мы получили разрешение от окружного управления. Они предоставили нам свой джип. А также охрану, - добавляю я.

Начальник здоровается с нашими двумя вооруженными спутниками. Один из них имеет очень внушительный вид, благодаря ленте с патронами, которую он носит через плечо.

- Нам некогда сопровождать вас по лагерю.

- Мы хотели встретиться с женщинами в домашней обстановке, - отвечала я на его возражение.

Тщательно изучив наши бумаги, начальник делает разрешающий жест и знаком подзывает старика, которого он придал нам в провозатые в дополнение к двум охранникам.

Мы благодарим его лобезными улыбками, а я говорю, обращаясь к Мариам, что в Пакистане все в конце концов улаживается, здешние администраторы умеют проявлять гибкость.

Не откликаясь на мои речи, она устремляется вперед, ее ножки в изящных туфельках уверенно ступают по каменистой земле.

Я обулась поудобнее в туфли без каблуков. Поглядывая на них, Мариам время от времени только вздыхает, жалея меня за такое отсутствие женственности.

Лагерь беженцев разбит среди пустыни. Палатки стоят небольшими кучками по две или три вместе с промежутками в сто-двести метров. Здесь в 1-м отделении лагеря зарегистрировано 11 826 беженцев, или 946 семей. В лагере не заметно никакого движения, только несколько молодых девушек и женщин несут воду в емкостях из автомобильных покрышек. Некоторые несут воду в четырехгранных банках из-под растительного масла. Видно, что им тяжело и неудобно, вода выплескивается им на платье и длинные шали.

Возле одной палатки нас встречает молодая женщина с ребенком на руках. На ее круглом лице с выразительными глазами сияет широкая улыбка. Руки перепачканы мукой. Перед ней деревянная миска с тестом, которого хватит на четыре круглые лепешки. Мы рассказываем ей, кто мы такие, но могли бы и не представляться - в этом временном доме нас встречают с радостью, как дорогих гостей.

Не дослушав наших объяснений, женщина позвала кого-то, и на ее зов выскочили несколько молоденьких девушек с потертым ватным одеялом. Мы разуваемся и усаживаемся.

Женщину звать Биби. Ей около двадцати лет, и она мать двоих детей. Ее семья приехала из восточной провинции Лагман, там у них был клочок земли, коровы и овцы. Они прибыли в Пешавар шесть месяцев тому назад, после того как их деревня была разрушена бомбежкой. "Деревню разбомбили", - записываю я в свой блокнот, не дожидаясь, когда Мариам кончит переводить.

Здесь, как всегда, все та же знакомая история: разрушенная деревня, раненные родственники (это если им повезло остаться в живых), которым требуется уход - вот что, как правило, можно услышать от афганских женщин.

Присев на корточки, Биби расправляет широкую юбку. Торчащие из шальвар разбитые ступни с задубелой, потрескавшейся кожей составляют резкий контраст с нежными пяточками младенца, которые еще не топтали землю. Повторив за нами вопрос, Биби сказала:

- Вы спрашиваете, как я живу? Разве вы не видите? У нас нет ничего! Всей семьей мы должны ютиться в одной палатке. Я не смею ступить за порог. Стоит высунуть нос из палатки, как на тебя глазеток пакистанские мужчины. Здесь нет парды\*.

\* Парда - совокупность правил, определяющих поведение пуштунских женщин с посторонними мужчинами.

Она рассказала нам, как трудно ей ночью, ведь приходится делить палатку со свекром, чего никогда не бывало в Афганистане. Выразительной гримасой она показывает, как ей плохо жить, не имея своего угла, где она могла бы спокойно отдыхать со своими детьми и где нашлось бы место для ее мужа. Сейчас он воюет в партизанском отряде.

- Да и вернется ли он? Я каждый день молю Аллаху, чтобы с ним ничего не случилось, - говорит Биби.

Вокруг палатки воздвигнута глинобитная стена в полметра высотой. Когда мужчины будут дома, то они первым делом увеличат ее высоту до двух метров, чтобы оградить двор от непрошенных глаз. После этого можно будет взяться за постройку небольшого дома - качи. В лучшем случае он будет состоять из двух комнаток с одним окошком. Если двор обживает несколько семей, количество комнат увеличивается. Каждая семья старается обеспечить себе отдельный угол. Иногда одна комната отводится для женщин и детей. Если нет матрасов и одеял, на полу стелют сено, но многие спят прямо на голой земле.

Спят обычно, не раздеваясь, в той же одежде, мужчины иногда снимают куртку или телогрейку. Женщины употребляют свою широкую шаль вместо одеяла. Каким образом мужчины и женщины умудряются уединиться ночью хоть на часок, это сущая загадка; старшее поколение обыкновенно жалеет молодых и, потеснившись, молчаливо уступает им укромный уголок.

Для многих понятие о мытье тела связано с сексуальными представлениями. Я поняла это, когда задала группе молодых женщин вопрос, часто ли им удается искупаться. Сначала они смущенно захихикали, но потом объясняли мне, что это связано с велением Корана совершать полное омовение после сокоупления. Приглашением к любовному акту могут быть взгляды или другие женские уловки, но чаще всего инициатива все-таки исходит от мужчины. Женщина не имеет права отказывать мужу в супружеской близости. В Коране это сформулировано словами: "Ваши жены - нива для вас, ходите на вашу ниву, когда пожелаете..." (Сура 2:223).

В Коране также сказано, что мужчина должен избегать женщину, когда у нее менструация, в это время она считается нечистой. Впрочем, когда женщина не хочет быть с мужем, она может уйти спать к детям. И ей, и ее мужу неведомо самое понятие женского оргазма. Однако в Афганистане отсутствует обычай женского обрезания, операции, которой в соответствии с законом ислама неукоснительно подвергаются мальчики. В таких странах, как Судан и Египет, где оно практикуется, в оправдание этого изуверского обряда ссылаются на веление ислама. Это утверждение неверно, хотя в "хади-тах" можно при желании найти среди изречений Магомета и такое, которое может быть использовано как "довольно-таки слабый довод в пользу этой операции".

Очень тяжелое положение создается в лагерь беженцев из-за отсутствия туалетов. Взрослый человек никогда не обнажает прилюдно своего тела, а женщина тем более не позволит застать себя в таком положении, когда бы окружающие могли догадаться, что она присела по нужде, хотя могла бы при этом прикрыться своим просторным платком. Мужчина может открыто присесть или помочиться возле стены, повернувшись спиной к прохожим, но он все-таки предпочитает проделывать это, когда его никто не видит.

Биби рассказывает, что она встает рано утром, пока еще не начало светать. В темноте она слышит, как другие женщины пробираются к ямам или за кусты, где можно присесть. Еще хуже бывает, если заболел поносом, а это часто случается в жаркое

время года, когда из-за плохой воды начинается эпидемия. Тут уж вся надежда на дворовую стену. За нею можно отгородить место для туалета и умывания. Однако гигиенические условия появятся только тогда, когда будет вырыта большая яма, над которой будет положен настил с отверстиями, подходящими для детей и для взрослых. Многие организации по оказанию помощи беженцам заняты этой работой, но до лагеря Шамшато еще не скоро дойдет черед.

По лагерю уже прошел слух о нашем приезде. Все больше женщин с детьми приходит и рассаживается в палатке. Нас угощают чаем, который с трудом заставляя себя выпить, такой у него противный вкус. Очевидно, для заварки, за неимением лучшего, берут

я умерла. Я потеряла единственного ребенка. Три года тому назад во время войны погибла моя сестра. Почему они так с нами поступают? Что мы сделали кафирам?

- Я потеряла обоих детей, - произносит сзади другой голос.

Джавана попала в Пакистан год тому назад. Ее восьмилетняя дочка и годовалый сын заболели поносом, эта болезнь - настоящий бич обитателей лагерей. Через неделю она пошла с ними к доктору, но тому только оставалось констатировать, что они находятся при смерти.

-Что мне было делать? Они зачали у меня на глазах.

Некоторые женщины молча отирали слезы краешком шали.



спитой чай. Мы пьем чай со свежеспеченным плотным маисовым хлебом. Меня выручает Мариам. Она с жадностью накидывается на хлеб, а стакан с чаем так ловко располагает на полу у наших ног, что через некоторое время ей удается незаметно взять вместо своего мой. Она, как всегда, почти ничего не ела с утра, выпив на завтрак только несколько чашечек кофе с сигареткой, сегодня я этому рада, потому что женщины, конечно бы, огорчились, видя, что мы побрезговали их угощением. Я вмешиваюсь в разногласия афганской речи и спрашиваю одну из женщин, откуда она приехала и почему живет в Пакистане.

-А вот что со мной случилось, - говорит она, приоткрывая одежду.

Под ней оказывается распухший, покрытый сизыми пятнами живот, весь изборожденный шрамами.

- Русские прострелили мне живот. Они напали на нашу деревню утром, я еще спала. Мы убежали без вещей, в чем были. Здесь мне уже сделали четыре операции в маленькой больничке в Пешаваре.

Она говорит осипшим голосом, из глаз у нее текут слезы. Остальные женщины при-молкли.

- Когда меня должны были оперировать в первый раз, я слышала, как сестричка сказала моему мужу, когда он хотел сдать для меня кровь: "Она не выживет. Зачем ты будешь зазря отдавать свою кровь?" Теперь эта женщина ждет следующей операции. Ей все-таки повезло; в больнице, созданной для раненых беженцев, лечат бесплатно, а ее муж все сделал для того, чтобы она выжила.

- Но для меня-то было бы лучше, если бы

Гюль-Ширин говорит, что здесь у всех какое-нибудь горе. Они попали из рая в ад. Теперь уже хуже не будет. Друг в друге женщины находят утешение, здесь можно хоть выплакаться вволю, не скрывая слез.

Мне вспоминается запущенное кладбище в Рабате, на юго-востоке Нимруза в центре Афганистана. Над одной из могил мы увидели там мужчину, который горько плакал навзрыд. Лицо его было мокро от слез. Он громко стонал и всхлипывал, в то время как неподалеку несколько партизан прохаживались взад и вперед и о чем-то беседовали. Ни женские, ни мужские слезы не воспринимаются как признак слабости.

Перед нами развернуто платье красного цвета. Алая материя украшена желтенькими и зелененькими кисточками.

- Это был свадебный наряд моей младшей дочери, - говорит пожилая женщина, подняв к нам очень исхудалое лицо. - Вот все, что у меня от нее осталось. Она была такая красавица!

Тут ее голос пресекся. Обливаясь слезами и всхлипывая, она продолжает свой рассказ: дочке было всего лишь 14 лет, ее молодой муж погиб под бомбами во время налета. Они прожили после свадьбы два месяца.

Стараясь удержать слезы, мы с Мариам очень пристально разглядываем свадебный наряд. Продолжая задавать вопросы, я лихорадочно записываю ответы в блокнот. Но скоро я почувствовала, что мои глаза тоже переполнились слезами. Слезы капают на бумагу, чернила размываются. Продолжать интервью нет больше возможности. Все сидящие в палатке плачут, кроме нескольких

детишек, которые молча смотрят на нас серьезным взглядом.

Я осознаю это, как свою слабость. У журналиста и фотографа голова должна быть холодной, нам не положено выступать в роли плакальщицы. Я должна была совладать с собой, чтобы выполнить свою репортерскую задачу. Пытаясь собраться с духом, я усилием воли отстраняюсь от мыслей об этих женщинах и их горе и начинаю обдумывать, что мне делать с их рассказами. Магнитофон лежит без дела в сумке, камеру я тоже ни разу еще не вынимала.

- Можно я буду снимать?

Немного успокоившиеся женщины не знают, на что решиться.

Кто-то выглядывает на двор. Мужчин поблизости не видно. Они кивают. В палатке можно ничего не опасаться. Малолетним мальчикам, которые обыкновенно играют роль лазутчиков из мужского стана, на это раз велят ничего не рассказывать. При появлении магнитофона и микрофона женщины оробели и спросили у Мариам, что из этого последует.

- Люди будут слушать вас по радио, - отвечает она.

- Нет, нет! Разве можно! Ведь это услышат наши мужья.

- Передача будет не здесь, а в Швеции, - разъясняет Мариам.

Я спрашиваю про карточки и снабжение, и тут горе сменяется вспышками гнева. Несколько семей уже прошли регистрацию в лагере беженцев, но карточек еще никто не видел. Биби говорит:

- Мы видели, как приезжали грузовики. "Ну, наконец-то, - думаем мы каждый раз. - Теперь и нам дадут муку". Но они только записывают наши имена, и больше ничего.

- У нас нет никакой еды, - говорит пожилая женщина. - Я посылаю сына выпрашивать по лагерю подаяние.

После тряской езды мы воротились в свой оазис - комнату с отдельным душем в доме, принадлежавшем шведскому комитету по афганским делам. Мариам тихонько всхлипывает, закрыв лицо шалью. Для нее эти встречи - нож в сердце. Они напомнили ей о ее собственной семье, которую тоже не миновало горе и перед которой Мариам чувствует себя виноватой.

В 1971 году она впервые уехала из Кабула и побывала в Бейруте, куда они с сестрой отправились под присмотром одного шведа, служившего в ООН.

Через год Мариам снова была в Кабуле. Она вернулась в родную семью, повидав мир за пределами Афганистана и выучившись на бейрутских базарах арабскому языку. За время своего отсутствия Мариам стала независимой молодой особой, которую уже не устраивало нищенское существование в кругу девяти братьев и сестер. Отец Мариам Нияз Мухаммед работал щеточным мастером, его заработков не хватало, чтобы содержать такую большую семью. Он был переселенцем из Пактии, не имел никакой специальности, поэтому ему трудно приходилось на новом месте. В деревне у него был когда-то участок земли, но его пришлось отдать за долги, которые он нажил во время страшной засухи 1970-1971 гг. Детям с малых лет пришлось просить милостыню на улицах Кабула.

- Когда мне исполнилось 14 лет, меня решили выдать замуж. Я еще с детства была обручена с двоюродным братом. У родителей было условлено, что до свадьбы я каждый год буду получать платые, а так как это условие не было выполнено, то свадьба расстроилась. Снова потянулись переговоры.

Скоро оказалось, что все планы родите-

лей, которые старались воспитать из Мариам хорошую жену и мать семейства, потерпели крушение.

- Я совсем не любила домашнюю работу и вышивание. Отец не хотел меня отпускать, а я надевала чадру и все равно выходила на улицу. Оказавшись за пределами нашего квартала, я ее снимала.

Старшие братья работали продавцами на базаре на улице Чикен-Стрит. Через них я познакомилась с Музаханом. Он был узбек из северного Афганистана. Музахан был на десять лет старше меня и работал в полиции. Вопреки всем обычаям мы с ним влюбились друг в друга так сильно, что скоро уже не могли таить друг от друга своего чувства. Его семья позволила ему встре-



титься со мной, но мои родители страшно возмущались, когда я попросила у них разрешения выйти за него замуж. Дело кончилось тем, что я взяла билет на пешаварский автобус. Я заранее сообщила сестре, что еду к ней. Мы еще раз встретились напоследок с Музаханом, но я не сказала ему, что уезжаю.

В 1980-м Мариам снова встретилась со своей семьей. Совсем обнищавшие и беспомощные, они прибыли в Пакистан в качестве беженцев, надеясь, что там их поддержат давно выпорхнувшие из родительского гнезда дети; кроме двух дочерей, они рассчитывали еще и на старшего сына Али, который уехал в Европу. Нияз Мухаммед очутился со своей семьей, которая к этому времени уже насчитывала 13 душ, в лагере для беженцев под Кохатом, расположенном на территории пуштунских племен в десяти милях от Пешавара. Для своей семьи Мариам по-прежнему оставалась Патасой, это было ее настоящее имя. Но вся остальная родня, верная пуштунским законам, относилась к ней как к чужой. Они не могли признать за свою городскую женщину, которая не соблюдает парды. Вообще же пуштунская семья или род никогда не отказываются от своих детей, такое бывает только как редкое исключение.

Мариам была мне прекрасной переводчицей и путеводительницей в мире пуштунов. Мы совершили с ней три продолжительные поездки, посетили около тридцати лагерей для беженцев, встречались с добровольцами из организаций по оказанию помощи афганским беженцам и с пакистанскими чиновниками и замечательно притерлись друг к

другу в репортерской работе: темперамент Мариам и моя сдержанность прекрасно дополняли друг друга.

Однажды в 1986 году мы встретились с Хуаном Амунатегуи, уполномоченным представителем ООН по оказанию помощи афганским беженцам в Пакистане. Не прошло и пятнадцати минут, как Мариам с ним сцепилась. Мой вопрос касался пакистанских переводчиц, которые работали в конторах ООН. Я спросила у него, уверен ли он в их лояльности и не подозревает ли, что они иногда действуют заодно с пакистанской администрацией. Я привела конкретный пример из моего опыта, когда речь шла о продовольственных карточках. Видя, что наш собеседник отмахивается от этого вопроса, как от пустяка, Мариам расвирипела. Она, как тигрица, вскочила со стула, помахая перед его лицом указующим перстом. Если бы в этот момент ее видели женщины из лагеря беженцев, Мариам стала бы их героиней, новой Малалай, чей славный подвиг в битве за Майванд во время войны с британцами 1880 г. давно стал легендой. Об этой героине рассказывают, что, когда ее муж пал на поле боя, она подняла свою чадру и размахивая ею как знаменем, своими громкими призывами вселяла мужество в сражающихся соотечественников.

Лицо Мариам исказилось гримасой:

- Как ты можешь быть в этом так уверен? Ты же сам не побывал среди этих женщин и не знаешь, что там творится!

Лицо Амунатегуи и его высокий лоб залились краской. Он заявил, что его персонал достаточно компетентен, чтобы самостоятельно разобраться в таком вопросе без постороннего вмешательства, и что он полностью доверяет переводчикам, работающим на ООН.

На этом бы и закончилась эта стычка, однако наши обвинения стали предметом застольных шуток на вечеринках, которые устраивали в своей компании сотрудники организации по оказанию помощи беженцам. Когда я летом вернулась в Афганистан, то дама, возглавлявшая у них отдел информации, объявила мне, что считает неудобной мою дальнейшую работу с Мариам из-за ее выходки в главной организации. Я пыталась доказать ей, какую драгоценную помощь оказывает Мариам при работе в лагерях беженцев. Пакистанским переводчицам, услугами которых обыкновенно пользуются в этих случаях, трудно с их городскими привычками понимать язык деревенских женщин Афганистана, которые часто прибегают к иносказаниям и употребляют в своей речи слова, понятные только здешним уроженцам, но начальница отдела информации не хотела ничего слушать. Ей нужно было солидности приличный декорум как перед исламабадской конторой ООН, так и перед пакистанскими властями. Все проблемы следовало подавать в соответствующем освещении, поэтому дельным репортером здесь считается тот, кто умеет опускать неприятные подробности.

Я замолкла, собрала вещи и сказала "прощай" этому дому. Очутившись на улице, я, несмотря на гнетущую жару, вздохнула с облегчением.

**У**силивающийся во всем мире национализм, опасные межнациональные конфликты, касающиеся прежде всего меньшинства, в Восточной Европе и растущая ксенофобия в Западной - все это вновь подчеркивает одно из основных противоречий нашего времени, противоречие между центробежной, космополитической тенденцией современности и центростремительной потребностью (на худой конец, ее можно считать ностальгией) в самоидентификации. А это снова и снова возвращает нас к весьма старому и всегда новому вопросу о чужаках и чужестранцах.

желание заменить тоталитарное государство как источник тиранической власти конгломератом независимых государств, каждое из которых обладает своим собственным властным центром и собственной сомнительной демократией.

Те дискуссии, которые проходили в американских университетах по поводу их уставов, весьма характерны для нашей постиндустриальной эпохи, когда в каждом из нас существует противоречие между центробежными и центростремительными, но-стальгическими тенденциями.

Обсуждая проблему чужеземца, не следует забывать также такие явления как колонизация и культурная экспансия. Кто, в этом случае, оказывается чужаком? Коло-

## Норман МАНЕА

Да и зачем ассимилироваться человеку, который чудом остался жив после того, что теперь принято условно (и чуть ли не рекламно) называть Холокостом? К чему способен адаптироваться вернувшийся из ада? Ответ на этот вопрос чрезвычайно прост в силу своей очевидности: просто жить и ничего больше. Выживший вновь адаптируется к жизни, учится, как это ни банально, жить для жизни. Возвращение, возрождение, реадaptация - эти наиболее простые проявления жизни вместе с тем

# О ЧУЖЕСТРАНЦАХ

Кажется, несмотря на то, что человека непрерывно призывали возлюбить ближнего своего, он оказался не способен возлюбить ни ближнего как самого себя, ни чуждаемого как ближнего. Чужой не только всегда воспринимается как иной, но часто - как вызов, как прямая угроза, как подрыв всего, что устойчивая традиция выкристаллизовала в качестве залога народного согласия, символа национального единства. Само логическое допущение, конституирующее существование чужого, предполагает наличие различных систем ценностей и, потенциально, их состязание.

Мы оказались в мире, в котором концепция гражданина и гражданства радикально изменилась с момента своего возникновения, в мире, охваченном международными авиалиниями и оккупированном телесетями. Современный мир быстрых миграций и мгновенной связи - это, кроме всего прочего, мир стоящий на пороге революции, которую, правда, пока еще боятся осознать. Я имею в виду генетическую революцию, способную наполнить новым смыслом судьбу человечества. Может статься, что генетика окажется трудным испытанием для мифа о человеческом равенстве. Впечатляющие успехи генетической инженерии могут привести к пересмотру морали и законов в таком грандиозном масштабе, что это будет иметь непредсказуемые последствия для будущего всего человечества. А если к этому добавить еще и освоение космического пространства, то придется снова задать себе вопрос, чем же для нас окажется в этом контексте такое понятие как отечество, такой вызов как чужеземец, такая реальность как изгнание? Неужели нам, заключенным в то непрочное, переходящее, хрупкое, что называют человеческой жизнью, дано постигнуть различие между частным и общим? Современность оказалась в одиночестве перед лицом своих проблем, и никакие хитрости и утопии ей не помогут. Фундаментализм и сепаратизм всех сортов, рецидивы племенного сознания - все это выражение потребности в возрождении тех упорядочивающих связей, которые могли бы защитить национальный анклав от атакующих его со всех сторон неизвестности, новизны, отчуждения. Распад Советского Союза и объединение Европы - наиболее яркие примеры тех противоречий, которые сотрясают наше сегодня и несомненно будут сотрясать наше завтра. С одной стороны выступает необходимость покончить с разделяющими народами границами и достичь демократического, политического, экономически эффективного общества, с другой -

низатор и миссионер, правящий и обращающийся? Или абориген экзотического заповедника, маргинал исторического процесса, для которого ассимилирующее воздействие единой цивилизации означает отчуждение и непоправимую травму?

Проблема чужестранцев так сложна, что необходимы все более детальные исследования, хотя, вероятно, любые исследования не свободны от искажений. Приходится в поисках сути постоянно обращаться к собственному ограниченному опыту, к собственной жизни. Моя биография несет отчетливый отпечаток того столетия европейской истории, которое было до краев наполнено страданиями. Европа - это ведь не только колыбель западной демократии, но и арена трагических тоталитарных экспериментов, фашизма и коммунизма.

Первый раз мне пришлось покинуть Румынию в 1941 году в возрасте пяти лет, когда я был отправлен на верную смерть диктатурой и идеологией. В силу некоей иронической симметрии в 1986 году, в пятьдесят лет, из-за другой диктатуры и другой идеологии я вновь покинул страну. Холокост, тоталитаризм, изгнание - фундаментальный опыт современности - тесно связаны с пониманием того, что такое чужой и отчуждение.

Нацистская доктрина предложила вариант тоталитарной центростремительной модели общества, основанной на идее расовой чистоты и националистического государства как воплощения воли к власти. Именно эта идея нашла больше всего защитников и сторонников, ведь нацизм пришел в власти с помощью свободных выборов и удерживал ее за счет определенного соответствия между идеалом и реальностью. Нацистское государство со страстной ненавистью реализовало наиболее жестокое подавление тех, кто был признан чужим. Подозрительный гражданин, «нечистокровный» и неблагонадежный, то есть чужой, стал демоническим воплощением зла. Самые основы гуманизма оказались под вопросом. Холокост заставил не только по-новому обсуждать такие проблемы как ассимиляция и отношение к чужакам, но и, по меткому замечанию Сола Беллоу, с мрачной дотошностью возобновил старый вопрос о том, может ли вообще ассимиляция дать что-либо кому бы то ни было? Что толку от ассимиляции, если в одной из наиболее цивилизованных европейских стран полной и окончательной ассимиляции предпочли знаменитое «окончательное решение»?

патетичны и таинственны, жалки и величественны одновременно. Мне было суждено родиться, вырасти и достичь зрелости в обществе, которое на византийский лад сочетало в себе фашизм и сталинизм.

Коммунисты, провозглашая гуманистическую веру в прогресс, пришли к власти с помощью революции и удержали власть силой. По мере того, как контраст между идеалом и действительностью становился все острее, а меры, пресекающие его обнажение и обсуждение - все жестче, общество все больше начинало страдать чем-то вроде раздвоения личности, а апатия, лицемерие, двуличность становились основными чертами приспособления к жизни, иначе говоря, отчуждения от нее. Центростремительная коммунистическая система не разрешила, несмотря на все обещания, старых общественных противоречий, а заменила их новыми. Проблема чужака в обществе, отчуждавшем от себя всякого тем, что силой заставляло его расстаться со своей отдельностью, была упрятана под двусмысленной и зловещей маской. Сегодняшний взрыв экстремизма и национализма в бывших коммунистических государствах может удивить только тех, кто не испытывал на себе процесс распада общества, в котором с самого начала насаждалось двуличие.

Бертольт Брехт полагал, что изгнание - это «лучшая школа диалектики». Конечно, изгнанник, беженец в конце концов становится чужаком в результате случившихся с ним перемен. Но и само существование в роли чужака вынуждает его все время думать о переменах.

В Берлине, в течение моего первого года пребывания на Западе, я все время думал о проблеме отчуждения. Я размышлял не только о той «внутренней эмиграции», из которой я только что бежал, но и об изгнании как таковом. Я чувствовал, что история вновь растоптала мои надежды и ввергла меня против моей воли в некое приключение. Вся свою послевоенную жизнь я должен был (во многом это удавалось благодаря чтению и сочинительству) противостоять давлению среды, иногда невыносимому. Трудно поверить в то, что в тоталитарном обществе индивидуальность способна выжить, так что уход в частную жизнь был разновидностью сопротивления. Этот уход давал нам возможность сохранить в себе нравственную личность, помогал дистанцироваться от развращающей агрессивности окружающих, был надеждой, пусть и неясной, на то, что совесть в нас по-

прежнему жива. Даже в тоталитарном обществе, а может быть, именно в нем, в обществе, давление которого на личность особенно опасно, человеческое «Я» сохраняет в себе противоречие между центристской необходимостью в сохранении тайнописи собственной самоидентификации и центробежного стремления к освобождению.

Во время мучительного для меня пребывания в Берлине я был ошеломлен сомнениями и вопросами из прошлого. И именно потому, что дело происходило в Берлине, я столкнулся с проблемой моей этнической принадлежности, подобно тому, как сталкивался с бранной кличкой «чужака» в своей собственной стране. Поскольку потребность в родине острее у тех, для кого принадлежность к ней безусловна, постольку и потеря ее оказывается для них болезненней. На пороге важного решения, которому предстояло стать очередным и, быть может, последним крупным поворотом в моей жизни, я вынужден был снова задаться мыслью о том, кто же я такой.

Пока я находился в Берлине, мне не однажды советовали обратиться к немецким властям с тем, чтобы они признали меня этническим немцем в силу того, что я родом из Буковины и мой родной язык немецкий. Множество моих земляков именно так и поступило и уже неплохо устроилось с помощью своего нового гражданства. Я бы тоже мог попросить о немецком гражданстве, как это сделали многие мои соседи и коллеги из Сучавы, столицы области, которая называется по-немецки Buchenland, то есть «Земля буков» (впрочем, подходящим названием было бы и Buchland - «Земля книг», ведь не случайно величайший немецкий поэт второй половины нашего столетия, Пауль Целан - уроженец Буковины).\*

Однако случилось так, что как раз в это время я услышал историю, которая заставила меня пересмотреть свой подход к этой проблеме. Легально эмигрировавшая из Румынии в ФРГ известная немецкая писательница вскоре после своего приезда столкнулась с недоброжелательством чиновника иммиграционной службы, который, как оказалось, был не слишком расположен к своим зарубежным соотечественникам.

- Я слышал ваше выступление по телевизору, мадам, - заявил ей этот чиновник, просматривая ее иммиграционную анкету. - Вы ведь покинули Румынию из-за ее диктаторского режима. Вы сурово обвинили румынскую диктатуру в немецкой прессе, не так ли?

- Совершенно верно, - согласилась писательница.

- Следственно, очевидно, что причиной вашей эмиграции в Германию послужили не национальные, а политические мотивы, - заключил чиновник. - В таком случае, - добавил он решительно, - вам следует обратиться в соседнюю комнату для получения политического убежища.

Это была одна из тех бюрократических шуток, чью абсурдную и в то же время непогрешимую логику невозможно оспорить, но еще меньше с ней можно примириться. Немецкая писательница, известная не только в Румынии, но и в Германии, где ее книги уже публиковались, была, конечно, открытым противником тиранического режима в Румынии. Ее в конце концов вынудили покинуть эту страну и искать гостеприимства в новой отчизне. Ошарашен-

\*Замечательно, что эта игра сохраняется и по-русски: Буковина - земля, обильная не только буками, но и... буквами. (Прим. переводчика)

ная таким приемом, писательница несколько дней бродила по Берлину, рассказывая об этом случае всем своим друзьям. Наконец она возвратилась в иммиграционную службу, к тому же самому чиновнику.

- Я решила добиваться германского гражданства, а не политического убежища, - заявила она я бешенстве. - Я - немка и требую признания этого факта. У меня есть неопровержимые доказательства. Я немка - мой отец служил в СС.

Нелюбезный чиновник сперва замолк, а потом, заикаясь, пробормотал:

- В таком случае, конечно, конечно.

Я-то не смог бы представить немецким властям столь же надежные доказательства своего происхождения. Однако эта история задела меня настолько, что вопрос о самоидентификации предстал передо мной совершенно в новом свете.

Двузначность понятия «родина» раскрывается особенно ясно в момент резкого жизненного перелома, который настоятельно обращает человека к саморефлексии. Мир отчуждения означает отчуждение не только от других, но и от себя самого, и изгнание является наиболее обычным и чистым примером такого отчуждения, как по форме, так и по содержанию. Недаром я, существо, на котором две тоталитарные системы, фашизм и коммунизм, ставили свои опыты, брел в свое время измученный и растерянный вдоль Берлинской Стены, ужасаясь необратимости моего изгнания. Неужели это был страх свободы?

Зрелого человека изгнание заставляет вновь и не вовремя переживать инициацию и становление, выбирать и рисковать, под вопросом оказываются все ценности его предыдущего жизненного опыта. Более того, для ушибленного жизнью, для того, кто так и не сумел избавиться от ощущения скорой гибели, от боязни быть снова ввергнутым в хаос неизвестности, изгнание вновь возрождает старые страхи. Никто так не ощущает утрату, пусть сомнительной и ненадежной, но стабильности, как тот, кто чувствует себя погружающимся в бездну новой нестабильности. Писатель - этот, как говорил Томас Манн, «вечно подозреваемый», этот изгнанник *par excellence*, добывает себе родину, свое детское место с помощью языка. Изгнать его из этого последнего убежища значит многократно его обездолить, жестоко и необратимо подорвать самые основы его бытия, привести к трагическому концу. Как писал Примо Леви о пребывании в лагере: «слова теряют выразительность - это окончательное безразличие».

Вот почему весной 1988 года я, впервые встретившись с одним американским писателем, который впоследствии стал моим близким другом, напыщенно заявил, что для меня начался новый Холокост. Только теперь пламя подбиралось к средоточию моего бытия, к языку, к бездонным глубинам творчества.

С тех пор, как я почувствовал это пламя, прошло пять лет, и должен признаться, что теперь я ощущаю изгнанничество не только как проклятие, но и как привилегию. В конце концов я принял его как награду во имя всего, что в нем есть: во имя страдания и откровения, во имя одиночества и вызова, во имя заключенных в нем сомнений и бесконечного ученичества, принял за его пустоту и богатство, за то, что оно освободило меня и разрушило мой душевный покой. Я принял его за раны свободы. Если мне достает сил повторить вслед за Данте: «L'esilio, che m'e dato, onor mi tengo» (Я с честью нес свое изгнание), значит, наверное, я живу в согласии с нашим центробежным веком.

Герой Камю, чужак Мерсо, отчужден не только от своей страны, религии или семьи, но и от мира и от себя самого. Он не часть какого-нибудь гонимого меньшинства: этнического, политического или сексуального - его одиночество служит осознанию абсурдности человеческого существования. Это изгнание чужака, человека вообще подобно взрыву обезумевшего солнца среди рутины обычного летнего полдня. Судьба двойника Кафки, обвиняемого К., всегда готового оправдать абсурдность невидимого и ненаходимого правосудия, предвосхищает отчуждение, охватившее современный мир.

Чужак всегда сознательно или бессознательно находится в потенциальном или частичном изгнании, и всякий настоящий писатель - изгнанник в этом мире, даже если он, как Пруст, почти не выходит из своей комнаты. Его взаимоотношения с родной страной сложнее и драматичнее обычного изгнания. Томас Бернгард, не покидая своей страны, разоблачил ее, запретив публиковать свои книги в Австрии, не желавшей замечать и анализировать свои пороки.

Художник, каким бы это ни казалось парадоксом, - тайный труженик любви. В любых условиях, даже в изгнании, любовь продолжает искушать его, каким бы саркастическим или злободневным ни было его искусство. Он ежедневно заново избрывает предпосылки для своего нелегкого поиска: он награждает чаемого читателя, чужака, похожего, а быть может, и непо похожего на него, даром своей суровой любви. Только это и позволяет художнику продолжать свое бесконечное приключение и смягчает очередное кораблекрушение, где бы оно с ним ни случилось.

**Норман Манеа, прозаик, родился в Румынии в 1936 г. В возрасте от шести до десяти лет вместе с родителями находился в концентрационном лагере. Получил в Бухаресте специальность инженера-машиностроителя, затем, работая в институте водопользования и водосбережения, опубликовал пять романов, три сборника рассказов и две книги эссе. С 1986-го по 1988-й жил в эмиграции в Берлине, а в 1989-м - переехал в США. В июне 1992 был награжден Мак-Артуровской стипендией.**

**В**от уже пять веков люди не перестают мечтать об Америке: нападать на всю совокупность основополагающих мифов, коими отмечено пятисотлетие, относящееся к новому времени, значило бы взваливать на себя непосильную задачу. В более узком смысле "американская мечта" есть точное попадание в цель - в наши грезы о прекрасном приключении, о могучем подъеме, который за два минувших века пережил Североамериканский континент, вернее, Соединенные Штаты. В еще более узком смысле - это история маленького человека, который вы-

Америки. Боюсь, что от меня ждут именно второго, ибо с недавних пор так уж заведено, чтобы европейские интеллектуалы сетовали на культурный империализм Соединенных Штатов, воплощенный в телесериалах и "Макдональдсах", которые ухитряются затесаться среди наших самых дорогих исторических памятников вроде Нотр-Дам и Колизея. Нельзя, разумеется, недооценивать угрозу, которую несет нахальство торжествующей экономики, однако культурное убожество "массового зрителя" наводит на мысли о более глубоких причинах этого недовольства, которые вовсе не обязательно искать по ту сторону Атлантики, и за слишком настырными упреками и обвинениями, обращенными к американскому соблазну, за

## Вацлав ЯМЕК

бой клубок историй, образов, убеждений, которые воплощают наш конкретный чувственный опыт и составляют костяк нашего жизненного хаоса, - и мифом в его оплошном и более расхожем понимании, сближающем его с обманом, с мистификацией, с пылью в глаза. Такое оплошление происходит всякий раз, когда индивидуальная или коллективная идеология начинает манипулировать мифом, чтобы подкрепить какие-либо незаконные притязания. Под идеологией следует понимать раз и навсегда усвоенный набор слов, возводящий в ранг категорий и

# ЗЕМЛЯ БЕЗ ИЗГНАНИЯ



Чикаго. Набережная озера Мичиган.

шел из ничтожества и своими силами поднялся на самый верх общества, организованного таким образом, чтобы благоприятствовать подобным взлетам.

Спротивляясь этой мечте, этим грезам, я испытываю два различных соблазна, влекущих меня к двум противоположным подходам: первый - это подход мечтателя, ищущего в Америке отклика собственным мечтам; второй подход - интеллектуальный, требующий критического анализа того, что принято называть "американской мечтой", того образа, который американская идеология силится выдать за истинную суть

надсадным фанатизмом, пренебрежительной grimасой встречающим все, что исходит из Америки и не несет на себе ярлычка "европейскости", мне чудится некое идеологическое лицемерие, тайная борьба за интеллектуальный рынок.

Самому мне не так-то легко примириться с мыслью, что гамбургер способен преградить путь бытию. "Мечту" губит не содержание жизни, а механизм, которому она повинуется: разделительная черта пролегла не между подлинной европейской идеей и американской подделкой, но между мифом в его высоком смысле, представляющим со-

принципов представления человека или группы людей о себе и о мире; этот набор слов имеет тенденцию утрачивать связь с реальностью, которую призван описывать, его термины считаются раз и навсегда усвоенными, что избавляет от необходимости всякий раз проделывать породившую их умственную работу, всякий раз окунаясь в живую стихию мысли. Идеологическое высказывание подразумевает в говорящем, даже если он привлекает новые факты, верность кругу предписанных идей; вместо того, чтобы на ходу придумывать новые формулы, приходится подгонять факты под старые,

готовые, для того хотя бы, чтобы подтвердить их пригодность на все случаи жизни. Опасность идеологии состоит в том, что понятие, отринув свои истинные экзистенциальные связи, воображает себя сущностью, а мнение, опьяненное своим логическим успехом в лоне системы, воображает себя всемирным кодом. Потому-то и пагубно поглощение мифа идеологией. Оно становится возможным, потому что в мифе тоже есть свои общие места, вполне конкретные, освященные традицией, к которым люди так же привыкли, как к идеологическому набору слов. Прима-зываясь к мифу, опираясь на то, что их роднит, идеология успешно придает себе видимость подлинности и жизненности, а значит, приобретает и влияние, и черты экзистенциальной реальности, что еще хуже; поскольку, не довольствуясь этим, она стремится подчинить себе живой опыт, распоряжаться и командовать им, то вместо того, чтобы питаться мифом, она всего лишь пользуется им и в конце концов разьедает его и дискредитирует. Жертвой подобного злоупотребления, кстати, может оказаться любой миф, как американский, так и европейский.

"Франкоязычный", но в то же время чешский писатель, я прибыл издалека, и это позволяет мне в известной мере издалека взглянуть на идеологическую тяжбу, которую сообщают все подлинные ценности в мире против того всемирного Диснейленда, который, если им верить, стремится повсюду распространить Америка. Всю жизнь я вел борьбу изнутри с другой "мечтой", которую самая агрессивная и мошенническая идеология нашего века превратила в убийственный и цепенящий кошмар. Вот именно, скажут мне, - едва избавившись от коммунистической лжи, не рискуете ли вы, в силу вашей растерянности или простодушия, клонуть на американский обман? И впрямь: мы рискуем клонуть на какой угодно обман, и в первую очередь - на американский, ибо Америка, пожалуй, остается сегодня наиболее мощной производительницей идеологической иллюзии; но пускай не обольщаются и Европа с Африкой: знамя подлинности - это только знамя и ничего больше. Коль скоро люди бывшего коммунистического мира рискуют подпасть под влияние лживой мечты, то дело не в самой мечте, а в той черной дыре, которая остается в душе на месте вырванного с корнем языческого культа и для своего заполнения требует нового идола. А посему просто взять и преградить путь "американской мечте" - значит остаться на поверхности зла; чтобы должным образом приступить к решению проблемы, следовало бы искоренить в людях саму потребность в идеологии. "Американская мечта" несет европейцам не больше угроз, чем их собственные чересчур навязчивые идеологии; кроме того, не будем рассчитывать на то, что вместе с натиском американской псевдокультурной продукции к нам проникнет самая суть Америки: бывает и так, что мы мечтаем о мечте, но на деле все это пустое обольщение, а настоящая мечта нам так и не далась. Относиться к мечте с должным вниманием значит не обольщаться, но видеть горизонты, которые она открывает.

### АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА

Нет, я никогда не обдам презрением мечту: ведь ей всегда присуща незавершенность. Несмотря на жестокие преступления, совершившие ее именем, я сохраняю как бесценное достояние сказку о социальной справедливости, и пускай знание истории мешает мне отнестись с доверием к какой бы то ни было церкви, сказка о любви останется для меня основой цивилизации, к которой я

сознаю себя причастным. Но сейчас речь у нас идет об американской мечте. Сколько помню, я никогда ей не поддавался; размышляя над своим жизненным крахом и пытаясь его преодолеть, я так решительно обратился к химере французского языка, что едва ли можно в моем случае говорить об американском влиянии. Разумеется, мальчишкой я читал приключенческие романы. Как все и каждый, я затрагивал важные темы американской цивилизации, но ничто из этого впечатляющего репертуара не приобрело для меня особенного и решающего личного значения. Из всех писателей на мою манеру более или менее повлияли только трое или четверо: Фолкнер, Грегори Корсо, Эмброуз Байерс. Безусловно, глубокий отпечаток наложило на меня американское кино. Однако я избежал того гипнотического воздействия, которое Соединенные Штаты на протяжении трех десятилетий оказывали на художников и интеллектуалов Западной Европы и отзвуки которого я то и дело нахожу во французской литературе; для нас, живущих на Востоке, дистанция была непреодолима, все подступы отрезаны, рассказы путешественников недостоверны, поскольку пропаганда творила из заграницы какое-то пугало - вот потому-то нам теперь и грозит особенно сильный шок.

Эмброуз Байерс был для меня одним из мастеров того безоглядного юмора, который разрушает обыденность существования и чересчур ясные представления о нем; в этом отношении он принадлежит к целой семье авторов, которые дороги мне и многим меня привлекают, вовсе не будучи американцами: это Мишо и Жарри, Ладислав Клима, Граббе, Моргенштерн и вся традиция русского гротеска от Гоголя до Булгакова. Но углубляясь в дебри памяти в поисках первоначального осознания комического, я вспоминаю, кто научил меня смеяться - это еще один американский писатель, и я несомненно должен воздать ему должное: это Марк Твен. С необычайной отчетливостью помню, в какой миг и при каких обстоятельствах самым что ни на есть серьезным образом решил развить в себе чувство юмора: тогда мне было двенадцать, и жил я в детском доме. То был год Берлинской стены; каждое утро, перед уходом в школу, мы вешали через плечо свернутые непромокаемые плащи из полиэтилена на случай, если западные империалисты запустят в нас атомной бомбой. Я решился смеяться из отчаяния; до того я имел скорее склонность поплакать от бессилия и безысходности, против которых не было лекарства. Но в один прекрасный день я перестал лить слезы: я понял, что никто мне не поможет, и надо защищать себя самостоятельно. Но как? Детское бессилие ужасно: с того мига, помнится, я стал презирать мир всемирных взрослых и презираю его до сих пор. Внезапно я вспомнил о Марке Твене (я уже тогда был страстным читателем): что-то в этом было - особое словоупотребление, особый ход мыслей, которые не только могли защитить, но даже давали перевес, и это средство было в моей власти, оно называлось юмор.

Я очень рано лишился поддержки других людей - надо было обходиться своими силами. С помощью Марка Твена я, сам того не подозревая, вступил на проклятый путь индивидуализма и таким образом добрался до самой сердцевины того, что составляет суть "американской мечты": я стал self made man, - человеком, который, выйдя из ничтожества, своими руками строит свою жизнь, сам творит свою законнорожденность в Америке - классической стране отщепенцев. Разумеется, сам я не отождествлял упорства, с каким в своих блуждани-

ях, подчас неявных, держал курс на свою собственную мечту о том, чтобы выбиться на поверхность, как новоявленный вулканический источник - я пользовался более общими формулировками. Но "американская мечта" и в самом деле, быть может, только выражает самые общие склонности нашего воображения, грезу открытости. Коль скоро любезные доктору Юнгу архетипы пещеры и дракона, очевидно, представляют собой архетипы замкнутого пространства, включающего в себя наследственное право, незыблемость иерархий и грозящего неврозом каждому, кто попытается подняться над своим происхождением (архетипы, идеально укладывающиеся в вертикаль альпийской ослепительной Швейцарии, самой подходящей родины для вышеозначенного доктора), то, напротив, американская греза распахивает перед нами безграничное пространство открытий, отважных предприятий, завоеваний, дорог, которые надо положить, пространство, огромности которого не могут превзойти усилия отдельного человека, пространство социальной мобильности, нулевой старт как таковой. Если угодно назвать "американской мечтой" мою потребность дышать - тем лучше.

### ЗЕМЛЯ БЕЗ ИЗГНАНИЯ?

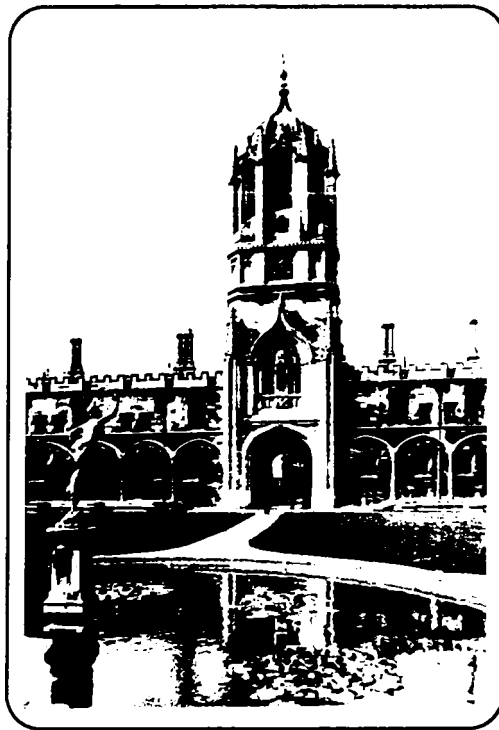
С удовольствием добавлю к "американской мечте" еще один более или менее рискованный штрих, на который натолкнулся не так давно. Мне предложили написать исследование о Владимире Набокове, который из русского писателя стал американским и имеет для меня ни с чем не сравнимое значение; и вот я задался вопросом, в какой мере тот факт, что этот писатель, за плечами у которого было уже немало произведений, написанных на другом языке, перешел на английский, был связан с тем, что для американской цивилизации изгнание есть всеобщий определяющий фактор, что оно составляет часть американскости, изначально входит в родовое наследство, и если в других местах изгнание равно лишению корней, то здесь оно служит вам фундаментом и помогает встать в почву. И внезапно я обнаружил поразительную вещь: Америка больше, чем изгнание, она перекрывает его с обеих сторон: она встречает вас раньше, чем вы ступаете на ее землю, и не обрывается с вашим отъездом. В положении американца ничего не меняется после расставания с Америкой; если уж вы пожили здесь, расстаться с Америкой невозможно: вам разве что удастся отбегать от нее на некоторое расстояние. Пытаясь очертить такое распространенное в нашем веке явление, как изгнанничество писателя, я обнаружил писателей, которые явно были изгнанниками, никогда не покидая родины; зато меня поставил в тупик поэт, вся жизнь которого положительно была великим (и запредельным) изгнанием - а между тем, как это меня ни уязвляло, я не в силах был отнести Эзру Паунда к литературным изгнанникам (если только не переводить в категорию цивилизации то, что существует в качестве метафизической категории или даже метафоры: безымянную нищету, изгнание по ту сторону всех изгнаний, не имеющее конца в этом мире).

Быть может, скажут, что все это - бред европейца; но мы же говорим о мечте. Давайте подумаем, что может навести на подобные мечты. В первую очередь, изгнание невозможно оттуда, где есть свободы; и наоборот, вполне возможно, что латиноамериканские диктатуры понуждают людей к изгнанию. Так мы и оказываемся в Соединенных Штатах и нигде более (разве что еще в Канаде), но при одном этом необходи-



мом, хоть и недостаточном, условию. Можно убегать также и от нравственной атмосферы, царящей в какой-либо стране, - но Америка так многообразна, что вбирает в себя любой мятеж. В действительности нашим зрением управляет мифологическое сознание: уехать из Америки в изгнание для нас немыслимо, потому что дальше Америки не уедешь. Америка, точка пересечения всех изгнаний и самых разнообразных национальных принадлежностей, дарует всем, кого принимает, окончательную принадлежность, которой уже невозможно лишиться с отъездом. Гертруда Стайн, живущая в Париже, навсегда остается американкой, живущей в Париже; певец Дин Рид, предпочитающий поселиться в ГДР, - явление исключительное и наводящее на подозрения. Владимир Набоков, ставший американским писателем, может, если ему угодно, избрать своим местопребыванием Швейцарию, но этим он не превращается в изгнанника. Возможно, эта же мифологическая мотивация порождает ту ненависть к американскому империализму, под влиянием которой ближневосточные террористы видят в американцах самую желанную цель. В американцах как таковых, без разбора: в них видят узурпаторов понятия национальной принадлежности - вот еще одна опасность сбывшейся мечты.

Америка, земля без изгнания... А все же неужели изгнание неведомо на этом континенте, пускай в каких-нибудь новых формах? Коренное население изгоняют с его исконных земель, негров лишают корней и навязывают им такие условия жизни, каким и названия-то не подберешь, и обо всем этом мы не забываем. Кроме того, я помню, как, блуждая по просторам английского, испанского, португальского, бывал поражен и потрясен всякий раз, когда обнаруживал то тут, то там вкрапления других языков: мои мечты прежде всего и сильнее всего подхлестывал Гаити с его гордым островным очарованием, с его удивительной и жестокой историей. Какие странные нити тянутся отсюда к Квебеку, в совсем иные широты; изгнание - переплетение сокровенных нитей, в которых угадывается неведомый мир, контрапункт к явному, чтение того, что таится между главенствующими линиями настоящего и откуда словно исходит вызов, который непредвиденное грядущее бросает нашей вечно ищущей интуиции. Быть может, мечты об изгнании - самые плодотворные: сталкивая нас в бездну неуверенности, они заставляют устанавливать и искать другой миропорядок. Внешняя Америка, открытая уже слишком давно, застыла в неподвижности, - ни дать ни взять Старый Свет. Единственное пространство, еще способное расширяться - это внутреннее пространство: открытость ума, свежесть взгляда на окружающее. Американская мечта может быть обращена только внутрь, она должна ведь вернуться к своей сути, которую составляет мечта как таковая; мечты - это щупальцы свободы, которыми она пробует себя в мире; если их обрубить или огрубить идеологической рационализацией, мы останемся безоружными перед произволом вещей и людей.



У.Б. ЙЕЙТС

#### ВИЗАНТИЯ

*Отхлынул пестрый сор и гомон дня,  
Спит пьяная в казармах солдатня,  
За кафедральным гулким гонгом стих  
И шум гуляк ночных;  
Горит луна, поднявшись выше стен,  
Над всей тщицей  
И яростью людской,  
Над алой слизью человеческих вен.*

*Плывет передо мною чья-то тень,  
Скорей подобье, чем простая тень,  
Ведь может и мертвец распутать свой  
Сивальник гробовой;  
Ведь может и сухой, сгоревший рот  
Прошелестеть в ответ,  
Пройдя сквозь тьму и свет, -  
Так в смерти жизнь и в жизни смерть живет.*

*И Птица, золотое существо,  
Скорее волшебство, чем существо,  
Обычным птицам и цветам урек,  
Горласта, как Плутонов петушок,  
И яркой раздраженная луной,  
На золотом суку  
Кричит ку-ка-ре-ку  
Всей лихорадке и тщице земной.*

*В такую полночь языки огня,  
Родившись без кресала и кремня,  
Горящие без хвороста и дров  
Под яростью ветров,  
Скользят по мрамору дворцовых плит -  
Безумный хоровод,  
Агония и взлет,  
Огонь, что рукава не опалит.*

*Вскипает волн серебряный расплав;  
Они плывут, дельфинов оседлав,  
Чеканички и златомастера -  
За тенью тень! - и ныне, как вчера,  
Творят мечты и образы плодят;  
И над тщицей людской  
Удары гонга рвутся и гудят...*

**П**оэзия Ивана Елагина отличается редкой цельностью - за тридцать три года (1953 - 1986) крутых поворотов она не испытала. Мир Елагина создавался постепенно, десятилетие за десятилетием, но - разрастаясь и углубляясь; ни один последующий этап не отменял предыдущего. В центре этого мира - изгнанник, или, как чаще говорит Елагин, беженец. Одиночество - состояние, которое иногда удается преодолеть; тогда возникают изящные, даже порой легкие "стихи на случай", посвященные немногим, постоянно возвращающимся в его сборниках друзьям. Однако преобладает ощущение чуждости окружающим людям, стремительно движущемуся времени, меняющимся вокруг поэта странам и городам. В стихотворении, где жизнь уподоблена театру, автор горестно утверждает: "Это я, обанкротившись дочиста, Уплываю в мое одиночество"; кончается стихотворение безнадежным четверостишием:

*Итак, представим мизансцену:  
Мое окно выходит в стену.  
Стена. Веревка для белья.  
Окно. Стена. Веревка. Я\*.*

Елагин близок Блоку, но только одной из его ипостасей; последний стих вызывает в памяти сходное перечисление: "Ночь, улица, фонарь, аптека..." Блоковское продолжение - формула, которая выражает и доминирующее чувство Елагина: "Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века - Все будет так. Исхода нет". Исхода нет и для Ивана Елагина; однако цепочка его перечисления страшнее - веревка здесь не только "для белья". Она появится не раз, и уж отнюдь не в бытовой функции: "Пока еще есть выход... Пока еще есть морфия, Веревка, шестой этаж..."

Или когда речь идет о так называемых "авторских правах", которые представляются Елагину правом "... на пулю Дантеса Или веревку Цветаевой". Тоска - не литературная тема, не дань романтической традиции, а почти постоянное душевное состояние человека, который "в полусмерть занесен, В полусвет, полумрак, полусон..." Даже новогоднее поздравление звучит под его пером утробно: "С Новым Годом!.. С Новым Горем!" Это пародийное поздравление содержит к тому же зловещее пророчество:

*Не повесят, так уморят,  
Не леса, так рудники...  
С Новым Годом, старый город!  
С Новым Горем, земляки!*

Может ли быть иначе, когда вокруг не только чужая, но и страшная толпа ("Как ты устал от буркала, От рож, от рыл, от харь..."). Когда природа вытеснена бетонной цивилизацией, вызывающей ужас и отвращение? Когда лучи света появляются только в воспоминаниях ("И предо мной встает со дна морей Сад затонувшей юности моей")? Поэт ведет жизнь, похожую на мираж; себя он видит тенью, скользящей по стенам пугающих его бесчеловечных небоскребов:

*И опять, не звана и не прошена,  
Тень моя обозначилась рядом,  
И скользит удлиненно и скошенно  
По ночным мостовым и фасадам.*

\*Здесь и далее - цитируется по изданию: Иван Елагин. Тяжелые звезды. „Эрмитаж“, 1986.

Он не может понять: "Как попал я сюда, где воздвигнуты Эти каменные вертикали? Как и зачем?" Образ тени возвращается снова и снова: "Я тенью по стенам Чуть видно намечен", "Ночной темнотою укрыт как щитом, Я выдумка тоже. Я тоже фантом".

Все это вместе - комплекс изгнанника. По лирическим стихам Ивана Елагина можно восстановить главные факты его биографии: детство на Дальнем Востоке; близость мальчика с отцом; арест и гибель отца в 1938 году; годы беспризорничества, мучительных лишений; военные испытания; сперва любимая, но оттолкнувшая Европа, потом Америка, согласившаяся принять его под свое покровительство. Благополучный конец странствий отнюдь не сулит внутрен-

## Ефим ЭТКИНД

*По полям во весь разгон!  
Автострада, акведук.  
О сундук гремит сундук,  
О кровать гремит кровать.  
Наше дело - кочевать.*

*Переезд, переезд!  
Бог не выдаст, страх не съест!*

В этом же стихотворении жизнь российского эмигранта метафорически отождествлена с ядром, вылетевшим из орудия ("Может, просто из пушки Кто-то нами пальнул!"), или с полетом метеора ("И летят, летят в пространство Звезды, сорванные с мест") - и драматизм кочевого бытия выражен в двустишиях, напоминающих народные песни, а то и плачи:

*Сколько мыкано-перемыкано,  
В карты всякие пальцем тыкано,  
Сколько охано-перехано,  
По чужим шоссе верст отгрохано!*

Еще одна метафора изгнания: навязчиво повторяющаяся то ли реальная, то ли воображаемая ситуация, когда "...кондуктор спрашивает билет проездной", а билета нет, и "до самых седин все тот же бред: - А ну, гражданин, предъявите билет!" Страх и опущение неравноправия с другими пассажирами, полными достоинства и уверенными в законности собственного проезда, может исчезнуть только вместе с жизнью:

*Куда ни поеду - как приставной -  
Кондуктор по следу ходит за мной.*

*Когда-нибудь эту я кончу игру,  
Как жил без билета, так и умру,*

*И тело бросят за вечной стеной,  
И ангелы спросят билет проездной.*

Наконец, еще одна метафора - олимпиада, в которой участвует спортсмен, отличающийся от других атлетов бездомностью. Взлетев в воздух, он не может закончить свой прыжок с шестом и повисает над планкой:

*Человека и птицы  
Я какая-то часть;  
Ни на землю свалиться,  
Ни на звезды упасть.*

*Точно я переламан,  
Раздвоившийся весь,  
Ни в гостях - и ни дома,  
И ни там, и ни здесь.*

В стихотворении "Олимпиада" содержится несколько формул, концентрированно выразивших "эмигрантское отчаяние":

*Нет, я веса не выжал  
И победой не горд.  
Просто выжил. Я выжил:  
Это тоже рекорд.*

А если ему улыбнется удача и он победит, - какой национальный гимн исполнять в его честь? Какой флаг поднимать?

# МЕТАФОРЫ ИЗГНАНИЯ

него благополучия; эмиграция для русского поэта - возможность физически выжить, но тяжкое испытание, даже - проклятие. В каких только метафорических обликах не предстает изгнание в лирике Елагина! Одна из таких метафор связана с областью, в которой И. Елагин работал много лет и создал серьезные ценности, - с переводом; что и говорить, перевод - искусство, и все же он противостоит оригиналу, которому свойственна абсолютная подлинность. Изгнанник ощущает себя дурным переводом, в то время как подлинник остался в воспоминаниях:

*Я живу на расстоянии  
От страны моей студеной.  
Я живу - на заикание  
С языка переведенный.  
.....  
В оригинале - откровенье,  
А в переводе - подражанье,  
В оригинале - вдохновенье,  
А в переводе - прилежанье!*

И беда не только в том, что он, поэт, обречен на деятельность прежде всего переводчика ("И я волшебник по природе, А литератор - в переводе"), но и в том, что эмигрант свою личность ощущает как перевод:

*Чучелам в огороде  
Стою, набитый трухой.  
Я - человек в переводе,  
И перевод плохой.*

*Сколько я раз, бывало,  
Сам себе повторял:  
- Ближе к оригиналу!  
А где он, оригинал?  
.....  
Ворошить не хочется  
Давние дела.  
Наспех судьба-переводчица  
Перевела - наврала...*

Такова одна из метафор изгнания. Другая метафора (иногда скорее метонимия) - переезд, вечный рок кочевника, безнадежная и опустошающая цыганщина:

*Переезд! Переезд!  
Наш кочевнический крест!  
.....  
Переезд! переезд!  
Сколько мы сменили мест!  
Снова катится фургон*

*Я случайный бродяга,  
Человек без корней,  
И ни гимна, ни флага  
Нет у музы моей.*

\*\*\*

"Человек без корней": эта расхожая языковая метафора появляется у Елагина как элемент общей системы его художественного мышления. Изгнаннику систематически противостоят иные существа, обладающие корнями: деревья. Каких только деревьев нет в его стихах: ивы, клены, тополя, ели, осины, буки, ясени, березы, каштаны, сосны, даже эвкалипты... Иногда кажется, что "бездомный бродяга, человек без корней" завидует деревьям: их устойчивому долголетию, их привязанности к пространству, их укорененности. Неоднократно поэт отождествляет себя с деревьями - он мечтает о том, чтобы поменять свою бездомную судьбу на судьбу дерева. Его одолевает вечный страх - деревья же ничего не боятся:

*Сурово и важно  
Ветки скрипят на весу.  
Как деревьям не страшно  
Ночью одним в лесу?*

*Валится тучи темная башня,  
А им не страшно!*

*Птица ночная крикнет протяжно,  
А им не страшно!*

*Ветром они ошарашены,  
А им не страшно!..*

Изгнаннику, "человеку без корней", страшно всегда:

*Гостиница многоэтажна,  
И мне в гостинице страшно.*

*Кругом какие-то темные шашни -  
Страшно!*

*Заревом красным окно закрашено -  
Страшно!*

Стихотворение кончается возгласом: "Я хочу быть деревом!"

*Я хочу, чтобы было заверено,  
Что такой-то, такой-то - дерево,  
И отказался от человеческих прав.*

*В зелень себя разубрав,  
Он теперь стоит у ручья  
На страже.*

*И ему по ночам  
Не страшно.*

"Человеческие права", как и "авторские", оказались правами на страдания и бесправие; отринуть их во имя достойного покоя и бесстрашия - удел деревьев, - такова неисполнимая мечта человека. Впрочем, двадцатый век несет гибель и тем, и другим - у них общая печальная участь:

*...Словно знает береза: настала пора  
Для берез и поэтов - пора топора.*

*Словно знает береза, что жребий наш  
через  
Оттого, что обоих нас рубят под корень,*

*Оттого, что в каминах пылают дрова,  
Оттого, что на минах взрывают слова...*

Порою дерево, отождествленное с поэтом, в то же время противопоставлено ему - оно делит его трагедию, оно же сулит победу над судьбой. Так в одном из лучших стихотворений И. Елагина, открывающем его первый сборник "По дороге оттуда" (1953),

живут ивы. Стихотворение это - песенное, и, пожалуй, поэт сознательно приблизил его мелодию к двум популярным советским песням: "Катюша" ("Расцвели яблони и груши...") и "Широка страна моя родная". Пятистопный хорей, организованный в четверостишия с перекрестными рифмами, мужскими в четной позиции, объединяет эти три текста, похожих, однако, не только формальным сходством:

*Родина! Мы виделись так мало,  
И расстались. Ветер был широк,  
И дорогу песня обнимала -  
Верная союзница дорог.*

*Разве можно в землю не влюбиться,  
В уходящую из-под колес?  
Даже ивы, как самоубийцы,  
С насыпей бросались под откос!*

*Долго так не выпускали ивы,  
Подставляя под колеса плоть.  
Мы вернемся, если будем живы,  
Если к дому приведет Господь.*

Наш век - век изгнанников; множество замечательных писателей творили в условиях насильственной или добровольной эмиграции: к ним относятся такие авторы нашей эпохи, как Томас Манн, Брехт, Фейхтвангер, Йозеф Рот, Стефан Цвейг, Иван Бунин, Ремизов, Марина Цветаева, Замятин, Хемингуэй, Грэм Грин, Циоран, Мрожек, Георгий Иванов, Ходасевич, Синявский, Милош, Солженицын, Галич... Некоторые из них воспринимали изгнание как ад, другие видели в нем обогащение писательской судьбы. Позиция Ивана Елагина - не единственно возможная. Ее трагизм определил своеобразие елагинского стиля, обогатившего русскую поэзию нашего века. Не следует, однако, полагать, что трагизм породил безнадёжность. Иван Елагин, зная себе цену, не сомневался, что будущее сулит ему возвращение на родную землю, в свой язык. Есть у него ироническое стихотворение о Данте - "Невозвращенец", где речь идет о том, как "опозоренный и оклеветанный" флорентиец много веков боролся за свою реабилитацию - "... и через шесть столетий с лишком Он добился пересмотра дела":

*Судьи важно мантши напялили,  
Почопались по архивным данным.  
Дело сочинителя опального  
Увенчалось полным оправданьем.*

Раз Данте Алигьери повезло, можно надеяться на победу справедливости и в других делах:

*Доживем и мы до пересмотра  
Через лет шестьсот или семьсот.*

Ивану Елагину не пришлось ждать несколько столетий - он пришел к российскому читателю спустя четыре года после смерти, увы, все же после смерти, - пришел, оправдав свое предсказание, - а ведь оно было основано на убеждении, поддерживавшем поэта в самые трудные годы его эмигрантской жизни:

*Пускай сегодня я не в счет,  
Но завтра может стать,  
Что и Россия зачерпнет  
От моего богатства.*

## Иван ЕЛАГИН

### НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ

*Эмигранты, хныкать перестаньте!  
Есть где, наконец, душе согреться:  
Вспомнили о бедном эмигранте  
В итальянском городе Ареццо.*

*Из-за городской междоусобицы  
Он когда-то стал невозвращенцем.  
Трудно было, горя по советам,  
Уцелеть в те годы во Флоренции.*

*Опозоренный и оклеветанный  
Вражескими ложными наветами,  
Дважды по одним доносам грязным  
Он заглазно присуждался к казни.  
В городе Равенне, на чужбине,  
Прах его покоится поныне*

*Всякий бы сказал, что делу крышка,  
Что оно в веках заплеснело  
Но и через шесть столетий с лишком  
Он добился пересмотра дела.*

*Судьи важно мантши напялили,  
Почопались по архивным данным.  
Дело сочинителя опального  
Увенчалось полным оправданьем.*

*Так в законах строгие педанты  
Реабилитировали Данте!*

*На фронтонах зданий гордый профиль!  
Сколько неутешных слез он пролил  
За вот эти лет шестьсот - семьсот...  
Годы пылью сыпались трухлявой.  
Он давно уже достиг высот  
Мировой несокрушимой славы.*

*Где-нибудь на стыке шумных улиц  
В небольшом пыльнозеленом сквере  
Он стоял, на цоколе сутулясь,  
Осужденный Данте Алигьери.*

*Думал он: в покое не оставят,  
Мертвого потребуют на суд:  
Может быть, посмертно обезглавят,  
Иль посмертно, может быть, сожгут.*

*Но в двадцатом веке, как ни странно,  
Судьи поступили с ним гуманно.*

*Я теперь смотрю на вещи бодро:  
Время наши беды утрясет.  
Доживем и мы до пересмотра  
Через лет шестьсот или семьсот.*

### ИСТОРИЯ СТИХОТВОРЦА

*С веком рассорюсь,  
Жил стихотворец.*

*Он напевал  
А его напевал.*

*Он теперь, как прочие,  
Ждет, занявши очередь:*

*Из могилы вырвут,  
Реабилитируют.*

\*\*\*

*Мне незнакома горечь ностальгии.  
Мне нравится чужая сторона.  
Из всей - давно оставленной - России  
Мне не хватает русского окна.*

*Оно мне вспоминается донныне,  
Когда в душе становится темно -  
Окно с большим крестом посередине,  
Вечернее горящее окно.*

**В** России второй половины минувшего века литература и пластические искусства - при значительной близости гражданственных и нравственных позиций - находились в совершенно парадоксальных отношениях.

Отдавая должное живописи А. А. Иванова, И.Е.Репина, В.И.Сурикова, Н.Н.Ге, все же трудно сравнивать их вклад в мировую культуру с тем, что дали этой культуре Толстой или Достоевский. В значительной мере это объясняется тем, что воспламенная совесть, мессианство, социальность, от века свойственные отечественной культуре, куда острее и художественнее реализовывались в слове, нежели в изображении.

Проповедь в принципе своем вербальна, она свободно вписывается в плоть художественной литературы, но проповедь образительная легко переходит в дидактику и пластическое косноязычие. Благодное

## ОПЫТ ХУДОЖНИКА

Я имею в виду тот взлет русской философической живописи в русле большого стиля, что тянется от вершин мысли А.Иванова к прозрениям позднего Сурикова и к синтезирующим метафорам Врубеля, где "огненное и апокалипсическое" наконец-то и обрело пластический эквивалент. То, чем восхищался Крамской у Достоевского, вылилось в живописи именно у Врубеля.

Сопоставление этих двух имен может вызвать недоумение. В самом деле - Достоевский Врубеля знать не мог: он умер до того, как художник стал известен даже в са-

## Михаил ГЕРМАН

книги, и тех, кто их читал, и даже тех, кто судил о них понаслышке. Душевный, интеллектуальный климат ощутимо менялся. Человек и художник все чаще обращался к самому себе, все более грозно звучал вопрос об ответственности перед жизнью. За критическим пафосом уже виделся пафос саморазрушения. Анализируя зло, художник препарировал собственную душу, всеобщая философская идея теснила обличительное бытописательство или прямолинейные инвективы. В этих условиях даже скептическое восприятие Врубеля, от-

# ВРУБЕЛЬ

# И ДОСТОЕВСКИЙ

стремление передвижников показать правду жизни требовало обжигающей достоверности, но достоверность эта сковывала железными обручами конкретности ассоциативные возможности восприятия.

Русские художники были талантливыми читателями. "После Карамазовых (и во время чтения), - писал И.Н.Крамской, - несколько раз я с ужасом оглядывался кругом и удивлялся, что все идет по-старому, а что мир не перевернулся на своей оси... словом, это нечто до такой степени пророческое, огненное, апокалипсическое, что казалось невозможным оставаться на том же месте, где мы были вчера, носить те же чувства, которыми мы питались, думать о чем-нибудь, кроме страшного дня судного". Крамской ощущал необходимость каких-то перемен в искусстве, которые в литературе уже происходили.

Но гении русской словесности судили о живописи с плачевным дилетантизмом. Толстой уговаривал писать Ге "картинку против пьянства", вкус Достоевского был связан не с восприятием пластического языка, но с ощущением достоверно изображаемого страдания и сострадания. Тем не менее в истории нашей культуры сложился устойчивый стереотип сопоставлений, скажем, историко-социальной темы у Толстого, Некрасова с этой же темой у Сурикова, Перова и даже Достоевского. Меж тем то было время лишь духовно-нравственной общности, но вряд ли художественной.

Есть и иной стереотип - сугубо тематический или поверхностно ассоциативный. Это касается уже непосредственно Врубеля. Его Демона естественным образом связывают с Лермонтовым (поэма которого и в самом деле была исходной точкой исканий художника) и с Блоком, который разглядел в живописи Врубеля те нервические мотивы, ту страстную одухотворенность, которая была созвучна его поэзии (Блок произнес речь на похоронах Врубеля, которая позднее была переработана в статью).

Однако у нас еще почти не отмечено короткое, но истинное сближение живописи и литературы, сближение органичное и глубокое, которым отмечен рубеж веков - "Серебряный век" русской культуры.

мом узком профессиональном кругу. Врубель знал Достоевского мало, то, что знал, решительно не принимал, остальным не интересовался. Литературные пристрастия Врубеля принадлежат не его современникам, он поклонялся лишь гениям прошлого - Гете, Пушкин, Гоголь. Пути Врубеля и Достоевского никак не пересекались, их имена не произносились и не писались рядом.

Нет нужды доказывать, что общность писателя и художника определяется не теми картинами, которые любит первый, и не кругом чтения второго.

Еще более наивно, да и безнравственно было бы искать близость меж этими именами по принципу "больного сознания". Все это нелепо и внеисторично, но должно было быть упомянуто, поскольку такого рода связи, к сожалению, провоцируются консервативной традицией.

Исходить же, вероятно, надо из иного. А именно из того, что при параллельном рассмотрении русской литературы и русского искусства рубежа веков\* лишь двух людей можно назвать абсолютными новаторами в области художественной формы - Достоевского и Врубеля. При этом речь идет не только о системе выразительных средств, но о всей поэтической структуре.

Мировое значение этих двух фигур несоизмеримо хотя бы потому, что Врубеля за границей начинают узнавать лишь сейчас, а Достоевский уже столетие тому назад определил движение мировой литературы. Разумеется, и масштаб различен. И все же.

Они не знали друг друга. И пусть Врубель мало знал и не любил Достоевского. Но после появления его романов возник новый срез духовного мира, рухнула еще одна стена, скрывавшая от людей неведомые прежде глубины собственных их чувств и мыслей. Новые точки отсчета появились в восприятии и тех, кто писал

\*Полагаю возможным говорить о Достоевском именно как о фигуре "границ столетий", поскольку существование его художественно-нравственных идей к концу века все более обостряется.

казываясь принимать Достоевского, не могло избежать воздействия его идей, так сказать, растворенных в душевной плазме времени.

Словом, здесь надобно говорить о существовании искусства Врубеля в мире, преображенном идеями Достоевского и наполненном ими. То был, разумеется, процесс, художником не осознаваемый; пока речь идет лишь об общности философской среды, хотя есть повод коснуться и общности философских взглядов.

Врубель был поклонником Канта. О внимании к Канту Достоевского говорилось много (порою и чрезмерно) и достаточно - за некоторыми исключениями, аргументированно. Не так важно сейчас, что именно читал Достоевский, что воспринял от Канта, что в интерпретации Шеллинга. В равной степени это относится и к Врубелю.

Мы обычно не склонны с достаточной серьезностью относиться к тому, что можно было бы назвать "обыденным философским мышлением", т.е. к интеллектуально-философскому климату, в котором живет конкретный круг творческой интеллигенции определенной эпохи. А ведь именно такой климат, где знание горних высей философии свободно соседствует с обыденным любознательством, и есть среда обитания искусства: редкий художник может быть профессиональным философом.

Все же сам факт общности философских пристрастий писателя и художника еще ничего не означает. Их воззрения разделяло множество других людей. Иное дело художественное осмысление этих пристрастий.

Очевидна общность мотивов и образов Врубеля известным аспектам творчества Достоевского, равно как и то, что некоторые аспекты поэтики писателя (разумеется, опосредованно и подсознательно) были переработаны и реализованы живописцем.

Для Врубеля характерно стремление показать исключительную и глубоко трагичную судьбу человека (Демона), идущего в поисках собственной исключительности к преступлению, прозрению, к обрете-

нию жажды обновления, реально обретенного в страдании могущества.

Достоевский, предназначая своим героям сходный путь задолго до Врубеля, создавал образы, стоящие на вполне земном основании, окруженные почти осязаемыми реалиями и вместе несущие в себе космически-мрачные идеи самоутверждения через вседозволенность. Художник, не обладая ни масштабом творческого мышления Достоевского, ни пронзительной силой его человековедения, концентрирует близкую концепцию в образе символическом, психологически (по сравнению с Достоевским) упрощенном, но во многом и сходном. Ненужность высокого дара, сверхчеловеческой ко злу направленной, но освящен-

он жил в мире идей, которыми было насыщено время, идей, сгущенных Достоевским до "взрывной концентрации", идей, которые входили тогда в духовный мир каждого. Даже против его воли.

То, что может быть раскрыто в литературе во временном аспекте, через рассказ и диалог, в живописи Врубеля могло раскрываться лишь пластически - повествовательности он избегал. Фактура его картин и - особенно - "Демона сидящего", если так можно выразиться, патетична (как не вспомнить здесь поспешную, "задышающуюся" интонацию Достоевского!): стынущая лава тускло-пурпурных, серебристо-лиловых, пепельно-розовых оттенков буквально низвергается с холста. Сама

саются с более глубокими слоями русской культуры, в которой черпает многие истоки своей прозы и Достоевский. "Художественное вещество", из которого творит свои картины Врубель, не только новый пластический прием, но и принципиально новое видение мира.

Поклонник Гоголя, творивший в эпоху глубокого духовного кризиса после Достоевского, Врубель показывает окружающую героя действительность не столько глазами бесстрастного повествователя, сколько глазами этого же героя, действительность, не только преображенную его эмоциями, но во многом ими и сотворенную.

В "Демоне сидящем" скалы и цветы воспринимаются как эманация душевных движений героя, как продуцированный его потрясенным воображением мир.

Пластическая система Врубеля неотделима и от символизма. Но важно то, что в глубинных, понятийных слоях творчества он прикасается к нравственным проблемам, поставленным некогда Достоевским. Как и герои писателя, герой Врубеля замкнут в пространстве, созданном собственным воображением; авторская интонация словно заглушается интонацией персонажа. У Достоевского, как известно, именно голос, интонация героя становится той плотью прозы, которая порою куда как материальнее самого персонажа; плоть мыслей так часто соседствует с эфемерностью действующих лиц, что, чудится, она одна только и делает их реальными. Истина, тем более нравственная истина, становится достоянием суждения, а не следствием факта. Здесь близость Врубеля к Достоевскому, да и к Канту достаточно очевидна; достаточно вспомнить слова философа: "...Истинную возвышенность надо искать только в душе того, кто высказывает суждение, а не в объекте природы, суждение о котором дает повод для такого расположения у него"<sup>13</sup>.

Гипертрофированная духовность, сверхчеловеческая страстность героев Достоевского, принимающая в себя напряженнейшую душевную жизнь своего создателя, явление безусловно близкое нравственной жизни Врубеля и его персонажей. Ведь именно страстность роднит столь многообразных, сильных и слабых, добрых и коварных персонажей Достоевского. Они непреклонны в служении одной - пусть сто раз несправедливой, запутанной, самоуничтожающейся - идее. Одна страстность и только она роднит антиподов - братьев Карамазовых, страстность и фанатизм объединяет Мышкина и Рогожина, страсть изначально определяет нравственную структуру Демона. И это не романтическая мятежная страсть лермонтовской поэмы, это испепеляющая, неизживаемая страсть-страдание, приводящая к мучительной изолированности, к веригам полного одиночества. Таков Демон Врубеля, тем близок он и персонажам Достоевского.

И у писателя, и у художника напряженность и точность художественной формы, невиданно глубокое проникновение в душевные движения человека сочетаются с трагическим диссонансом между масштабом замысла и невозможностью его окончательной реализации. Разумеется, это не было феноменом лишь конца столетия, достаточно вспомнить трагедию "Мертвых душ", незавершенный, в сущности, замысел "Явления Христа народу". Но рубеж веков привносит в эту художественную драму отенок фатальной неизбежности: о слишком острую грань столетий ломались замыслы гигантских произведений; монументальная форма так и не дождалась полно-



Голова Демона.  
Иллюстрация к поэме М.Ю.Лермонтова "Демон".

ной душевной напряженностью силы, сумрачная красота отторгнутого от обычного мира героя, уделом которого стало лишь любованье замкнутым царством собственной души, расколотое сознание, безлюбная гордыня - все это присуще врубелевскому Демону ("Демон сидящий", 1890, ГТГ). Подобно героям Достоевского он не есть изначально носитель зла. Он - "падший ангел", ему ведомо, как никому, великое добро, он, как и Раскольников, не рад своей власти, он ощущает ее как проклятье.

Предвижу возражение: почему образ, прямо вырастающий (во всяком случае сюжетно) из поэмы Лермонтова, столь произвольно толкуется как нечто родственное Достоевскому, нет ли здесь натужной модернизации, авторского произвола?

Ответом может служить то несомненное обстоятельство, что живопись Врубеля бесконечно далека от романтической поэмы Лермонтова. Когда же в графических иллюстрациях Врубель реально приближается к тексту поэмы, он нередко терпит неудачу (при всем блеске своего филигранного мастерства), создавая рядом с великолепными вещами работы почти салонного толка. В иллюстрациях нет ни философского наполнения, ни того душевного кризиса, который несомненно становится одним из главных предметов художественного исследования рубежа веков.

Нет нужды повторять, что Врубель не следовал, да и не мог следовать за Достоевским, вся художественная система которого была ему - утонченному адепту классики и одному из создателей символизма в живописи - достаточно чужда. Но

плоть Демона (бесплотного духа) рождается по тем же таинственным законам, что и придуманные Врубелем невиданные цветы, она создана из ж и в о п и с и, и автор не скрывает, но подчеркивает это. Лицо Демона возникает в переплетении мазков и пятен, все это мерцает, переливается, рядом с темной тенью, а то и внутри нее светятся, как далекие звезды, огненно лиловые микроскопические всполохи; и сама поверхность холста вибрирует, будто дышит. Живопись не растворяется в ею созданных предметах. Она сама, на равных с этими предметами правах, живет на полотне.

Здесь возникают прямые ассоциативные связи со стилистикой Достоевского.

Фактура словесной ткани писателя тоже нередко "отчуждается" от изображаемого события, сохраняет самодостаточное бытие, рождая у читателя тревожный подсознательный ассоциативный ряд, не связанный с конкретным рассказом. И подобно тому как нежданные ритмические сдвиги и продуманные стилистические диссонансы создают второй и порою главный драматический план в спокойно описываемом событии, сложная синкопированная структура светящихся кристаллоподобных мазков Врубеля создает некий параллельный предметному изображению мир, бросающий особый драматический ответ на изображаемую им реальность.

Теоретики символизма утверждали, что он, символизм, "делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным". (Мережковский)<sup>2</sup>. Но корни пластической системы Врубеля соприка-

ценного и окончательного поглощения вспомним и "Возмездие" А. Блока.

Вслед за Достоевским Врубель был носителем и выразителем определенной "моноидеи", претворенной в разноликих, противоборствующих, но всегда выступающих во имя этой идеи образах. Как и Достоевский, Врубель мечтал реализовать в одном в великом произведении смысл всей своей творческой деятельности, свести воедино образы-поиски своего Демона. Ведь ни один из холстов демониады не писался как вполне окончательный, впереди всегда оставалась призрачно грандиозная, обманчиво достижимая цель. И на пути к ней создавались шедевры, ни один из которых не стал тем, о чем мечтал художник. Шедевры, отмеченные болью невысказанности, неизжитой, нереализованной страстью.

Достоевский не написал "Житие великого грешника".

Врубель не написал главного и великого Демона.

Но Достоевский в силу своего гения превращал каждую ступень к "Житию" в совершенное произведение. Врубель не был способен на подобное. Лишь ранний "Демон сидящий" существует автономно и цельно. Но ведь и об этой картине сам художник судил как лишь о начале: "Вот уж с месяца пишу я Демона. Т.е. не мону-ментального Демона, которого напишу еще со временем, а "демоническое"<sup>4</sup>.

Подобно Достоевскому, Врубель видел свою цель в достижении некоего нравственного абсолюта, тщился не только выразить свою "моноидею", но и стать ее летописцем.

"Он (Достоевский) писал не романы с идеей, не философские романы во вкусе XVIII века, но романы об идее. Подобно тому как центральным объектом для других романистов могло служить приключение, анекдот, психологический тип, бытовая или историческая картина, для него таким объектом была "идея", - писал Б.Энгельгарт, утверждая далее, что "Достоевский ставил и решал в своих романах прежде и больше всего чисто художественные проблемы. Только материал у него был очень своеобразный: его героиней была идея"<sup>5</sup>. В значительной мере это относится и к Врубелю.

Бахтин доказал, что персонажи Достоевского суть - в большой мере - носители авторского сознания и в еще большей мере адепты, хулители, аналитики или ниспровергатели все той же "моноидеи". При всем многоголосии писателя "он перенес автора и рассказчика со всей совокупностью их точек зрения и даваемых им описаний, характеристик и определенных Героя в кругозор самого героя, и этим завершенную целостную действительность его он превратил в материал его самосознания"<sup>6</sup>.

То, что в литературе естественным образом происходит в сознании и поступках множества людей, находит аналог в такой живописи, где, - если опять-таки речь идет о романе об идее, - персонаж один или почти один. Ведь единичность идеи, перенесенной в сознание человека, пластически реализуется скорее всего именно в однофигурной композиции. "Мы видим не кто он есть, а как он осознает себя, наше художественное видение оказывается уже не перед действительностью героя, а перед чистой функцией осознания им этой действительности"<sup>7</sup>.

И в самом деле - у Врубеля лучшие его вещи, несущие главное в его творчестве, однофигурны. Это и "Демоны", и "Девочка на фоне персидского ковра",

и "Пан", и "Сирень" и другие. Без всякого сомнения "моноидеи" и поразительный портрет Саввы Ивановича Мамонтова, человека, напоминающего на врубелевском полотне кондотьеров средневековья - бешеным темпераментом, душевным могуществом, свободой бушующего интеллекта.

"Здоровье и сила, радикальный пессимизм и пламенная вера в искупление, жажда жизни и жажда смерти - все это борется здесь никогда не разрешающейся борьбой"<sup>8</sup>. Эти слова немецкого исследователя, написанные в 1920-е годы о Достоевском, вполне приложимы и к Врубелю.

Здесь важны два аспекта: во-первых, способность (впервые в русской живописи) к созданию концентрированного, философско-мифологического, почти агрессивно выразительного образа; во-вторых (что тоже обращает нашу мысль к Достоевскому), умение создать "великое противостояние" между персонажами и внутри человеческих сердец. Столкновение противоборствующих начал, воспринимаемое как внутренняя катастрофа человека, как раздвоение, как, наконец, тема двойника - все это относится к корневой системе и писателя, и художника.

"Двойничество" - любимое дитя романтизма, блистательно реализованное Гофманом, достигает грозной силы у Гете, а "сумрачный германский гений" был бесконечно близок Врубелю и далеко не чужд Достоевскому. Вспомним о мнимой "двойственности" знаменитых кантовских антиномий. Вспомним о стремлении Врубеля к истинному европеизму, так перекликающемуся со словами Версилова из "Подростка" о том, что русский становится "наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец"<sup>9</sup>. Раздвоение - оно возникает во врубелевских работах еще в пору юности, когда он пишет себя некрасивым и даже забавным, неуклюжим Гамлетом, усмешливо глядящим со стороны на собственную личину. Он отдавал дань русскому гамлетизму, он, как и герои Достоевского, знал цену молчанию могилы и простору жизни. Он потом писал Фауста и Мефистофеля; и разве случайно, что, изобразив единственный раз Мефистофеля одного, он изображает его в одежде Фауста, лицедействующего перед учеником.

И когда пишет он Пророка или Серафима, он ищет антитезу Демону, но антитеза эта не приходит извне, она брезжила всегда в самой глубине проклятой Богом души Демона. Гамлетовский спор: простор - могила, столь близкий Достоевскому, перекликается со спором с судьбой Демона, который, тщаь раствориться в небе, падает на землю.

Для врубелевского "Демона поверженного" (1902, ГТГ) падение не означает физической гибели. Крушение надежд на обретение человеческого счастья оборачивается полной потерей физического и нравственного "я".

Он сохранил способность лишь к безмерному страданию, вернулся к полному одиночеству. Как далеко это от лермонтовского героя, что остался "Один, как прежде, во вселенной! Без упования и любви".

Врубелевский Демон возвращается на землю, замкнутую горами, землю, ставшую могилой его феерической красоты и обителью вечно длящейся, ненужной жизни.

Страдания героев Достоевского и Врубеля близки. Исход - различен.

Более всего и прежде всего потому,

что Врубель, наделяя своих героев сверхчеловеческой страстностью и почти болезненной духовностью, обделяет их любовью. Само искусство его часто чудится безлюбовным. Герои Достоевского - и через них сам автор - находят катарсис в любви и доброте. Прорыв живописи к новым выразительным средствам был драматичен, чреват потерями, нравственным кризисом художника.

В этой странной и неведомой ни писателю, ни художнику подспудной взаимосвязи нет ничего исключительного. Подобных связей много, все переплетено в едином потоке культуры. Движение науки не в открытии схожего, но в необходимости осознания искусства как общего процесса, где ничто не изолировано, где уже невозможно изучать какое-либо явление вне тщательно анализируемого контекста.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup>Переписка И.Н.Крамского. Т.1; М., 1953, с.278.
- <sup>2</sup>Д.С.Мережковский. Полное собрание сочинений. Т.ХУ, СПб-М., 1912, с.249.
- <sup>3</sup>И.Кант. Собрание сочинений. Т.5, М., 1966, с. 263
- <sup>4</sup>М.А.Врубель. Переписка, воспоминания о художнике. Л., 1976, с. 55-56.
- <sup>5</sup>Б.В.Энгельгарт. Идеологический роман Достоевского. В кн. Ф.М.Достоевский. Статьи и материалы. Сборник П. М., -Л., 1924, с. 90.
- <sup>6</sup>М.М.Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979, с. 56.
- <sup>7</sup>Там же.
- <sup>8</sup>О.Кlaus. Dostoewski und sein Schicksaal. Berlin, 1929, s. 36
- <sup>9</sup>Ф.М.Достоевский. Полное собрание сочинений. Т. 13, Л., 1975, с. 377.

Ляля. Эскиз витража.



**М**оя цель - показать главные этапы и грани моего развития, которое шло от встречи с большим искусством, и токи, идущие от природы искусства и властно влекущие в жизнь. Только в этом я вижу ценность моей биографии, а не в перечислении случайностей <...> моей жизни.

\* \* \*

...Мать просит меня, семилетнего малыша, сходить под гору на родничок с большим хрустальным графином, принести свежей воды. Я с большим удовольствием иду под

Вспоминаю одно из ранних впечатлений от касания к большому искусству. Это была византийская икона Христа в церкви.

Сидя на руках у матери, я все смотрел на этот скромный образ с непомерно большими глазами и тихонько сказал матери: "У него глаза, как у нашей Буренки".

Оскорбленная в своих религиозных чувствах мать зло цыкнула на меня и, выйдя из церкви, продолжала бранить.

Я ничего не понимал в ее раздражении и горько плакал. Мне так нравились глаза Буренки на большой иконе.

\* \* \*

... Никакое нарушение воли и свободы не проходит безнаказанно даже самому

## Михаил МАТЮШИН

В течение всей большой жизни я постоянно с ними сталкиваюсь, не понимая их природы и значения, я удивляюсь их необъятной силе.

\* \* \*

Большой радостью было по утрам забираться на репетицию симфонического оркестра. Я испытываю блаженное состояние погруженности в музыку до беспредельности. Часто мне встречались неожиданные, неслыханные формы. Героическая симфония Бетховена с ее

мощью вступления, развитием главной и побочных тем представляли для меня новую страну звуков. Сочная красочность "Мадридской ночи" пьянила как рюмка вина. Я вырастаю на этих концертах. Так я услышал впервые симфонии Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Вагнера, Сен-

Санса - одним словом, классиков и современных композиторов. Это слушание формировало мой талант и интеллект.

Я помню очарование синтеза звучания и цветности, соединявшееся в одно необыкновенное целое. Я не мог дать себе отчета, но чувствовал его и радовался то разъединяя, то совмещая без конца. Я садился где-нибудь и смотрел, слушая что-либо интересное. Особенно я любил, слушая, смотреть в окно или на огромную люстру, в амбразуре верхнего света. Помню необычайно красивые тона - то оранжевый, синий, то ярко светло-зеленый в хрустальных гранях люстры. Соединяясь со звуками "Неоконченной симфонии" Шуберта, это было превосходимо блаженно. Я чувствовал, что это только там, где звучит и светит эта радость, от них идет это счастье. И мне было трудно расстаться, когда это кончалось в музыке и цвет бледнел, форма окна или колонны как будто сиротели.

Этот первый синтез звука и света залег в меня. Впоследствии я много думал об этом и делал опыты. Мне кажется, что искусство обязательно будет синтетическим. Только оно может сделать людей по-настоящему счастливыми, радостно берущими и отдающими в творчестве.

\* \* \*

Зимой 1910 года я был у Щукина в Москве, и он показывал мне в комнате "сомнительных" Пикассо и другого испанца Зулоаги.

Это старое академическое искусство (Зулоаги) и новое (Пикассо) так были контрастны, что я от изумления перескакивал от одного к другому и наконец устался на Пикассо и не мог оторваться от него. Щукин говорил мне, что этот молодой художник у него на испытании и поэтому висит тут.

Я еще раз посмотрел на Пикассо и, пораженный своеобразной силой трактовки цвета целыми планами, сказал Щукину, что впоследствии это будет один из самых интересных художников собрания. И действительно, через год у Щукина была уже целая комната работ Пикассо.

# "ОПЫТ ХУДОЖНИКА НОВОЙ МЕРЫ..."

ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ "ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ХУДОЖНИКА"

гору к Волге. Чудесный родничок бьет из горы чистой, как кристалл, водой. На этот раз он не бьет, а дает воду мелкой каплей и я, подставив кувшин, сажусь и жду.

Я постепенно погружаюсь в ни с чем не сравнимое блаженство перехода всего моего существа в природу. Я сижу в белой рубашке, солнце ее делает ослепительной, и я сам как бы часть солнечного луча.

Надо мной поют скворцы, жаворонки. Передо мной - косогор с просвечивающей от солнца травой, спокойно проходит и проносит все широкая, светлая, могучая река. Я весь в этой очаровательной раннелетней реальности и, в то же время, как бы вижу сон наяву. А хрустальные капли звучат так дивно музыкально, что весь этот сложный комплекс ощущений переполняет мое восприятие и я еле замечаю, что вода уже бежит через край. Я с трудом отрываюсь и несущее счастье, открытое в себе, и чудесную воду горы.

Я часто бегал на набережную Волги и с большой высоты откоса <...> подолгу смотрел на реку, сидел, читал, думал. Раз, возвращаясь вечером из сада домой, я повернулся лицом в сторону ярмарки и был поражен красотой неба. Я помню мое состояние завороченности горячими тонами заката. Я долго смотрел на угасавший розовый свет. Меня тянуло полететь за исчезающим светом. Это томительное глубокое очарование красотой природы осталось во мне на всю жизнь. И впоследствии я нередко испытывал это стремление полететь, догнать исчезающий розовый свет уходящего солнца.

\* \* \*

...Творчество - это собранность интеллектуальных и физических способностей человека в одном усилии воли и толчке, порождающем наибольшую ценность из всего, что существо способно произвести. Это определение творчества подтверждается для меня радостью тех, кто может и способен, и усталостью и нежеланием неспособных.

\* \* \*

Я учился смотреть сделанное - рисунки, лубки, картины и считаю это самым важным и серьезным делом в детстве.

совершенному искусству. Мы начинаем ненавидеть пленивший нас канон, чтобы освободиться от плена готовой формы в борьбе за новую красоту реальной жизни.

Я много ходил по музеям и выставкам, очень много смотрел, наблюдал, делал копии с лучших образцов Эрмитажа и Русского музея. Я убедился, что живой образ природы постепенно переходит в абстрактный канон готовых форм, не покрывающих живой сути наблюдаемой реальности. Мои сомнения подтверждались замечаниями близких мне художников. Помню, например, какое впечатление на меня произвела резкая критика Н., который, издаваясь над сухой манерностью разбираемого портрета, определил его "византийской ноздрей".

Протест против канона, не проверенного живым наблюдением, заставил возненавидеть и сами образцы.

В период футуризма мы готовы были уничтожить, разбить все классические произведения, так надоедливо заглушавшие и вытравливающие всякое живое отношение к натуре. Но особенно мы протестовали против академической учебы, против натурщика, стоявшего в Академии художеств всю жизнь в трех позах: Аполлона, Юлия Цезаря, Цицерона.

Венецианов - живой пример русского "реалиста", давшего греческого мужика. Его крестьянки - это Гебы и Юноны, все очень прилично одетые, хорошо вымытые и причесанные, чтобы не испугать русского помещика "подлым хамом".

И даже "импрессионист" Иванов старался запихать Христа в лик Аполлона.

В моей биографии лежит совершенно новое понятие о встрече художника с чем-либо впервые поражающем его воображение. Эти моменты, останавливающие целиком на себе внимание художника, я называю "шоками".

Шок, толчок, происходящий от необыкновенного явления и зарождающий творческий акт в интеллекте человека, может выразиться во времени гораздо позднее. Это почти безразлично. Важен сам акт встречи-удара, овладевающего всем существом человека.

Я о м о но в  
в и ску в е, о  
д с. ся ь о ма-  
р . Я са с ю " ма-  
о а ново м р  
з с р ьно ск сс а  
п д р с о ок е е  
с в соз о вое е  
с рисую ову  
не св ы м в о .  
м ов зме гла , н ,  
у , е от о к о ча-  
с но.  
ре гол л н ц о и ую  
св гл п н  
пе во с е ет, не-  
емо те с зь. к -  
и с зь е с е т е е от  
о , ссказ е ла о  
з а.  
е м б р н д - перв , по  
перпе у ру гл с сво глаз  
е в о и е -  
ко ох ет и ет во , с зы  
все в . ну е не ает сне-  
а-гл и с ет е скр я.  
во ух впе , в с -  
охва в в н шом, д ом ему  
ме , т о с уя в с шую  
с зи в с е ой.  
удо и в е с , о в в -  
ен до сию п пе о с -  
и охнов , все а б м е -  
ды.  
е с к но смо л м, д -  
и с ис р к а гл ом е -  
д , е ч ове е а гл ом .  
В о , о с по но о е и  
з с зис с е и окр  
е ем. ед щ во е -  
и до о -  
е с и , ч с рж й,  
сво  
еде м.  
о е б п он с -  
он всех смо . о е  
и о , худо и по аз то, е  
не в до ож люде  
с о . н показ тч овеку е  
во нов зв ся гла , з-  
в о е я , к р , все не и -  
з ч ет ова тому, че не е  
ч в повсе ев и ему от -  
о но пока о, а по м не -  
е о ч ет сч сво .  
чась смо и , ч ове-  
ч к о о омд о  
к и ко ми н у  
ервы св е юда и- удож-  
и арбизонцы вы во х.  
п е, вл у, у е-о б иох е  
о ь . ь о вперв е по и  
ош у с рых о ов, со в  
кор о в .  
м прессионисты с и  
ла . гла ш к о,  
о о ы и нов е ,  
о не уд ь р глаз,  
ов ме о а ю ю ь.  
в о. б ю по хн , а не  
е иск ем выс е сп пе да  
с товы в а п о у не мо ли и-  
и п у , мо , с  
о а во е ме е-  
а сп астанн гла ока ся  
не  
"пери р " о а в  
у не н-о . е о с й  
н то л, еб сь в е ом в -

тор .Подз омв ой м но и  
в со р и пе даче а.  
Перв , в  
езанн. н ев не -  
о с а гла м, но и в п е с -  
с но, т е о ч ове ко -  
о " , о не ме о е  
о де .  
перв е к сь в кие е  
е о и п с аз е с ем гла-  
зу, и он, ко о в , п  
о е л перпе у це  
в все су во связи.  
По у а в и высо о а-  
ид см , о охва  
сто вверх, в , и в  
е к , то ак в ч е  
о ка сь и. е око а но  
сша п ие и  
ь д у пе пе -  
вок. мо ет нс ис ся, в , о  
уне не е не сва-  
ненорм н ла , в ь  
едс ием нов ов см . о,  
в о мой - у м е к  
в м, ст ет кр й, и д ен-  
ной в конечн .  
П о ов ме о с Се о , -  
чевск и п л и пе все  
и в а.  
е к у я  
з и ари с у ас и т и -  
порази ельно прекрасны При всей  
пассивности чувствуется вел олепн  
с все т а.  
ск ев е е  
се с о д но первом м .  
ка нск ф ис в в -  
ат ьно экс сс внешне дв е-  
н х н нове е е  
н к ы, м и, абр и и  
у с м в - т ь о н х -  
мы пе к ис ому в ему  
вер е о е .  
ене у ов в все  
в о т хо ове е х  
в. е но, ы вы  
е в х ь с е .  
Ст м , е о тся е  
, по зу ув е е дом  
в юч н . е пе в дома и  
н , в ч е до к у  
е н . в е е о ов ме  
хо ко в е удно, но это  
дает неб в о у е ш ко  
с с .  
сте и ф с я одно ,  
вы о у аете д ом, ко ор е  
увс уе о . о п  
е в в соз п н ю все,  
о ры ет а с е а . и в п е  
ше с к о р ерь, а с  
дру - о но, , св , -  
ше е и соз е по , о е  
- пе выс о п ув-  
с уе , к ы ка а с е - к ы  
в о я , о ру-  
же в , екокр  
с .  
не уд ь не е: в  
е по ому о м , с з  
р к мо но нс в -  
ь пе , мо но  
н р ись р й ,  
уве о см р пе с , с е все  
в с о в е -  
се кр м н ем впечатле е  
в .  
у ясно с се е, о  
о а с ой: не , у , дома.  
у е мне ч хоже и  
с ь ясно е ом , ор  
е е и в. ер а рдо е  
кр в в ечатле е, с ьш в ев  
с ием к ему, ет с с е

е . о к о  
ц о , ико ону е ою, не пок  
е и к в уе , е уве о  
, не сь, в с зис у е  
а . р м я ста ь е  
в ат нов е все впе ме .  
Я по , о с репа но е  
ер не ер о сша , с и-  
, од но о ч у, о с-  
ло н лово да я ис , -  
кр во он с с ме о , -  
е .  
ст , споко о  
де схо е сто н в ц ом, и сн  
п с ов и по у от е -  
о е е-линию наз .  
ервый во б , а не д  
ли я л , у у пе до  
ет ясноч , не ,  
а со ор нов е е, б ш е  
со ем не в .  
а о ме впе дв оне -  
н , м в по р ла соз е, со  
но е е л ва о -  
во о сто .  
о о о "вперед" яв ,  
к у ед е кул у е о  
о , но "впе ед" и "на за  
о ов ме о еще не п ь вч -  
ческом соз и то п ому, оч о  
сво т ом о с пор д ом  
л с п ер ед и - на з ,  
д л с в со в .  
Я ож тот д , со -  
е е, о ую квоз ме  
о , оз е п е и , мо  
ска , о з е п е и и  
по ем по- шему з че г .  
лаз у в к пе  
с , в ев  
п . лаз в и чу ует с е  
п у шарие. з к удь с -  
це с у й сто о по мать,  
он и в у сто све и п а т  
л и. о кру , но ешь  
у ко до е с .  
е н о е уд  
в он е ся, м е дер сь,  
м н т о ч вств ьно е е ,  
о ход к ы пока ае я, с -  
щ е а у п ов. е о ск е  
м ой пове х . е удови е  
м е о сь, то в с , с  
д сь. це мы по а не а-  
о д е , о  
ве хн до азва , о с  
и о е ше ор . е р а ша  
св в во у но . Все  
т ст ет ума , о по е  
ется от н .  
ве сис м е а  
кас е е ож и не-  
нове о.  
п л , с о п  
но ом в и ь от вы ша , -  
м й с ем - и. он  
е держа в с пов -  
сь, я  
о пово е я ,  
ухо от с , исхо до  
хо е шо ма че м .  
е к ы с я в це  
м е о не по уж ется.  
и с ет ко и се е  
ие от сво в ьх це в с  
ст т о и конечно в  
с с о вокруг.  
При о е т с че з  
, оно е с з о е а  
а етс я и хо о и -



Видимое небо - не пустое пространство, а самое живое тело мира, плотности которого мы только не чувствуем. Земля и солнце только светящиеся точки огромного тела. Земная орбита не след движения тела, а самое тело земли.

\* \* \*

Летом мы всей мастерской выезжали на дачу и до глубокой осени работали на природе. Замечательно, что художники, поняв невозможность копировать природу, ушли от нее. А она только и может дать новое чувство пространства. У нее можно учиться творчеству, не копировать, но и не отворачиваться, и она даст чудный материал.

Когда выходишь на открытое место и пробуешь окружить себя пространством, привычный образ видимости сдвигается. Все видимые поверхности становятся плоскими, давая простор глазу. Все вертикальные стоящие объекты - дома, деревья, горы - выявляются как части той же огромной поверхности земли, только двинутой кверху. Отсюда искание нового перпендикуляра, пространственно неперспективного по-прежнему, а направленного на нас, как острые копы. Такой вертикал - победа!

Мы старались найти способ передать в пейзаже на плоскости то, что небо не кончается на горизонте, а идет прямо на меня и на горизонте так же высоко, как и над головой. Найти образ наполненности и непрерывности пространства. Ведь когда мы идем в поле или в лесу, обаяние природы идет от того, что она наполнена со всех сторон. Нельзя поэтому передать видимое, ограничиваясь точкой зрения вперед.

Если стоишь на широком поле и спокойно смотришь кругом на поверхность земли, можно заметить цвет в общности всей формы. Все кругом спокойно укладывается в плоскость.

Подняв взор на высоту 50-60 градусов и понемногу поворачиваясь, охватываешь все пространство неба, очень целостно наблюдая движение облаков или всей глубины синевы. Сразу переводя глаза на землю, видишь один ярко оранжевый цвет поверхности, земля начинает казаться выступом, в центре которого находишься и с которым вместе как бы влетаешь в небо. Сверху же глубина как бы несется страшно быстро прямыми ударами в землю и сквозь нее. Облака и кроны деревьев кажутся только цветом красивым, слегка поднимающимся покровом над землей. Отчетливо чувствуешь два движения: небо, входящее в землю, и земля, несущаяся в небо.

Как бы уничтожается пространство перед и за собой, а появляется одно неделимое целое, в котором нет сторон и направлений, а есть одно ощущение органической глубины.

Однако это живой объем, и в то же время можно сказать, что облака в отношении к земле лишь пленка, гигантская плоскость, охватывающая поверхность земли.

Почти всякий известный нам объем мы можем разложить на плоскости. Это не значит, что нет разницы между плоскостью и объемом, но наше сознание выделяет самое существенное в определении наблюдаемого и, особенно, в определении взаимоотношений вещей.

Человеческая жизнь - поденок в отношении седой земли, но все они, земля, человек, поденок - равнозначно полно завершают свой круг.

Когда я стою на берегу открытого моря, я особенно сильно испытываю ощущение плоскости водного пространства, если за моей спиной высокий лес.

Лежа на пригорке и смотря вверх по деревьям, и переводя глаза в даль к морю,

начинаешь понимать всю силу выпирающего движения деревьев вверх к мощной горизонтальной земли и моря.

Если мое сознание точка и я посылаю его разом вперед, вправо и влево, то я могу быть центром, определяющим, принимающим и фиксирующим пространственные ощущения со всех сторон.

Большая радость быть на природе. Так хорошо и тихо. Широко бесконечно. Раскидисто. Земля и небо - одно. Соединились, как соединяются положительное и отрицательное электричество. Так хорошо и полно. Хочется начать работу о бесформии и безритмии, вне плоскостного приема глаза. Чувствую световой, а не формовой объем. Но как выразить?! Я убедился, что художники ошибались, когда искали форму в копировании природы. Надо каждому найти в самом себе форму выражения, свой прием, свой способ техники передачи.

Какую огромную возможность дает наш новый подход при широком наблюдении на натуре. Нельзя забывать, что включенность события в картину только знак энергии, никогда не укладываемой в картину. Это подобно сгоранию в машине - семьдесят процентов уходит, бесследно исчезая и не вкладываясь в работу. Разница с машиной в том, что человек эту энергию не теряет. Задуманное не исчезает, а делается материалом будущей культуры.

Идея широкой связи всего сущего, видимого для меня как художника, подтверждается и в науке. Художник, смотря в точку, старался через простое первичное наблюдение перейти к сложному и общему. С огромным трудом и страданием подбирался и теперь подбирается через заросли предметности и вещей или отвлеченных идей. В начале кубизма есть постижение в новом широком охвате видимого, затем кубизм - отвлеченная живописная идея, философствующая на полотнах о "беспредметном". В науке ищут и нащупывают общую связь через органическое понимание вселенной. А в начале наука шла тем же путем опытного нащупывания предметного мира. Дошла до совершенства в этом и смогла оторваться для более или менее широкого обобщения.

В науке так же, как и в искусстве, нельзя переходить без нужды в "философию беспредметности". Соблазнительно мечтать, не работая и не наблюдая - это уход в отдаленное. А только работой находится правда. Когда художник, поэт, изобретатель отказывается от условности изображения и утверждает свое, новое, достигнутое в сложном процессе наблюдения и проверки - это не есть отказ от предметного, это отказ от многих несуществующих и несостоятельных уже по времени накопленных и подробностей, изменившихся при полной изношенности изначальную суть предмета, образа. Коли мы сдерем со старика нищего его жалкие лохмотья, то увидим простое человеческое чудесное тело, которое мы постоянно проглядываем за накопившимися на нем лохмотьями. А разве не обрастают все наши представления красотой и лохмотьями отстающего сознания? Многие из нас ищут и требуют эту красоту и лохмы, как обязательный признак предмета, забывая о самом теле, хоть и старом, но от которого уже побежали во все стороны живые новые молодые тела.

Коллектив зрителя никогда не признает сразу последний момент выявления художника. Так было с Врубелем, Левитаном, Серовым и многими другими. Осваивая постоянно новый образ видимого, зритель признает новую культуру зрительного.

\* \* \*

Замечательный день. Солнце так светило. Я шел через реку по льду на Каменный остров. Воздух ровный, свежий, как след лыжников.

На Каменном освещен уходящим солнцем дом.

Откуда такое ощущение счастья и красоты от солнечного луча на лице?! Я не понимаю, но наслаждаюсь. Это тепло, как первая любовь в сердце. Это трудно долго переносить. Хочешь кому-то передать это дорогое, чтобы можно было еще больше взять, или как будто хочешь проснуться к новой, светлой, прекрасной жизни. Это так хорошо. Отчего не все это видят. Я понял, что если художник может передать подобное, запечатлевая, продлить жизнь этого момента и дать его людям, то они радуются тому, чего не могли увидеть сами. Они еще более растягивают этот момент.

В моем искании в искусстве есть раннее младенчество момента.

Всем последователям и зрителям хочется быть взрослыми. А потому я один, и должно быть так и всегда - ранняя находка требует долгой переоценки, как бы ни была высока по существу ее ценность.

\* \* \*

Попросил показать Христа Гольбейна.

Христос, если бы он существовал, страшно бы смеялся над теми, кто сказал, что он воскреснет во плоти. Это было бы великим преступлением против жизни, ее порядок изменения неизбежен для всех. Закон изменности жизни есть великий и непреложный закон. Христос, побеждая смерть в идеале, сделал это в совершенстве. Он понимал, что нет границ рождения и смерти, это только веки.

Кто посмотрит рисунок Гольбейна "Мертвый Христос", тот поймет, какую огромную трещину в каноническом христианстве показал Гольбейн. Рисунок показывает ясно и четко полную невозможность возврата плоти к жизни. Такой воскреснуть не может. Закон изменности вступил в полную силу.

14 октября 1934 г.

Мы должны изменить все, организовав своим творчеством жизнь. А смерть - это закон природы. Но и здесь мы многое можем изменить в жизнь, а не в смерть...<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Умер 14 октября 1934 года, запись найдена в день похорон в записной книжке.

**В** одном из писем Павел Филонов назвал Михаила Матюшина "человеком нового искусства". Характеристика оказалась точной, поскольку дело его жизни трудно ограничить только рамками непосредственной творческой практики. С именем Михаила Матюшина - музыканта, композитора, живописца, теоретика, педагога - связаны самые значительные события в истории русского авангарда. Выставки, диспуты и сборники общества "Союз молодежи", издательство "Журавль", выпустившее ряд книг со стихами, статьями и рисунками

## О МИХАИЛЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ МАТЮШИНЕ

В.Хлебникова, Е.Гуро, А.Крученых, К.Малеви́ча, постановка первой футуристической оперы "Победа над Солнцем", легендарный ГИНХУК... Все это веки его биографии и биографии отечественного авангарда. Дом на Песочной улице, в котором в 1912 году Матюшин поселился вместе с женой - поэтессой и художником Е.Гуро, на долгие годы стал средоточием литературно-художественной жизни Петербурга-Петрограда-Ленинграда. Здесь бывали В.Маяковский, В.Хлебников, А.Крученых, братья Бурулюки, В.Каменский, П.Филонов, К.Малевич, многочисленные ученики Матюшина по Академии художеств и Институту художественной культуры.

В русском авангарде сложилось несколько целостных персональных систем мировосприятия и формообразования, вокруг создателей которых группировались последователи и почитатели. Одна из таких систем была представлена творческой практикой и исследовательской деятельностью Михаила Матюшина. Предложенная им художественная картина мира значительно отличалась от возросших на кубистическом эксперименте концепций К.Малевича и В.Татлина, чей творческий потенциал был использован культурой XX века едва ли не до полного исчерпания и разочарования. Возможно, именно сегодня пришла пора востребовать менее известный опыт Михаила Матюшина, мастера, который, по его собственным словам, "первый поднял знак возврата к природе". Система Матюшина основывалась на принципе "расширенного смотрения", то есть такой установке глаза, при которой работает не только направленно-избирательное, но и периферийное зрение, а художник способен окружить себя пространством со всех сторон, способен видеть не только перед собой, но и вокруг себя. Режим "расширенного смотрения" изменял цветовые ощущения: между цветом среды и цветом предмета появлялся некий третий - "сцепляющий" - цвет. Он гармонизировал и "очищал" цветовые отношения, повышал пространственную емкость цвета, усиливал цветовую динамику. Кроме "расширенного" Матюшин ввел еще и понятие "дополнительного" смотрения, считая, что в процессе зрительного восприятия помимо глазного аппарата участвует вся нервно-мозговая система человека. Подобные воззрения составили суть матюшинской педагогики, дав-

шей отечественному искусству целую плеяду замечательных мастеров (среди них - Борис, Мария, Ксения Эндеры, Елизавета Астафьева, Евгения Магарил, Ирина Вальтер, Валида Делакроа, Елена Хмелевская, Николай Костров и др.). В художественную жизнь эти идеи вошли с девизом ЗОР-ВЕД (от слов "зор" и "ведать"), символизирувавшим единство в новом методе наблюдения данных, полученных при помощи зрения и других органов чувств, с опытом памяти и предшествующих восприятий (под этим "флагом" Матюшин и его ученики приняли в 1923 году участие в петроградской "Выставке всех направлений").

Речь, по Матюшину, шла о "физиологической перемене прежнего способа наблюдения". Результат, при этом полученный, Матюшин назвал "пространственным реализмом" (так же, как и свою мастерскую в Академии художеств, которой руководил с 1918 по 1926 годы). Действительно, именно пространство - живое, наполненное, с распахнутым горизонтом, со свободным кружением форм и цветовых потоков - является главным героем его произведений 1910-х - 1920-х гг. Если у Малевича само пространство отвердевает, становясь формой, а отношения между большими и малыми формами жестко закреплены, иерархичны ("Система холодная, твердая, без улыбки, приводится в движение философской мыслью", - разъяснял он), то у Матюшина, напротив, форма насыщается пространством, предметные связи открыты, изменчивы. Его система "приводится в движение" не разумом, но чувственным импульсом. Здесь важны не мысль, не идея, но взгляд, звук, касание. Здесь всегда есть место "улыбке" - непосредственному впечатлению.

Проблемой психофизиологии зрительного восприятия, цветопространственными закономерностями М.Матюшин вместе с соратниками и учениками занимался в ГИНХУКе (1923 - 1926) и ГИИИ (1927-1929). В ГИНХУКе он руководил отделом органической культуры. Органическую культуру Матюшин определял как "всестороннее развитие воспринимающих способностей человека", и это понятие было для него важнейшим. Задача органической культуры, - читаем в документах ГИНХУКа, - "развитие целого организма: 1) усиленным упражнением всей воспринимающей системы органов: осязания, слуха, зрения; 2) мощным разворотом центрального органа - мозга - в постоянных упражнениях одновременно всех органов восприятия".

Жизнетворческие устремления, свойственные русскому авангарду, здесь предельно конкретизированы, сведены к очевидному. Речь идет о воздействии на человеческую природу, об изменении самой человеческой "физиологии".

В 1933 году Михаил Матюшин начал писать воспоминания "Творческий путь

## Ирина КАРАСИК

художника", где в свободной, повествовательной манере изложил основы своей теории, описал "философию" и "технику" "расширенного смотрения".

Матюшин Михаил Васильевич родился в 1861 году, в Нижнем Новгороде. Окончил Московскую консерваторию. С 1882 по 1913 год - скрипач Придворного оркестра. В начале 1900-х годов окончил школу Общества поощрения художеств, в 1902-1905 учился в мастерской Я.Ционг-



М.В.Матюшин в своей мастерской на Песочной ул. 1910-е гг.

линского, затем в частной школе Е.Званцевой. Один из основателей петербургского художественного общества "Союз молодежи". В 1918 - 1926 годах руководил мастерской пространственного реализма в Академии художеств, в 1923 - 1926 годах заведовал Отделом органической культуры в Государственном институте художественной культуры (ГИИИ), в 1927 - 1929 годах возглавлял лабораторию по изучению формально-эстетических и физико-физиологических основ пространственных искусств в Государственном институте истории искусств (ГИИИ). В 1932 году вместе с учениками подготовил к изданию "Справочник по цвету", в котором изложена цветовая теория мастера. Умер в Ленинграде 14 октября 1934 года.

**Х**удожники до сих пор интересуются или человеком - или комнатой, не связывая их вместе или связывая внешне. Мы часто не видим и не замечаем законов целого. Я назвал новый способ смотрения - "расширенным смотрением", - так формулировал один из главных принципов своей живописи выдающийся мастер русского авангарда Михаил Васильевич Матюшин.

с отсеченными кронами, корни будто бы вырваны ураганом. Трудно понять, как на небольших листах возникает ощущение масштаба, огромности, едва ли не космической силы.

Николай Иванович говорит не спеша, тихо. В его круглом, почти без морщинок лице, в его светлых глазах совершенно нет старости - просто зрелый ум рассуждает, раздумывает об искусстве.

- Нужно смотреть на дерево, но чувствовать мир, - говорит он. - Видеть не цвет, не живопись, а мир, его взаимосвязи, это

Бердяев однажды сказал: "Любовь должна быть нелегальной". Так случилось и в художественной жизни - в мансардах, в подвалах, по сути в подполье рождалось искусство "для себя", без надежды выхода к людям.

Костров однажды сказал:

- Только в последние годы, пройдя большой и путаный путь, я заново стал осознавать определяющую роль культуры и преемственности. Я понял, что матюшинская система не только не изжила себя, она продолжает открывать огромные перспекти-

## Семен ЛАСКИН

Илья Муромец, на свои ноги, а не ходи нашими ногами.

Костров сделал две картины куда-то в клуб. Я видел эти работы, говорил с ним. Работа неплохая. Теперь ее хотят приобрести в Музей Революции. Коля радуется, но, конечно, деньги получит клуб, а не он. А ему наплевать! Молодчина! Так и надо! Жаль только, что ему не дают расписать стены..."

Былинный Илья Муромец встал на собственные ноги "в тридцать лет и три года". Ученики Малевича, Матюшина, Филонова, Мансурова, Петрова-Водкина поднимались на собственные ноги значительно раньше. И сегодня наше искусство все еще продолжает пополняться потерянными во времени значительными именами.

Начав в двадцатые, Николай Иванович Костров, как и другие молодые из матюшинского окружения, стал стремительно набирать в качестве. По своей природе он был живописцем, возможно, любовь к цвету подсказала ему нужного учителя.

Родился Николай Иванович в Вятке в 1901 году. Отца не помнит, он умер в 1903-м. Мальчик оставался на попечении братьев, священников и семинаристов.

Жили в селе Васильевском, далеко от города, до Вятки добирались только по реке, летом.

Первые преподаватели рисования появились в студии Изоискусства, один из них Михаил Афанасьевич Демидов - действительно замечательный живописец.

Лет пятнадцать назад в доме коренного вятича я поразился двум прекрасным холстам, фамилия Демидов запомнилась сразу. В 1922 году Костров вместе с другом Евгением Чарушиным отправились в Петроград, в Академию художеств. Экзамены принимали трое: рисунок - К.С.Петров-Водкин, живопись - М.В.Матюшин, скульптуру - А.Т.Матвеев.

Петров-Водкин ломал лист бумаги в нескольких плоскостях и располагал их на нейтральном фоне, мастеру важно было понять, как воспринимают ученики пространство рисунка.

Матюшин развешивал тряпки: красную, желтую, синюю, все это на сером фоне. Следовало понять возможные цветовые события, которые могли бы случиться в разной среде.

Костров вспоминает, как растерялись поступающие. Чарушин "решил" проблему, написав постановку совершенно иными цветами. Это понравилось Матюшину.

Матвеев предложил слепить шар. Казалось бы, чего проще! Но Александр Терентьевич

# ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКУ

Машинопись воспоминаний Матюшина "Творческий путь художника" (собственный экземпляр автора) бережно хранит его ученик Николай Иванович Костров.

Я бываю у Николая Ивановича уже немало лет, говорим, как правило, об искусстве, о времени, и я невольно поражаюсь неутомленному взгляду художника, точным характеристикам, живой острой памяти.

Кострову исполнилось девяносто. Конечно, у него меньше сил, быстрее наступает усталость, но мне и не хочется спешить, недоговоренное я откладываю на следующую встречу, - нужно многое обдумать и осознать.

Домой возвращаюсь вдоль новостроек Васильевского. Поздняя осень. Пустые просторные дворы. На редких деревьях и кустарнике уже облетела листва, и я близко над головой вижу жесткую графику сучьев да безграничное небо.

Меня увлекает эксперимент - плод наших с Николаем Ивановичем разговоров: "широко", по-матюшински, пытаюсь объять пространство. Недалняя березка становится штрихом, мало важной черточкой в моем "расширенном" видении, но стоит зафиксировать на ней взгляд, как деревцо вырастает в масштабе, оказывается главным, а окружающее растворяется, исчезает.

Но и этого мало! Я "проникаю" взглядом под землю, там царство корней, вьются и переплетаясь, они проходят сквозь твердь, образуя мощную сеть гиганта-спрута.

Впрочем, воображение ли это мое или память? В квартире Кострова на стенах развешены рисунки, целый цикл, деревья

и станет "расширенным смотрением". Поэтому я не устаю повторять, что метод Матюшина это в первую очередь мировоззрение, а не профессиональная школа, не педагогический прием...

Как же так вышло, что значительный мастер фактически, только на девятом десятке, всего несколько лет назад, стал обращать на себя более пристальное внимание искусствоведов? Неужели так насыщена и избыточна наша художественная жизнь?! Или и в искусстве сказывается общее сонное безразличие?

А может, иное? Разве мало творческих биографий было смято молохом авторитарного государства, подавлено физической мощью системы, а иногда и психологически сломлено. Разве не отрекались талантливые Курдов и Кибрик от собственных учителей Малевича и Филонова, не обвиняли их в идеализме или не менее страшном по тем временам грехе, формализме?! "Это было позорно", - скажет о товарищах молодости Николай Иванович Костров.

Но ведь могло быть (и было!) иное: блистательные молодые начала века в конце двадцатых и в тридцатые уже начинали искать "пути" физического спасения, занялись оформительством и рекламой, надписывали кладбищенские таблички, как Фальк, аптечные флаконы, разрывывали конфетные фантики.

Системе требовалась раскрашенная история, лживая насквозь, - десятки тысяч холстов, изображавших уцелевших большевистских руководителей "на трибунах и в массах", становились индустрией. Цвет и пластика теряли самостоятельную ценность.

вы для современной живописи.

Что же, по мнению Кострова, было истинного и "путаного" в его жизни? Каким образом Николаю Ивановичу удалось вернуть творчество к истоку, к художественным принципам своего учителя?

Вначале, пожалуй, будет немаловажно знать мнение Матюшина об ученике.

«Мои ученики идут и растут, - записал Матюшин 29 мая 1929 года в дневнике. - Чувствую, что я что-то им дал.

Коля Костров удивляет своей нескончаемой растяжимой энергией. Пишет по четыре этюда в день. Кроме этюдов еще несколько рисунков. Я думаю, что в наше быстро несущееся время только так можно работать. Из него выйдет замечательный художник и большая личность. Но его судьба - судьба подвижника. В творчестве мало таланта, если ты несешь в себе культуру всех поколений. Надо еще и самому продвинуть эту культуру дальше. Иначе - это капитал от родителей. Коля не желает пользоваться ничем без собственного усилия. Он все старается гнать на самого себя, а не из "папиного". Его морские наброски такой юношеской силы и так хороши, он так успел вовремя понять, что такое пространство и наше в нем действие. А главное, в нем есть нерв искания. И огромная энергия. Этот юноша мужественно сносит лишения в еде и тепле, в женщине, в одежде и радуется как младенец, что может непрерывно работать и находить. Он знает неплохо системы кубизма, футуризма, супрематизма, но прежде всего он пробует свои ноги. И системы, подобно каликам переходим, поют ему: вставай-ка,

предостерег: "Нужно лепить не шар, а его форму, вы должны чувствовать, как нарастает объем".

Так началась учеба. И вместе с первыми шагами в искусстве создавалась удивительная среда, будущие большие художники: Юрий Васнецов, Евгений Чарушин, Ирина Вальтер, Павел Кондратьев, Евгения Магарил а рядом старшее поколение, выдающееся семейство Эндеров: Борис, Мария, Ксения, Георгий.

Если Малевич и его ученики пытались выйти за пределы предмета, "за ноль форм", считая, что "подлинно новаторская живопись не должна связывать себя рамками оптического опыта, который дает лишь иллюзии", то Матюшин учил смотреть на мир широко, мгновенным, по его выражению, "неутомленным взглядом".

Внимательно рассматриваю акварели и уголь Кострова тех, матюшинских лет. Вот пейзаж, названный "Против солнца". Освещенный куст кажется золотым взрывом, а стоящая напротив ель напоминает испуганное чудовище, вздыбленного динозавра.

Или "Ночь на Неве". Линия моста словно бы перечеркивает широкое поле реки, а внизу буйками рыболовной мережки точки света. Трудно объяснить, как удалось художнику такими скромными средствами передать и ощущение бескрайнего водного пространства, и чувство ночного покоя, и сгустившейся тишины...

Композитор, скрипач, скулптор, художник Михаил Васильевич Матюшин решал живописные задачи через цвет. Он учил воспринимать цвет как явление эстетическое, духовно-нравственное, требовал постигать природу не только "глазом", но и отыскивать внутренние закономерности. "Победа над Солнцем" - название оперы Матюшина - могло бы, мне кажется, стать символическим знаком ко всему его творчеству. И не только Матюшина, но и большинства его учеников, начиная от Эндеров и кончая тогда юными Костровым и Магарил.

Матюшин "ставил" своим ученикам глаз, как учителя музыки "ставят" ученикам руку.

Казимир Северинович Малевич писал своему идеологическому собрату о цвете, - великий мастер призывал другого великого заглянуть в космос, выйти за пределы земли. "Неизвестно кому принадлежит цвет - Земле, Марсу, Венере, Солнцу, Луне? И не есть ли, что цвет есть то, без чего мир невозможен. Не те цвета - скука, однообразие, холод - это голая форма слепого, и Бенуа, как глупец, не знает радости цвета. Цвет есть творец в пространстве".

Матюшин, принимая мно-

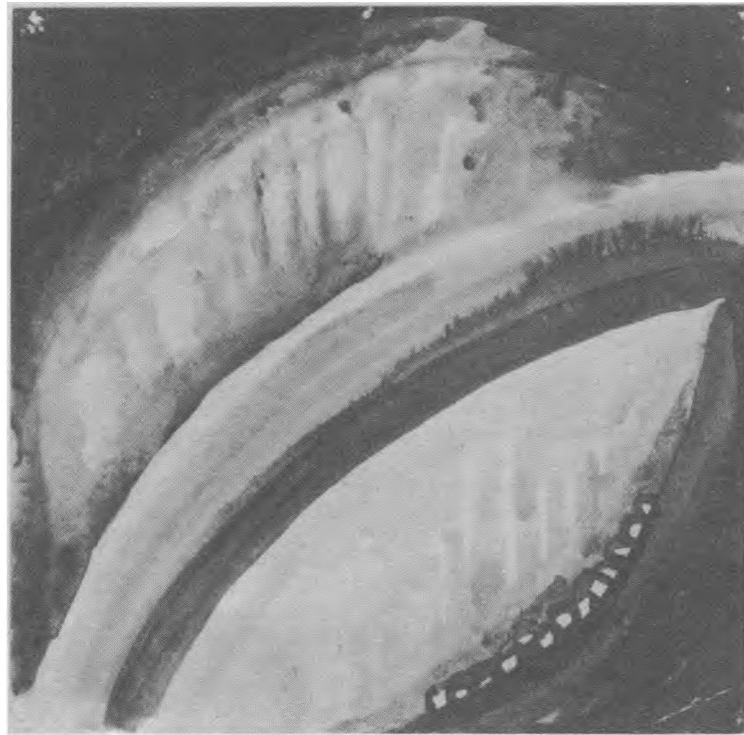
гое в творческих постулатах Малевича, все же держался "земли", - в ней видел он безграничные возможности живописных исканий. Удостоившийся уже в тридцатые годы иронически-снисходительного прозвища "Матюшин-цвет", мастер в самом конце жизни так призвал учеников к "широкому смотрению": "Мне хочется привести пример, - писал он, - как обогащается мир в расширенном смотрении. Вот я смотрю на море и вижу красно-розовую полоску заката, как видят многие. Но как увидит закат ху-

тенков, бесконечностью тонов и полутонов приближающейся тьмы.

Все это "проходил" молодой Костров.

В 1926 году, после окончания Академии, Николая Ивановича берут во флот. Мобилизация огорчает, кажется, вот он тупик, конец творчеству и учебе. Но жизнь распорядится по-другому. Флот становится для Кострова, возможно, счастливейшим моментом творческой жизни.

Все свободное время Николай Иванович пишет портреты



Мост через Неву.

дожник, если он будет разбираться в том, что его окружает? Он начнет видеть ряд огромных, хроматически великолепно светящихся цветных полос, постепенно переходящих друг в друга. Красноватый переходит в огненно-красный, выше ложится красно-оранжевый и оранжево-желтый, еще выше желтый, как винный настой, густой и прозрачный, за ним желтый светлый и желтый яблочный, еще выше прозрачность, переходящая в легкий зеленый оттенок и далее спелого зеленого яблока, переходящая в легкую синеву, зеленоватость смешивается с синевой и еще сильнее переходит в сине-голубой. Наконец, смешение красного, постепенно переходящего в синий, вплоть до темно-лилового, а потом фиолетово-черного, но прозрачного тона. Вот что я вижу, если ограничиваю себя "красной полоской заката"

...Цитата не кончена. Художник оборачивается, чтобы оценить неосвещенную сторону, поражая описанием цветовых от-

и пейзажи, делает сотни зарисовок. Тушь, акварель, карандаш, чернила, - все, что есть под рукой, - подспорье.

На листах возникают боцман, матросы, такелажники, бытовые сцены. Даже теперь, показывая старые зарисовки, Николай Иванович по-прежнему называет отдых матросским словечком "припухают".

Каких только сюжетов не подбрасывает Кострову морская жизнь! Достаточно "неутомленного" молодого взгляда, легкого прикосновения кистью, охристого солнечного пятна или мазка, "кляксы" тушью - как возникало событие. Именно так учил работать Матюшин.

Замечательный художник В.В.Стерлигов, ученик Малевича, взявший немало в собственное творчество "из Матюшина", так описывал особенности матюшинской манеры, - сказанное дальше можно отнести и к "раннему" Кострову: "Он рисует мазком, ударом кисти, что очень трудно. Он рассуждает своей кистью, находясь в проблеме, которая еще не решена. Поэтому он не осторожен, по-

этому он смел. И наивно не боится. Хватает сразу кусок жизни: притолока, забор, калитка, лампа. Со страшной быстротой хватается. Встреча его с природой без посредства, но он проблемой решает эту встречу. Надо овладеть писанием кистью. Писать цвет сразу и бояться раскрашивать".

А вот как сам Костров вспоминает об этом этапе корабельного быта.

- В кубрике жили столяр, маляр, сапожник, плотник, я спал на верстаке, а когда получал увольнительную, мчался к Матюшину, - необходимо было показать ему сделанное за последние дни. Михаилу Васильевичу нравилось "схватенное", он видел движение по своему пути. Оценивал и разбирал только со своей точки зрения. Вот здесь расширенный метод помог мне выразить природу, тут - не получилось, и я вместо того, чтобы ярко окрасить событие, упирался в детали, смотрел в одно и то же время в разные точки, не фиксируя главного.

Увлеченного, рисующего в военном порту какую-то необыкновенную "форму" предмета, Кострова однажды доставили в комендатуру, а затем на корабль. "Шпион?! - удивился комиссар. - Да это же Коля Костров, наш художник!"

Деревянный двухэтажный дом на Песочной, 10, как и дача в Мартышкино, стали для Николая Ивановича родными. Вторая жена Матюшина - Ольга - оказалась из Вятки, это сблизило Матюшина и Кострова еще больше.

И все же идеология делала свое дело. Матюшинский метод так мало был похож на требование монстров соцреализма. Непосредственная реакция на событие (будь то портрет, пейзаж, жанровая сцена) как бы исключала осмысленное исполнение поставленной перед художником четкой идеологической задачи.

Да и коллеги Кострова уже начали упрекать матюшинцев в неумении строить холст, в пренебрежении к материалу.

Незадолго до смерти Матюшина группа его ближайших учеников - Мария Эндер, Ирина Вальтер, Валида Делаacroa-Несмелова - приступили к труднейшей работе, созданию "Справочника по цвету".

Костров, к сожалению, в этом уникальном издании участия не принимал.

- Мое отношение к таблицам было сомнительное, - признается он. - Я начал считать, что пора учиться изображать.

Переспрашиваю, стараюсь понять Николая Ивановича.

- Стало казаться, что мало думаю о конструкции вещи. Для Матюшина действительно не имел значения материал. Восприятие "неутомленным взглядом" я считал приемом и толь-

ко теперь понимаю, это же цельное мировоззрение.

В тридцатом году на выставку "матюшинцев" приехал из Москвы ученик Фаворского Андрей Гончаров. Спорили до хрипоты.

- Что у вас нового?! - наступал Гончаров. - Вы свежее, допустим, но все остальное - от передвижников.

Улыбка бежит по губам многого понявшего и познавшего Николая Ивановича.

- А что новое должно быть? - словно бы спрашивает он. И с сожалением вздыхает. - Но тог-

растворяется в цвете, разве правильно трактор в импрессионизме?!

Николай Иванович чуточку грустен. Я слышу его раздумчивый голос, скорее обращенный к себе.

- А прав-то оказался Матюшин.

Впрочем, путь к этой трезвости длинен, едва ли не в шестьдесят лет.

И в мастерской, и дома я рассматриваю листы и холсты Кострова. По цвету, по манере, даже по технике легко определить годы. Вот сороковые. Се-

Пожилой, медлительный Николай Иванович внезапно делает крутой творческий виток, возвращается к далеким тридцатым.

Конечно, почти девяностолетнему Кострову становится трудно удалиться от дома, невозможно жить в прежнем ритме, но не в часы пик он не спеша идет на трамвай, чтобы ехать на Васильевский, в Горный институт. Там в небольшом музее его ждали под стеклянными колпаками удивительной красоты кристаллы.

Он усаживался на музейную скамеечку и рисовал чудесные забавы природы.

Что это было для Николая Ивановича? Голос Учителя, донесшейся издалека? Когда-то Матюшин первый написал многоцветный кристалл и назвал его "автопортретом". Отчего возникло название? Может, человек подобен этому многограннику - природа так сложна, непредсказуема и прекрасна!

За кристаллами возникала серия раковин. Их оказалось много, они лежали на берегах синей воды, большие, причудливые, красота и неожиданность форм завораживала глаз, казалось, под рукой Николая Ивановича рождалось чудо, новые события жизни.

Корни, раковины, кристаллы сам Николай Иванович связывает больше с именем Елены Гуро, влияние этой выдающейся личности, художницы и писательницы на Михаила Васильевича Матюшина и его учеников было огромным.

- Гуро - целая эпоха в искусстве - скажет Николай Иванович. - Именно она попыталась первой осмыслить рождение формы, многие годы Матюшин продолжал видеть природу ее глазами...

И все же вернусь к нашей встрече, фактически, к началу дружбы. Шел 1988 год. Минимум десятилетие ленинградский Дом писателей оказывался тем потайным местом, где даже в "застое" выставлялись лучшие мастера авангарда. Сказывался некий парадокс. Именно в этом доме свирепствовала литературная цензура, но проблемы живописи здесь никого не задевали. Для живописной цензуры существовало свое утвержденное место.

Если в Союзе художников существовала очередь к выставкам согласно "табели о рангах" - секретари, академики, члены парткома, то здесь создавался другой отсчет. Раз за разом на стенах бывшего дворца Шереметева появлялись "непризнанные", а то и отвергнутые авторитарным временем ученики Малевича и Матюшина, Филонова, Шагала, Мансурова, Петрова-Водкина. Список имен стано-

вился изрядным: это и В.Стерлигов, и Т.Глебова, и Р.Флоренская, и П.Кондратьев, "круговцы" В.Пакулин, Р.Фрумак, В.Калужнин, М.Федоричева и многие, многие другие. Конечно, и Н.Костров должен был появиться здесь.

Помню свою растерянность в мастерской Николая Ивановича, некоторое разочарование от поздних его работ. И тут на стол легла старая папка, "флот", поразительные солнечные акварели, блистательные зарисовки углем и тушью; мгновения, вырванные из самой жизни молодым и действительно "неутомленным глазом", - те работы, которым радовался Учитель.

Спустя некоторое время одна из самых основательных знатоков творчества Матюшина и его школы, А.В.Повелихина, так написала о судьбе Кострова: "Замечательным событием явилась выставка Н.И.Кострова в ленинградском Доме писателей... предложившая вниманию зрителей ранние работы художника".

К.С.Малевич в письме М.В.Матюшину от 23 июня 1916 года, словно предчувствуя будущее, напишет почти пророческие слова: "Когда исчерпается весь возраст, не будет фона старого для молодых ростков разума, он будет невидимо расти. Но никто из нас не останется, чтобы снять с чердака то молодое, наше теперь, и показать молодому росту".

Система попыталась разнести в прах, вырвать из контекста истории весь "молодой возраст", русского авангарда. Казимир Малевич назвал созданное новаторами "новым Евангелием в искусстве".



Кочегар.

да я стал реже бывать у Матюшиных. Михаил Васильевич это заметил. - А после паузы. - И огорчился.

Крутится магнитофонная лента. Я не выключаю. Жду. Мне кажется, Костров мысленно окидывает прошлое.

- Перед войной мы с Магарил поехали на Урал. Я написал трактор, освещенный солнцем, - это был прежний матюшинский взгляд. Курдов возмутился. Как же так?! Трактор должен вести к кубизму, к познанию формы, к выявлению материальности, а у тебя он

ребристые ленинградские пейзажи маслом, мерцающая нежная зимняя поверхность Васильевского и Петроградской, пожалуй тоже импрессионизм, но уже ближе к Н.Лапшину, к В.Гринбергу, В.Пакулину, ко всему "Кругу". А это из пятидесятых, холодновато, "как у всех", меньше лиричности, нет звонкого матюшинского взрыва, откровения, распахнутости, чуда.

И все же я знаю, событие произойдет, нужно только добраться до восьмидесятых, фактически, неожиданной новой молодости художника.

рай  
Цве

которых постепенно сокращается от шести строк до одной единственной. Две первые строфы создают своим параллелизмом очень отчетливую схему, состоящую из четырех строк с рифмой АВАВ и двух строк с рифмой СС. Строфы третья и четвертая следуют той же схеме, только укороченной на две последние строки. Это сокращение получает дальнейшее развитие в пятой строфе, которая повторяет лишь самую первую строку схемы.

Можно вслед за Юрием Лотманом сказать, что две вводные строфы создают "структурное ожидание", которое, однако - что было бы обязательным в классической поэзии - не оправдывается повторением схемы строф. Вместо этого строфа будто бы подвергается своеобразному сокращению, в то время как в памяти сохраняется ее полная версия. Первое сокращение происходит в третьей строфе, в ее самом уязвимом месте - "защищенном" текучей строкой перехода от четверостишия к завершающему двустежию.

Нарушение первоначальной схемы начинает восприниматься как новая норма, когда эта сокращенная строфа повторяется в четвертой строфе. Важно, однако, что обе строфы выступают как сокращенные версии основной схемы. Другими словами, они могут восприниматься не только как строфы из четырех строк, но и как четыре строки текста плюс две строки "минус-текста" (перефразируя Лотмана), или, выражаясь языком музыки, паузы.

\*\*\*

Проведенная структурной поэзией грань между художественной структурой и физически зафиксированным текстом на сегодняшний день общепринята. Применение этой идеи на практике привело к ряду важных последствий. Примером плодотворного структурного мышления может служить часто цитируемая мысль Юрия Лотмана - только на примере рифмы - о том, что отсутствие элемента текста в структуре на месте, где предусматривается возможность его наличия, должно рассматриваться не как простое отсутствие рифмы, а как "наличие нерифмы, минус-рифмы". Обобщенное понятие "минус-прием" может помочь нам понять ту взаимосвязь между формой и тематикой, которую читатель "Письма" воспринимает скорее интуитивно.

\*\*\*

Одновременно с тем, как нарастает драматическое напряжение стихотворения, уменьшается то, что традиционно принято рассматривать как текст (то, что зафиксировано буквами), уменьшается в пользу исполненного значения отсутствия. Таким образом, пятую строфу можно рассматривать как одну строку текста, за которой следуют пять строк тишины. Эллиптическая последняя строка "Квадрата письма" остается одна и вбирает в себя различные альтернативы предшествующих строф: "письмо, несущее счастье - письмо, несущее несчастье" - "письмо - тишина". В той же степени, в какой уменьшается количество текста, увеличивается специфический вес слов, причем настолько, что слова строфы как бы до самого конца уравновешивают возрастающую тишину. Или точнее - молчанье, если вспомнить, как разграничивает эти понятия Бахтин! "в тишине ничто не звучит (или нечто не звучит) - в молчании никто не говорит (или нечто не говорит)". Марина Цветаева - поэт ритма и паузы, поэт надежды и разочарования - подходила к разграничению этих понятий с исключительной тонкостью. Не выводив мысль на бумагу, она с

максимальной наглядностью воплощает основную тему стихотворения: монодраму неразрешенного ожидания.

"Письмо" датировано 11 августа 1923 года. Благодаря публикации писем Марины Цветаевой к молодому критику Александру Бахраму мы получили некоторые биографические сведения, связанные с этим и другим стихотворениями, написанными летом 1923 года. Между Цветаевой, жившей в то время в Праге, и находившимся в Берлине Бахрамом завязалась переписка, которая переросла в интенсивный роман в письмах. Об истинном течении романа судить трудно, поскольку перед нами только письма Цветаевой и, к тому же, пока лишь в сокращенном варианте. Прочтение "Письма" обога-

исключительно удачно соответствует переживаниям Цветаевой. Можно развить параллель между "бюллетенем болезни" и "Фрагментами влюбленной речи". Для Цветаевой, кажется, никогда не существовало проблемы выбора между мукой ожидания и сладостью исполнения надежды. Она выбирала страдание, оно выбирало ее: она стремилась к нему с уверенностью лунатика, как к истокам творческого состояния. Через несколько лет после романа с Бахрамом она писала: "Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор сделан отродясь - и до родясь".

В основе стихотворения "Письмо" лежит то же чувство - "любить любовь". Поэтому

## ПИСЬМО

*Так писем не ждут,  
Так ждут - письма.  
Тряпичный лоскут,  
Вокруг тесьма  
Из клея. Внутри - словцо.  
И счастье. И это - все.*

*Так счастья не ждут,  
Так ждут - конца:  
Солдатский салют  
И в грудь - свинца  
Три дольки. В глазах - красно.  
И только. И это - все.*

*Не счастья - стара!  
Цвет - ветер соул!  
Квадрата двора  
И черных дул.*

*(Квадрата письма:  
Чернил и чар!)  
Для смертного сна  
Никто не стар!*

*Квадрата письма.*



щается, между тем, не столько конкретной перепиской как таковой, сколько тем, какую роль она приобретает в особой трактовке Цветаевой взаимоотношения между биографией и стихами.

\*\*\*

Основу писем Цветаевой к Бахраму составляет длинный, наполненный самоанализом "бюллетень болезни", который поэт пишет параллельно с почти ежедневными письмами в июле-августе 1923 года и посылает Бахраму лишь некоторое время спустя. По этому "бюллетеню", занимающему центральное место в своеобразной автобиографической прозе Цветаевой, можно судить о том, как эмоционально насыщенное отношение к молодому адресату развивается не просто как отношения между двумя людьми, а прежде всего, как самоанализ поэта. Переписка с человеком, которого она никогда не видела и чей отклик в любом случае не мог отвечать ее требованиям, стала для Марины Цветаевой, как это бывало и до, и после, действием в одиночестве, актом созидания, подобным написанию стихов: "эта встреча между чужим отсутствием (чистая форма) и моим присутствием (содержание)".

Из поначалу случайной переписки Цветаева создала внутреннюю драму тоски и ожидания, в "сценических средствах" которой она, кажется, наиболее отчетливо ощутила свое собственное "я". Образ Ролана Барта

иллюзорная альтернатива счастью кажется такой жалкой в сравнении с "салютом" отказа или прощания, свинцовые пули которого, к тому же, отмечены счастливым числом три. Но, как я пытался показать, еще богаче, чем прощание, оркестрована сама "полнота ожидания". Здесь Марина Цветаева мастерски использует все поэтические средства, включая иллюзорно "чисто формальные", для создания напряжения между ожиданием и разочарованием, между словами и тишиной (молчанием).

Поэт в стихотворениях Цветаевой рожден для страдания, но, вместе с тем, и с даром уметь страдать, создавать драму страдания из несовершенства будней. Страдание, ожидание становятся путешествием в неизведанное или исследованием собственного "я" и его способности к самовыражению: "отсутствие другого" придает форму невыраженному ранее содержанию.

(1982, 1990).

**И** так, Константин Маркович, вас можно поздравить с выходом в Петербурге вашей новой книги "Небесная арка. Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке".

- Спасибо. Хочу только добавить, что в несколько сокращенном виде книга эта уже была выпущена в Германии издательством "Insel" в октябре прошлого года... Ну а теперь издана и по-русски.

- Что конкретно представляет собой эта ваша книга? Я знаю, вы составитель сборника, автор предисловия, комментатор... да еще и переводчик - ведь Цветаева и Рильке писали друг другу на немецком языке.

которым прекрасно владела. Кстати, немецкий язык, на котором она писала Рильке, приводит, я замечал, одних немцев в восторг, других - в недоумение: так он необычен. (Это же касается и неповторимо индивидуальной прозы Цветаевой на русском языке, восприимчивой не всеми одинаково...) Ну и кроме того в преклонении Цветаевой перед Рильке проступала и ее повышенная природная эмоциональность. Поэт и Женщина как бы слились в ней воедино.

- Цветаева и Рильке когда-нибудь встречались?

- Никогда, во всяком случае в реальной жизни... И все же, можно сказать, они встретились в духе, в слове. То, что они никогда не встречались в действительности, лишь усиливало ее страсть к нему. Марине было свойственно любить не ближнего, а "дальнего". "Чем

отпечаток - ведь он писал их за полгода до своей мучительной безвременной смерти. Он не раз сообщает Марине, что тяжело болен, но, окрыленная поэтическим пафосом переписки, Марина не слышит его человеческих жалоб. Ей представляется, что жизнь у нее еще впереди, она и не подозревает, что ее тоже ждет трагический конец - возвращение на свою мрачную родину, потеря близких, война, самоубийство... Такова судьба этих двух героев "романа", двух великих поэтов, оставивших нам свой высокий поэтический диалог.

- Не случайно книга называется "Небесная арка". На мой взгляд, название очень удачное...

- "Небесная арка" - это неземной, заоблачный, надмирный (вспомните подчеркнутое Цветаевой "над") разговор, который вели друг с другом поэты... А если более конкретно, то название это подсказано мне словами самой Цветаевой (они поставлены эпиграфом к книге), однажды посланными ею Борису Пастернаку: "Я не люблю встреч в жизни... Встреча должна быть аркой: тогда встреча - над".

- Какой материал в данном сборнике для вас наиболее дорог и интересен?

- Для меня как исследователя дорога каждая строчка, ценно каждое слово. Для читателя же, думаю, особенно интересными окажутся впервые опубликованные письма, в том числе вышеупомянутое письмо Цветаевой к дочери Рильке - Рут Зибер-Рильке (его оригинал хранится в семье наследников Рильке). В этом письме все - и благовоительное отношение Марины Цветаевой к Рильке, и ее ревнивое отношение к его письмам, сложность ее характера, поэтического мышления, манеры изложения. При переводе мне хотелось как можно точнее и тоньше передать эту цветаевскую специфику, находя каждому ее слову на немецком языке именно цветаевское слово на русском.

- Этой книгой вы сказали о Цветаевой все?

- Цветаева очень глубока, исчерпать ее - не хватит жизни. Но в этой книге я сказал, во всяком случае, больше, чем в предыдущих своих работах. Читатель найдет здесь не только "скучные" примечания, но и обширное предисловие, своего рода эссе. Оно называется "Орфей и Психея". Я попытался в нем дать ответ, по крайней мере, на один, главный вопрос: чем был Рильке в жизни Цветаевой?

- Скажите, а что означает Рильке для вас?

- Я бы ответил на этот вопрос словами Пастернака о Рильке: "Я всегда плавал в его водах". Кстати, именно благодаря Пастернаку и Цветаевой Рильке по достоинству оценен в России, и, на мой взгляд, интерес к нему у нас глубже, чем у него на родине. Рильке я люблю с юности, он для меня то же, что Пушкин, Байрон...

- Пользуясь возможностью спросить: а что сегодня в ваших планах?

- Планов множество. Хотелось бы издать не опубликованный пока дневник одного немецкого литератора. Он жил в Петербурге в конце прошлого - начале нынешнего века и каждый день скрупулезно заносил в свой дневник впечатления о своих встречах и беседах с русскими писателями. А кроме того готовлю к изданию книгу "Шеллинг и русские" - о встречах германского философа с русскими любомудрами в Мюнхене и Берлине. Предстоит немало работы в немецких архивах и библиотеках.

- Значит, до новой книги. И до новой встречи.

## НЕБЕСНАЯ АРКА

БЕСЕДУ С КОНСТАНТИНОМ АЗАДОВСКИМ  
ВЕДЕТ ЭМИЛИЯ КУНДЫШЕВА

- Я бы сказал, что внутренняя суть книги - эта встреча душ, какой она отразилась в переписке двух великих поэтов.

- История опубликования этой переписки... Немного расскажите о ней.

- Начну с того, что доступ к этим письмам, написанным в 1926 году, был закрыт самой Цветаевой на срок 50 лет, и ровно через пятьдесят лет, в начале 77-го года, я имел счастье держать в руках копии этих писем.

- Каким образом они оказались у вас? Это что - удача, счастливый случай, подарок судьбы?

- Думаю, скорее всего результат целенаправленных поисков. Мой запрос в швейцарский архив оказался, видимо, в тот момент первым, поскольку через несколько недель почтальон вручил мне конверт из Швейцарии с драгоценными цветаевскими письмами. Тогда же в Москве у наследников Бориса Пастернака обнаружили и письма Рильке к Цветаевой. Кстати, именно Пастернак заочно познакомил Цветаеву и Рильке - их тройственная переписка ныне широко известна. Разумеется, переписка Цветаевой с Рильке повторена и в изданной теперь книге... Кроме того в сборнике опубликованы, - впервые на русском языке, - письма Цветаевой к Нанни Вундерли-Фолькарт, приятельнице Рильке, и одно письмо к дочери поэта - то есть послания к тем, о ком Марина писала уже после смерти поэта: "Райнер, ты породил меня со всеми, тебя потерявшими". В книге подробно прокомментированы и полные трагического пафоса поэма Цветаевой "Новогоднее" и ее проза "Твоя смерть" - оба эти произведения также обращены к Рильке.

- Уже из одного этого вашего рассказа можно заключить, что отношение Цветаевой к Рильке было каким-то особым...

- Да, конечно, каждая строчка ее писем кричит об этом: "Вы... - воплощенная поэзия", "Вы - то, из чего рождается поэзия". Посылая Рильке свою книгу "Психея", она сделала на ней такую надпись: "Моему самому любимому на земле и после земли (над землей!)".

- Чем же Рильке, поэт другой страны, другой нации, другого языка, так потряс Цветаеву?

- У поэзии один язык. Марине было созвучно мироощущение Рильке; оба они вышли из неоромантической культуры конца прошлого века. Цветаева перенесла на Рильке свою любовь к Германии, где жила в детстве, любовь к немецким романтикам, немецкому языку,

St. Gallen, im Pie, am 9. May 1926

## НЕБЕСНАЯ АРКА

Bezieh ich Sie so anrufen? Sie, die nicht  
Dichterin, wenn doch nicht, das Sie die  
allein - die Dichtung ist keine Kunst, die  
Dichtung -

ledigt nicht **МАРИНА**  
von für  
von grabe **ЦВЕТАЕВА** nicht hat  
und Sie haben die so gewährt. (Nur  
wollen wir selbst **И** kannst - dies für  
Ihre Teil zum ganz  
und der? **РАЙНЕР** für, wenn er  
nicht, was **МАРИЯ**

**РИЛЬКЕ**  
Sie sind die Dichterin  
(Schafe), Sie  
wenn sein Name und die Name nicht Licht  
berührt, oder (nach zu wenig) was viel  
falsche Meinung die Dichtung selbst, a  
zu wenig) das, warum die Dichtung  
und das genau ist als sie (Sie).

Zu handeln ist nicht um den Name  
(Namen) da «АКРОПОЛЬ» zu machen sind  
des Geist - Rike, der nach gibt - ist  
Dichter und der eigentlich für mich  
heißt - Rilke von Obermergen.

дальше от меня, тем глубже в меня", - писала она. На этом строился ее поэтический Эрос.

- А Рильке? Как он, судя по его письмам, относился к русской поэзии?

- Думаю, что в отношении Рильке к Цветаевой сказывалась главным образом его любовь к России. Он ведь дважды побывал в нашей стране - в 1899-м и 1900-м годах. Россия была для него олицетворением высокой духовности, источником почти мистического восторга, и Марина, так же, как и Россия, влекла его к себе подобно неразгаданной тайне. "Удивительная Марина" называет он ее в одном из писем. Он старательно пытается прочесть и оценить присланные ею, подчас непростые и для русского читателя, стихи, и, конечно, чувствует, какой перед ним удивительный адресат. Что касается его писем, то на многих из них лежит трагический



Эпистолярное общение Марины Цветаевой с Райнером Марией Рильке, длившееся всего несколько месяцев (с мая по ноябрь 1926 года), широко известный, памятный эпизод европейской культуры нашего столетия. Открытые в 1977 году - после пятидесятилетнего запрета, наложенного на них самой Цветаевой, - ее письма к Рильке, соединившиеся вскоре с вновь найденными письмами германского поэта, послужили основой для издания тройственной переписки: Рильке, Бориса Пастернака и Марины Цветаевой. Подготовленная к печати уже в конце 70-х годов, эта книга впервые увидела свет в Италии, затем в Германии, Франции, США. Существуют также переводы на испанский и сербский языки. В последнюю очередь эта книга появилась на русском языке (Райнер Мария Рильке. Борис Пастернак. Марина Цветаева. Письма 1926 года. Подготовка текстов, составление, предисловие, переводы, комментарии К.М. Азадовского, Е.Б. Пастернака, Е.В. Пастернак. М., «Книга», 1990).

«В этой книге, - такими словами завершается ее «Эпилог», - остались незатронутыми многие биографические и иные подробности, освещающие путь каждого из трех поэтов». Незатронутыми, впрочем, оказались и некоторые обстоятельства, касающиеся эпистолярной дружбы Рильке, Пастернака и Цветаевой. Объясняется это прежде всего труднодоступностью отдельных материалов, имеющих прямое отношение к переписке поэтов; многое из того, что хранится и в Москве, и за рубежом, попало в наши руки лишь после того, как работа над книгой была в основном завершена.

Из собранного за последние годы вырисовывается, например, важная, по сути еще не исследованная (лишь едва затронутая в издании 1990 года) тема: Цветаева и Рильке после 1926 года. Дело в том, что «переписка» Цветаевой с Рильке вовсе не оборвалась со смертью поэта 29 декабря 1926 года, - она продолжалась, хотя, конечно, односторонне, и в течение нескольких последующих лет. Не прекращая, вела и углубляла Цветаева свой внутренний диалог с Рильке, точнее, - со священной для нее тенью поэта.

Последнее из писем Цветаевой к Рильке, написанных при его жизни, датируется 7 ноября 1926 года; оно обрывается отчаянным воплем: «Ты меня еще любишь?» Накануне Нового, 1927 года Цветаеву постигает весть о

смерти Рильке. Это было для нее жестоким сокрушительным ударом, от которого она никогда уже не могла оправиться. Все, что было для Цветаевой дорого, почти свято (Германия, поэзия, немецкий язык) и что, казалось ей, на какой-то миг воплотилось в Рильке, в его письмах, стихах и личности, внезапно перестало существовать. Смерть Рильке потрясла и перевернула Цветаеву и во многом (на годы вперед) определила ее душевное состояние (отчасти, возможно, и творческое развитие). «С тех пор <т.е. после 1926 года. -

ма разворачивается: небо, рай, Бог изображены как многоступенчатая реальность, в которой ныне обитает Рильке. Точно так же, как своего рода «послание» к Рильке в загробный мир, воспринималась Цветаевой и навеянная его кончиной проза «Твоя смерть» (впервые - «Воля России», 1927, N 5-6).

Жанр «писем» был особенно созвучен Цветаевой. В духе европейского романтизма начала XIX века она понимала «письмо» как творческий акт, лирическую исповедь, излияние души. Не случайно в конце 20-х - нача-

## Константин АЗАДОВСКИЙ

многих писателей русского зарубежья, пытавшийся пропагандировать Рильке, писал спустя десять лет после смерти германского поэта о «культе», сложившемся вокруг его имени, и называл Цветаеву «ревностным служителем этого культа» (Сизиф <Г.В. Адамович>. Отклики. - «Последние новости» (Париж), 1937, N 5767, 7 января, с.3).

# МАРИНА ЦВЕТАЕВА: "СВЯТИЛИЩЕ РИЛЬКЕ..."

К.А.), - обмолвилась Цветаева в письме к Пастернаку 31 декабря 1929 года, - у меня в жизни ничего не было. Проще: я никого не любила - годы - годы - годы» ("Вопросы литературы", 1985, N 9, с.278; публикация А. Саакяну).

Узнав о смерти Рильке, Цветаева, не медля, принимается за «посмертное» письмо к нему: «Год кончается твоей смертью? Конец? Начало!» (см.: Райнер Мария Рильке. Борис Пастернак. Марина Цветаева. Письма 1926 года, с.204). Для Цветаевой это было именно начало - начало ее новых, уже неземных отношений с Рильке. Со свойственным ей безудержным романтизмом Цветаева отвергает смерть Рильке как свершившийся бесспорный факт, не хочет признать «не-бытие» любимого поэта. Цветаева и в других случаях была склонна не принимать смерть близких ей людей; все они, ушедшие, продолжали жить, потому что они жили в ее памяти, в ней, потому что Цветаева не желала, чтобы они умерли. «Я иногда думаю, что конца - нет», - признавалась Цветаева в очерке «Пленный дух. Моя встреча с Андреем Белым». Мнимое, воображаемое часто было для Цветаевой более достоверным, чем самая непреложная «действительность».

Так произошло и с Рильке. После его смерти, подчеркнуто игнорируя этот факт, Цветаева продолжает писать не только о нем и для него, но прежде всего - ему. Знаменитое цветаевское «Новогоднее» (впервые - «Версты», 1928, N 3) представляет собой не что иное, как письмо к Рильке, посылаемое «на тот свет». «Тот свет (не церковно, скорее, географически) ты знаешь лучше, чем этот...» - уверяла Цветаева Рильке 12 мая 1926 года. В «Новогоднем» эта те-

ма разворачивается: небо, рай, Бог изображены как многоступенчатая реальность, в которой ныне обитает Рильке. Точно так же, как своего рода «послание» к Рильке в загробный мир, воспринималась Цветаевой и навеянная его кончиной проза «Твоя смерть» (впервые - «Воля России», 1927, N 5-6). Жанр «писем» был особенно созвучен Цветаевой. В духе европейского романтизма начала XIX века она понимала «письмо» как творческий акт, лирическую исповедь, излияние души. Не случайно в конце 20-х - нача-

ле 30-х годов Цветаева увлекается письмами самого Рильке (великого, непревзойденного мастера этого жанра в новейшей литературе); она не расстается с томиком его писем, которые, начиная с 1929 года, регулярно выпускает в свет лейпцигское издательство "Insel". Чтение писем Рильке волнует ее не меньше, чем знакомство с его стихами или прозаическими сочинениями. В начале 1929 года Цветаева переводит на русский язык несколько писем Рильке (едва ли не единственный раз, когда она отважилась перевести боготворимого ею поэта!), предпослав им небольшое взволнованное предисловие - «Несколько писем Райнер-Марии Рильке» (впервые - «Воля России», 1929, N 2). «Рильке - миф, - писала Цветаева в этом очерке, - начало нового мифа о Боге-потомке. И признавалась в своем желании написать когда-нибудь - «к старости <...> когда немножко до него дорасту» - книгу о Рильке - «не книгу статей, книгу бытия, но его бытия, бытия в нем».

Можно, не преувеличивая, сказать, что никто из русских писателей, даже Борис Пастернак, не был столь безмерно пленен и очарован Рильке, как Марина Цветаева. Продолжая писать ему и во имя его, Цветаева лелеяла и такой замысел: «восславить» Рильке, воздвигнуть ему «памятник», подобно тому как Беттина фон Арним, чьи книги Цветаева знала и любила, воздвигала своими «переписками» памятник Гете или подруге своей юности Каролине фон Гюндероде. «Тот же долг любви, - восклицала Цветаева, вспоминая о Беттине. - Прославить. Поставить!» <т.е. поставить памятник. - К.А.> («Несколько писем Райнер-Марии Рильке»). Георгий Адамович, один из не-

## ПОСЛЕСЛОВИЕ К "ЭПИЛОГУ"

\*\*\*

Память о Рильке неотступно владеет Цветаевой до конца ее жизни. Помимо произведений "посланий", непосредственно обращенных к Рильке, Цветаева вспоминает о нем в своих письмах - не часто, но почти всегда тоскующе, трепетно. Думать о Рильке становится для Цветаевой необходимостью. Подчас она пользуется именем поэта как своеобразным критерием для оценки других людей и событий. «Вас бы очень любил Рильке, - пишет она, например, 22 января 1929 года своей чешской приятельнице А.Тесковой. - Вы всем существом поучительны (lehrreich) и совсем не нравоучительны...» (Марина Цветаева. Письма к А.Тесковой. Прага, 1969, с.70). "...Нас с Вами связывают узы родства, - подчеркивает Цветаева в 1930 году в письме к Шарлю Вильдраку. - Вы ведь любите Россию и Пастернака; и, главное, Рильке, который не поэт, а сама поэзия" («Новый мир», 1969, N 4, с.203; публикация А.С.Эфрон). Следует сказать, что и другие французские писатели, к коим тянулась Цветаева в начале 30-х годов (А. Жид, Н. Клиффорд Барни, Анна де Ноай), воспринимались ею, в известной мере, через призму их близости к Рильке.

Особая и почти не известная до сих пор глава духовной биографии Марины Цветаевой - ее эпистолярное общение с семьей и друзьями Рильке. Написанные по-немецки, письма Цветаевой долгое время покоились в частных архивах Швейцарии или Германии и лишь недавно

были извлечены на свет. В своей совокупности эти документы образуют раздел в появившейся совсем недавно (на русском и немецком языках) книге "Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке".

В 1930-1933 годах Цветаева переписывалась с Нанни Вундерли-Фолькарт (1878-1962), швейцарской приятельницей Рильке в последние годы его жизни - единственной, кто находился возле него в клинике Валь Мон в декабре 1926 года и на чьих руках он скончался. В 1933 году Цветаева пыталась завязать отношения с книжницей Марией Турн унд Таксис, автором прекрасных воспоминаний о Рильке (в принадлежащем книжнице замке Дуино были задуманы и начаты его «Элегии», получившие затем название «Дуинезских»). Наконец, в январе 1932 года Цветаева пишет (публикуемое ниже) большое письмо к дочери поэта - Рут Зиббер-Рильке.

Как раз в те годы Рут Рильке (1901-1972) вместе со своим мужем Карлом Зибером энергично занималась сбором писем Р.М.Рильке, рассеянных по разным странам, изучала их, готовила к печати. Зная, что Цветаева переписывалась с Рильке, и получив (возможно, от Н.Вундерли-Фолькарт) ее адрес, Рут Рильке обратилась к ней с просьбой: переслать в Веймар письма поэта. Позднее Цветаева рассказывала Н.Вундерли-Фолькарт, что письмо Рут Рильке «содержало дружескую просьбу послать нам все мои письма Рильке», желательно оригиналы, а если нельзя, то копии, не для того чтобы их *тотчас* напечатать - для того лишь, чтобы их сохранить».

Цветаевой внутренне не хотелось расставаться с письмами Рильке - даже в копиях (то есть - с их содержанием). То, что составляло суть ее отношений с Рильке, она хранила ревниво и в глубокой тайне, в которую до поры до времени не хотела посвящать других. Впрочем, для дочери Рильке Цветаева была готова сделать исключение. Она обещала Рут Рильке прислать «достоверные» копии писем, допускала и возможность их публикации в будущем («Поживем - увидим, может, я все-таки соглашусь»). Вопросы и просьбы, изложенные в письме Цветаевой к Рут Рильке, явно предполагали продолжение и углубление их переписки. Этого, однако, не получилось.

Рут Рильке оставила письмо Цветаевой без ответа (хотя госпожа Хелла Зибер-Рильке рассказывала нам, что ее свекровь долго помнила об этом письме, ценила его необычность и хотела знать о судьбе написавшей его «русской поэтессы»). С другой стороны, Цветаева вскоре сама изменила свое отношение к Рут Зибер-Рильке. В цитированном выше письме Цветаевой к Н.Вундерли-Фолькарт содержится не-

сколько резких выпадов против дочери Рильке: «...В ее письме говорилось больше о ее детях, чем о ее отце <...> я утешилась тем, что многие люди (женщины - реже) вообще не умеют писать, что пишут они подчас *неверно*, я восстала против этого уродливого чуда: *его* дочь и такая плоская <...> Поверьте мне <...> если бы в Рут было что-то от Рильке», я почувствовала бы это и исполнила бы ее просьбу, прежде чем она ее вымолвила, но написавшей это сирото-приютское письмо - мои письма Рильке? - нет. Я промолчала. И она тоже промолчала».

Причиной столь сильного охлаждения Цветаевой к Рут послужила книга ее мужа, Карла Зибера: René Rilke. Die Jugend Rainer Maria Rilkes («Рене Рильке. Юность Райнера Марии Рильке»). Leipzig, 1932. Цветаева получила эту книгу осенью 1932 года (знакомые Цветаевой, зная о ее любви к Рильке, предложили ей перевести эту книгу для заработка - на французский язык). Прочитав ее, Цветаева пришла в негодование: стремление Зибера демифологизировать фигуру Рильке, изобразить его «обыкновенным» ребенком, сентиментальным юношей и т.д. в корне противоречило образу «германского Орфея», получеловека-полубога, давно укрепившемуся в сознании Цветаевой. Свое недовольство Карлом Зибером она отчасти перенесла и на Рут Рильке, которой была посвящена его книга.

Слова «я промолчала» в письме Цветаевой к Н.Вундерли-Фолькарт следует, скорее, понимать так: не откликнулась, не ответила на просьбу Рут Рильке. Впрочем, еще в конце 1932 года Цветаева колебалась, как ей поступить в этом случае. «Может, я все-таки соберусь с духом, - писала она Н.Вундерли-Фолькарт в том же письме, - и, проглотив отвращение, пошлю Зиберовой компании письма (копии, разумеется). Из любви к Рильке» и его произведениям, из верности ему и им. (Но сделать это мне теперь тяжелее, чем раньше)».

Однако письма Рильке Цветаевой так и не попали к наследникам поэта. Цветаева не смогла одолеть всех своих сомнений. С другой стороны, представляется, сыграли роль и внешние обстоятельства: события в Германии после 1932 года вряд ли располагали Цветаеву к тому, чтобы послать в эту страну письма Рильке (хотя бы и в копиях).

Окончательно покидая Францию в июне 1939 года, Цветаева, естественно, взяла с собой в Россию драгоценные для нее письма, фотографии и книги Рильке. Дальнейшая их судьба известна; удивительным образом они сохранились до наших дней (см.: Райнер Мария Рильке. Борис Пастернак. Марина Цветаева. Письма 1926 года, с.35-36). Что же касается «Свя-

тилища» Рильке, о котором мечтала Цветаева в своих письмах, то оно осталось, как и многое другое, одним из ее несбывшихся упований.

\*\*\*

Оригинал письма Цветаевой к Рут Зибер-Рильке хранится в семейном архиве Рильке (г.Гернсбах, Германия). Пользуюсь случаем выразить искреннюю благодарность Хелле Зибер-Рильке и Кристофу Зиберу-Рильке за их неизменно внимательное отношение к моей работе, в частности - за любезное

разрешение скопировать публикуемое ниже (в русском переводе) письмо Цветаевой и подготовить его к печати.

Первая публикация состоялась в "Литературном приложении" (N 12) к газете "Русская мысль" (Париж) 28 июля 1991 года.

## МАРИНА ЦВЕТАЕВА - РУТ ЗИБЕР-РИЛЬКЕ

Медон (Сена) и Уаза), Франция,  
авеню Жанны д'Арк 2,

24 января 1932, воскресенье

Дорогая госпожа Рут,

Ваша подпись, когда я прочла ее, была для меня ударом - ведь еще вчера вечером я заглядывала в Вашу колыбель, совершенно не зная, "что из нее (Вас) получится"<sup>1</sup>. И вот - спустя столько лет - получилось. В каждом письме - стихе - время останавливается - навсегда то есть становится чем-то вечным. (Если этого нет, значит, и написанного вовсе нет - или оно ничтожно). Вечно начинается маленькая Рут.

Вот почему, дорогая госпожа, этот - почти что - ужас и это - более чем изумление, когда я увидела Вашу подпись. Значит, время все-таки движется. Значит, есть какое-то иное время, которое только и делает, что движется.

- Точно так и с Рильке. В своих ранних письмах молодой Рильке останавливается - неподвижно, как он стоял у окна<sup>2</sup>, навсегда. И пока я пишу эти строки, мне становится ясно, что Рильке, собственно, никуда не двигался (в смысле продвижения, развития), он всего лишь рос, как наши русские столпники<sup>3</sup>, что пятьдесят лет подряд неподвижно стояли на деревянном столпе и в конце концов перерастали небо.

Я знаю, что Рильке любил ходьбу<sup>4</sup>, но когда в ходьбе не замечаешь, не чувствуешь своих ног, ощущая собственный шаг лишь по бегущим (летающим) мимо небесам и землям, это опять-таки рост - неподвижность - устремленность

Вам хотелось бы иметь письма? - Длинное, длинное тире. - Чтобы напечатать? Или только прочесть (получить)?

Когда четыре года назад я перевела на русский несколько его писем (кажется, из книги (или журнала) его памяти в издательстве «Insel»<sup>5</sup>) и еще одно женское письмо о нем («Неизвестная» (Inconnue\*) - знаете ли Вы это письмо - из книжки Эдмона Жалу)<sup>6</sup>, я написала небольшое предисловие: почему я не публикую писем Рильке ко мне. Кратко: раз я не сделала этого вчера, почему я должна это сделать сегодня? Произошло ли что-либо между вчера и сегодня, что дало бы мне внутреннее право (и могло бы пробудить желание) сделать это? Его смерть? Но во мне его смерть еще не исполнилась, ведь я каждую минуту хочу ему что-то сказать - и говорю - даже о погоде. Есть русское поверье, что душа после смерти тела пребывает в доме еще сорок дней. Я тоже в этом уверена - кроме числа дней. С моей матерью (умерла в 1905-м?) я

\*Незнакомка (фр.)

никогда не разговариваю, она вся для меня обратилась в образ и вечность.

В своей внутренней жизни я не желаю связывать или стеснять себя такой случайностью (напастью)<sup>8</sup>, как смерть. Печать? Зачем? Чтобы доставить радость другим? Тогда почему я не порадовала их (тех же самых!) вчера? Чтобы сохранить письма? Но для этого их не нужно печатать, достаточно их не трогать (пусть себе спят и творят во сне).

*Я не хочу, чтобы его смерть свершилась.*

Так писала я четыре года тому назад<sup>9</sup>, так чувствую и поныне, с тем, видно, останусь до конца моих дней. Пока вещь *во* мне, она - *я*, стоит только ее назвать - она принадлежит всем<sup>10</sup>. Ну а напечатать? То, что не имеет и не могло иметь своего завершения, ибо не имело истинного начала (почему? - об этом как-нибудь позже), завершится тотчас, как будет напечатана первая (или последняя) строчка. Вот *все*, что написал мне Р<ильке>. Больше он мне ничего не пишет.

Таковы, дорогая госпожа Рут, причины моего "нет".

Но - раньше я говорила "нет" просто по своей воле, никем не принуждаемая, сама себя - испытывая, сама себе - отвечая, с собственной совестью наедине; теперь же я стою перед Вами, дорогая госпожа Рут! Вы, единственный его ребенок (который *не мог* быть сыном)<sup>11</sup>, единственная его кровь (как высоко он ценил это слово и вещество!), - Вы имеете полное право на *все*го ушедшего. Ваше право на него - его право на самого себя. *Вам* я верну его письма.

О копии Вы не должны беспокоиться, дорогая госпожа Рут: все, даже любое вычеркнутое слово, даже буква (если бы нашлись такие) будут в копии точно соответствовать оригиналу. Достоверно - как рука поэта - в вещах поэта.

Итак, временно - для чтения и восхищения, не для печати. А когда хронологически этим письмам подойдет черед (лето-осень 1926 года)<sup>12</sup>, Вы обратитесь ко мне еще раз, да? Поживем - увидим, может, я все-таки соглашусь. Кроме меня никто не читал этих писем. Лишь «Элегию» я переписала для Бориса Пастернака<sup>13</sup>, сына художника Леонида Пастернака (друга Р<ильке>)<sup>14</sup> и - *величайшего поэта России*<sup>15</sup>.

О Р<ильке> я уже кое-что напечатала, *мое* к нему: по-русски: новогоднее письмо (к его первому новому году - там) - стихи - и лирическую прозу «Твоя смерть», собственно, тоже письмо о его смерти в однодневном соседстве - справа и слева - двух других смертей: бедной маленькой француженки (учительницы) и русского мальчика Вани. (Обоих я люби-

ла и знала, маленькая француженка умерла незадолго до него, маленький мальчик Ваня - вскоре после него, *во* мне они оказались его соседями).

Хотите ли иметь эти произведения (напечатаны в русских журналах)?<sup>16</sup> Вдобавок ко многому, что появилось уже в память о нем и еще появится? Перевода, к сожалению, нет, но будь у меня уверенность или хотя бы надежда, что это делается не для меня одной, я могла бы взять на себя и выполнить оба немецких перевода. Благодарность России за его великую любовь к ней, еще *и так* это мыслится.

О его письмах.

Первое, с чего я хотела бы начать, если издательство "Insel" мне даст согласие на эту работу, - перевод на французский и русский языки *русской* выборки из томов его писем. Ведь Р<ильке> всегда мечтал написать такую книгу<sup>17</sup>, *да она уже и написана*, ее надо только составить. Все, даже мелочи, каждая отдельная строчка должны войти в нее, скажем, строчка из первого тома: «Полночь, необычная полночь - сегодня в России начинается Новый Год»<sup>18</sup>. Уже в одной этой строчке - весь Р<ильке>, все его отношение к России, я не знаю, что Вы при этом чувствуете, высокочтимая госпожа, я же чувствую дрожь и трепет - так завораживает! Мне можете Вы доверить выбор!

...И наконец - ведь в каждом томе, наверное, будет что-нибудь о России - получится эта книга (Россия Рильке), написанная им самим. *Его волжский мир. Точное слово!*<sup>19</sup>

Это была бы работа, параллельная появлению новых томов его писем, и с выходом последнего тома вся книга была бы *готова*. - Согласны ли Вы, дорогая госпожа Рут, с французским (оно же будет и русским) заглавием книги - *La Russie de R.M. Rilke\** Это звучит (да и по сути) глубже, чем "R.M. Rilke et la Russie".\*\* Более *Он*. Более *цельно*. *Его* Россия, как *его* смерть. По-французски я умею писать и сочинять стихи так же, как на родном языке. Не беспокойтесь и будьте во мне уверены.

Россия оказалась благодарной к любившему ее великому поэту - не Россия, но эта наша эпоха. Моя работа стала бы началом бесконечной благодарности.

(Отнеситесь с терпением ко мне и моему письму - нам не *обойтись* без длиннот!)

Когда и если будете отвечать мне, не забудьте, пожалуйста, сообщить, что Вы думаете о возможности немецкого перевода моих уже упомянутых произведений о Р<ильке> («Новогоднее» и «Твоя смерть»)<sup>20</sup>. Ибо ради себя одной я не стану этого

\*Россия Р.М.Рильке (фр).

\*\*«Р.М.Рильке и Россия» (фр).

делать: у меня едва остается в день два свободных часа для работы и я пишу все время что-то свое (а Р<ильке> ведь понимает по-русски!)<sup>21</sup>. Я взялась бы за перевод лишь при полной уверенности, что это делается для других.

С почтительным поклоном Вам и Вашей матери (ведь ее Вы подразумеваете, когда пишете «мы»?)<sup>22</sup>.

Марина Цветаева

P.S. Мне очень хотелось бы иметь фотографию маленькой

Кристианы, о которой Р<ильке> летом 1926 писал с такой гордостью: «И третий год ее жизни уже *давно* позади»<sup>23</sup>. Мою сыну шел тогда второй год<sup>24</sup>.

Письма, Элегию и посвящения на книгах (он подарил мне "Орфей", "Элегии" и напоследок "Verger"<sup>25</sup>) Вы получите немного позже, но наверняка - в достовернейших копиях. И *еще* - позже все будет мной завещано Музею Рильке, нет - Святылице Рильке<sup>26</sup>, ибо *так* это должно называться: *Музей Гете и Святылице Рильке*<sup>27</sup>.

<sup>1</sup>В январе 1932 года Цветаева читала книгу: Rainer Maria Rilke. Briefe und Tagebücher aus der Frühzeit 1899 bis 1902. Herausgegeben von Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber. Leipzig, 1931, полученную от Н.Вундерли-Фолькарт (Цветаева благодарит ее за этот подарок 12 января 1932 года). В своих письмах конца 1901 - начала 1902 года Рильке, сообщая знакомым о родившейся у него 12 декабря 1901 года (в Вестерведе под Бременом) дочке Рут, описывает ее в колыбели, размышляет о ее будущем. Слова, взятые Цветаевой в кавычки, в письмах Рильке обнаружить не удалось.

<sup>2</sup>Вероятно, Цветаева вспоминает здесь строчку Рильке «Когда ты у окна стоишь...» из стихотворения «Dich wundert nicht des Sturmes Wucht...» («Тебе не странен гул грозы...»). Этим стихотворением открывается «Книга о паломничестве» - второй раздел «Часослова».

<sup>3</sup>Цветаева пишет это слово латинскими буквами и рядом, в скобках, пытается перевести его на немецкий: Stillsteher, Säulenhellige. Марк Львович Слоним рассказывал, что Цветаева «сама себя называла «столпником», избравшим малую пядь земли для утверждения своей правды...» (Марк Слоним. О Марине Цветаевой. - «Новый журнал», 1970, кн. 100, с.170).

<sup>4</sup>В письмах к Цветаевой от 10 и 17 мая, говоря о своей болезни, Рильке упоминает про утраченное его телом «блаженство от ходьбы по земле».

<sup>5</sup>Цветаева перевела на русский язык фрагменты четырех писем Рильке к молодому поэту Францу Ксаверу Каппусу (1883-1966), опубликованные в журнале "Insel-schiff", 1927, N.2, S. 134-141. Этот номер был полностью посвящен Рильке.

<sup>6</sup>Имеется в виду обращенное к Э.Жалу письмо «Неизвестной» («Une femme») от 7 января 1927 - попытка передать возвышенно-утонченный строй души Рильке. Напечатано в книге: Edmond Jaloux. Rainer Maria Rilke, Paris, 1927, p. 103-108. Цветаева перевела это письмо на русский язык и включила его в свою подборку, ибо придавала ему особое значение, выделяя его среди других публикаций, вызванных смертью Рильке. В очерке «Несколько писем Райнер-Мария Рильке» Цветаева подчеркивает, что «Неизвестная» создала «вещь, которой без нее, в *слове*, не было - своего Рильке, еще одного Рильке» (Марина Цветаева. Сочинения в двух томах. Т.2. М., 1988, с.345).

<sup>7</sup>На самом деле Мария Александровна Мейн, мать Марины Цветаевой, умерла 5 июля 1906 года.

<sup>8</sup>По-немецки - игра: Zufall ja Überfall.

<sup>9</sup>В очерке «Несколько писем Райнер-Мария Рильке» Цветаева рассуждала о посмертных письмах Рильке в мотивах, движущих их издателями: «Сделали ли бы они это вчера <т.е. стали бы печатать письма Рильке... К.А.>? Весче, чем «бы» - не делали. Что произошло между вчера и сегодня, вдохновившее и уполномочившее их на оплавление писем Рильке? - Смерть? - Значит, они действительно в нее поверили, ее признали? Да, признали, и, признав, воспользовались» (Марина Цветаева. Сочинения в двух томах. Т.2, с.345).

<sup>10</sup>Ср. в очерке «Несколько писем Райнер-Мария Рильке»: «...Пока вещь во мне, она - я, как только вещь во-вне, она - она, ты вет, ты опять - я...» (там же, с.344).

<sup>11</sup>Рильке представал Цветаевой поэтом-Орфеем, духом, богочеловеком - у такого «отца», по цветаевской логике, не могло быть «сына». В письме от 9-10 <7-8> мая она писала Рильке о Борисе Пастернаке: «Он насколько не в своего отца (лучшее, что может сделать сын). Я верю лишь в материнских сыновей. Вы тоже - материнский сын».

<sup>12</sup>Точнее: весна-лето 1926 года (последнее письмо Рильке к Цветаевой - от 19 августа).

<sup>13</sup>Когда и как именно «Элегия» Рильке, посвященная Цветаевой, была отправлена ей Пастернаку, установить не удалось. Во всяком случае, это произошло уже после смерти германского поэта. Посылая текст «Элегии» Анне Тесковой в Прагу, Цветаева писала ей 14 ноября 1936 года: «Вот Вам - вместо письма - последняя элегия Рильке, которую, кроме Бориса Пастернака, никто не читал» (Марина Цветаева. Письма к А.Тесковой, с.145).

## ПРАГА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

*О тихих улочках Праги часто вспоминает Марина Цветаева в письмах. Гора Петрин, вошедшая в две ее лучшие поэмы, возвышается над Прагой. А если мы захотим пройти с героями по пути их расставания, то спустимся с их горы в район Малой страны и найдем костел "Девы Марии под цепью". Серебряный мальтийский крест, который Цветаева называла звездой, видели лирические герои, сидя за столиком кафе. Оно находилось в доме напротив - и в том же доме тогда был отель на один час, не потому ли в поэме в разговоре героев мы слышим фразу: "Вы думаете, любовь - Беседовать через столик? Часочек - и по домам? Как те господа и дамы?" А из кафе лирические герои шли по Кампе к мосту Легии, потому что только здесь можно "реки держаться, как руки", только на этом мосту в то время платились "мостовые". А дальше - на гору, на холм Петрин, к "дому на горе". Здесь в 1923 году на Шведской, 1373 Эфроны нашли квартиру с "окном под самой крышей", отсюда в 1924 году они снова переселились в предместье. Тогда это было Йиловиште, где Марина дописала "Поэму Конца".*

Г. ВАНЕЧКОВА

<sup>14</sup>Леонид Осипович Пастернак (1862-1945) познакомился с Рильке в Москве в апреле 1899 года. Их переписка охватывает 1899-1926 годы.

<sup>15</sup>Мысль о том, что Пастернак - величайший из современных русских поэтов, Цветаева высказывала неоднократно. «Пастернак - большой поэт. Он сейчас больше всех: большинство из сущих были, некоторые есть, он один будет», - писала она в посвященной Пастернаку статье «Световой ливень» (Марина Цветаева. Сочинения в двух томах. Т.2, с.329). Ср. с ее отзывом о Б.Пастернаке в письме к Рильке от 9-10 <7-8> мая: «Он - первый поэт России. Об этом знаю я, и еще несколько человек, остальным придется ждать его смерти».

<sup>16</sup>«Новогоднее» было впервые напечатано в журнале "Версты" (Париж) 1928, N 3 с. 14-19; «Твоя смерть» - в журнале «Воля России» (Прага), 1927, N 5-6, с.3-27.

<sup>17</sup>Рильке действительно хотел, особенно в последние годы жизни, записать свои впечатления, связанные с Россией. Французский писатель Морис Бетц, переводчик произведений Рильке, сообщает, что в 1925 году в Париже Рильке «мучался желанием оживить в себе «русское чудо» своей юности» и намеревался «рассказать о своих русских поездках» (Maurice Betz. Rilke in Frankreich. Erinnerungen. Briefe. Dokumente. Wien - Leipzig - Zürich, <1938>, S. 137).

<sup>18</sup>Неточная цитата из письма Рильке к художнице Пауле Беккер (1876-1907) от 13 января 1901 года (Rainer Maria Rilke. Briefe und Tagebücher aus der Frühzeit 1899 bis 1902, S. 94).

<sup>19</sup>Выражение «волжский мир» (die Wolga-Welt) принадлежит Рильке. В письме к Л.Андреас-Саломе от 17 октября 1904 года Рильке упоминает про «волжский мир», по которому он «часто тоскует» (Rainer Maria Rilke. Briefe aus den Jahren 1902 bis 1906. Herausgegeben von Ruth Sieber-Rilke und Carl Sieber. Leipzig, 1930, S. 222). Это же выражение было использовано Цветаевой в надписи для Н.Вундерли-Фолькарт на одной из страниц отправленного ей в Швейцарию номера парижского журнала «Звездные тетради» («Cahiers de l'Etoile», 1929, T.10), где был напечатан цветаевский очерк «Райнер Мария Рильке» (русское заглавие - "Несколько писем Райнер-Мария Рильке"). Ср.: Райнер Мария Рильке. Борис Пастернак. Марина Цветаева. Письма 1926 года, с.234.

<sup>20</sup>Перевод этих произведений Цветаевой на немецкий язык не состоялся.

<sup>21</sup>Рильке изучал русский язык в 1899-1902 годах - в период своего наивысшего увлечения Россией. В те годы он свободно читал по-русски, писал письма в Россию и даже сочинял стихи на русском языке. К концу жизни, однако, он многое забыл (см., например, его письмо к Цветаевой от 17 мая).

<sup>22</sup>Слово «мы» в письме Рут Зибер-Рильке относилось скорее всего к ее мужу Карлу Зиберу (1897-1945), вместе с которым она тогда работала над эпистолярным наследием Рильке.

<sup>23</sup>Имеется в виду Кристина (Кристинана) Зибер-Рильке (1923-1947), дочь Карла Зибера и Рут Зибер-Рильке. Цитируемые слова содержатся в письме Рильке к Цветаевой от 17 мая.

<sup>24</sup>Георгий Эфрон, сын Цветаевой, родился 1 февраля 1925 года.

<sup>25</sup>Имеются в виду книги Рильке с его дарственными надписями, присланные им Цветаевой: «Сонеты к Орфею» (1923), «Дуинские элегии» (1923) и "Vergers" («Сады», 1926) - сборник французских стихотворений Рильке.

<sup>26</sup>По-немецки: Rilke-Haus (буквально - дом Рильке) и Rilke-Hain (буквально - роща Рильке). Слово Hain Цветаева употребляет здесь в том возвышенно поэтическом значении, какое утвердилось за ним в немецкой литературе после появления известной оды Клопштока "Холм и роща" (1767), - приют поэтов, обиталище муз, святилище.

<sup>27</sup>Свое волеизъявление Цветаева высказала уже в письме к Л.О.Пастернаку 21 декабря 1927 года: «Все это - стихи, письма, карточки - когда умру завещаю в Рильковский - музей? (плохое слово) - в Rilke-Haus, лучше бы - Rilke-Hain! который наверное будет. Не хочу, чтобы до времени читали, и не хочу, чтобы пропало. В Россию как в хранилище не верю, все еще вижу ее пепелищем» (Марина Цветаева. Незданные письма. Под общей редакцией проф. Г.Струве и Н.Струве. Париж, 1972, с.253-254). О том же говорится и в письме Цветаевой к Н.Вундерли-Фолькарт от 2 апреля 1930 года: «Письма Рильке, его книги с надписями и его - наверное, последнюю - Элегию я завещаю веймарскому Дому Рильке (почему не Селтишцу - ведь любой дом был или станет благодаря ему святилищем?)...» По-немецки опять-таки: Rilke-Haus и Rilke-Hain.



ФОТО И. ТРОНОВСКИ



# ВСЕМИРНОЕ СЛОВО-94

Распространяется по почте и продается через книжные магазины в разных странах новый международный журнал на русском языке "Всемирное слово", издающийся в Санкт-Петербурге.

"Всемирное слово" знакомит читателей с лучшими публикациями авторитетного международного журнала "Lettre internationale", выходящего на двенадцати европейских языках и имеющего свои национальные редакции в Париже, Берлине, Риме, Мадриде, Праге, Белграде, Загребе, Будапеште, Бухаресте, Софии и Варшаве. Русская редакция в Санкт-Петербурге с 1991 года входит в эту международную журнальную семью.

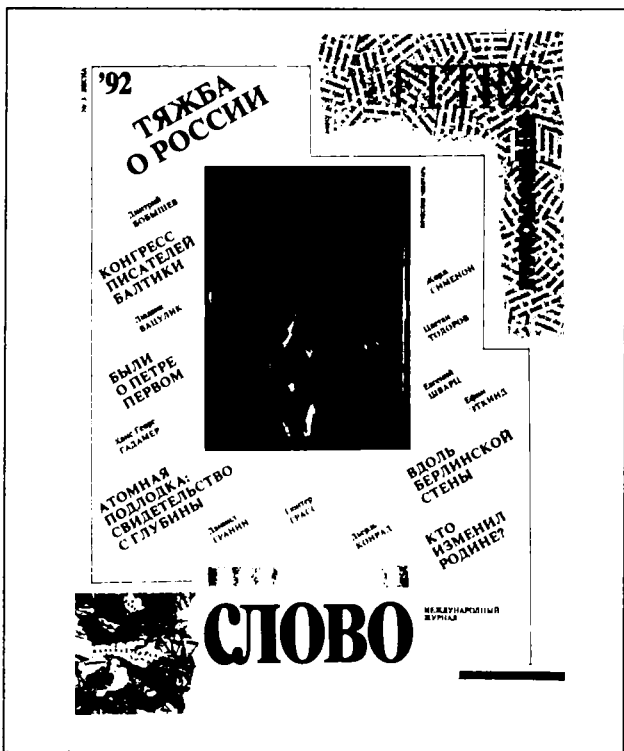
"Всемирное слово" активно сотрудничает с другими европейскими редакциями, обменивается с ними материалами и печатает в переводах на русский язык авторов со всех континентов. Журнал помещает на своих страницах оригинальные произведения литературы и публицистики, аналитические статьи, эссе и корреспонденции, выразительные документы, рассказы, очерки и стихотворения наиболее известных авторов, сотрудничающих с "Lettre internationale", а также пишущих специально для "Всемирного слова".

Независимый от каких-либо партий и общественных движений, журнал "Всемирное слово", как и его европейские партнеры, придерживается в целом демократической ориентации, выступает за равноправное международное сотрудничество, уважение достоинства всех народов, больших и малых, развитие интернациональных культурных связей, объединение сил прогресса и справедливости. Журнал содействует интеграционным процессам в Европе и выступает за органическое включение в эти процессы России как крупнейшего евразийского государства.

"Всемирное слово" выходит на 88 полосах большого журнального формата, в цветной обложке, с рисунками и фотографиями. Периодичность издания - один номер журнала в три месяца, четыре книжки в год.

Стоимость годового комплекта журнала из четырех номеров за рубежом - 200 французских франков или 36 долларов США. По условиям подписки, в России цена за одну книжку журнала определяется лишь на первое полугодие: 450 руб. (без стоимости доставки).

Если вы хотите получить концентрированное и разностороннее представление о культуре и искусстве, философии и политике, исторической и общественной мысли современного мира, о сложнейших общественно-политических, художественных и культурных процессах, совершающихся в России и других странах, читайте международный журнал "Всемирное слово"!



# ВСЕМИРНОЕ СЛОВО - 94

## (условия подписки)

*Международный иллюстрированный журнал "Всемирное слово" издается в Санкт-Петербурге на русском языке 4 раза в год.*

*Цена одного номера журнала в первом полугодии 1994 года - 450 руб. (без стоимости доставки).*

Подписка на журнал "Всемирное слово" в Санкт-Петербурге, Москве, в краях и областях Российской Федерации, а также в странах рублевой зоны СНГ производится только по абонементу (отрезному талону) с последующей оплатой наложенным платежом почтовых расходов за пересылку журнала из Петербурга по адресу подписчика.

**ДЛЯ ПОДПИСКИ НЕОБХОДИМО:**

- 1) Выслать почтовый перевод на сумму 900 руб. (за две книжки журнала) по адресу: 190000, Санкт-Петербург, Главпочтамт, к/с 700161262 в РЦ-3  
с/с 62000161025  
р/с 467117 в Отделении 2 Астробанка, СПб, МФО 16100. Подписка на "Всемирное слово";
- 2) Заполнить помещенный ниже отрезной талон (абонемент и доставочную карточку) и с отметкой кассовой машины об оплате подписки отправить его письмом по адресу:  
**191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 18, комн. 11, редакция журнала "Всемирное слово".**

При оформлении подписки без кассовой машины на отрезном талоне проставляется оттиск календарного штампа местного отделения связи, а к талону прикладывается квитанция об оплате подписки. Получив оплаченный отрезной талон, редакция вышлет подписчику абонемент с печатью "Всемирного слова", подтверждающий его право на получение двух номеров журнала за первое полугодие 1994 года.

Продажа журнала в розницу по договорным ценам через киоски Роспечати ограничена.  
В Санкт-Петербурге журнал "Всемирное слово" можно приобрести за наличный расчет в книжных магазинах:  
*Дом книги*, Невский пр., 28,  
*Магазин "Маска"*, Невский пр., 13,  
*Книжная лавка писателя*, Невский пр., 66,  
*Магазин "Подписные издания"*, Литейный пр., 57.

В Москве подписка на журнал "Всемирное слово" осуществляется также рекламно-производственной фирмой "ADRES": 127254, Москва, ул. Руставели, 8, тел: 218-19-18; телекс: 411700.

По вопросам подписки на журнал "Всемирное слово" за рубежом следует обращаться в Федеративную Республику Германию по адресу: Lettre international, Rosenthaler Str., 13 D-10119 Berlin, тел. 0-30-238 68 59 или 231 65 43. Телефакс: 281-75-26.

Подписка на первое полугодие принимается до **31 марта 1994 года**.

Изданный номер подписчикам досылается.

Регистрационный индекс журнала "Всемирное слово" - 78550.



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Министерство связи         |                       |
| <b>АБОНЕМЕНТ</b> на журнал | <b>78550</b>          |
| (Индекс издания)           |                       |
| <b>ВСЕМИРНОЕ СЛОВО</b>     | Количество комплектов |
| на 1993 год по кварталам   |                       |
| 1                          | 2                     |
| 3                          | 4                     |
| Куда                       |                       |
| (почтовый индекс) (адрес)  |                       |
| Кому                       |                       |
| (фамилия, инициалы)        |                       |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА      |                       |
| П В                       | место                 |
| ли-тер                    | на журнал             |
|                           | <b>78550</b>          |
| (Индекс издания)          |                       |
| <b>ВСЕМИРНОЕ СЛОВО</b>    |                       |
| Стои-мость                | подписки              |
| руб. кап.                 | руб. кап.             |
| пере-адресовки            | Количество комплектов |
| на 1993 год по кварталам  |                       |
| 1                         | 2                     |
| 3                         | 4                     |
| Куда                      |                       |
| (почтовый индекс) (адрес) |                       |
| Кому                      |                       |
| (фамилия, инициалы)       |                       |

Ф

онд Мюнхенской государственной библиотеки составляет около 3,3 млн томов. И, между прочим, получить многие из этих книг не так-то просто. Скажем, вы заказываете самую обыкновенную книжку 1961 года издания, указали шифр, все прочее, что положено, но вместо книги вам выдают розового цвета листочек, на котором написано: «Читальный зал. Копированию не подлежит. Допускается микрофильмирование». Получив, наконец, в читальном зале сей бесценный раритет, вы его раскрываете, и тут все становится ясно - клееный корешок

# ТРИ ВАРИАНТА ОДНОЙ ИСТОРИИ

трещит, страницы ужасного желтого цвета, похоже, бумага здесь того же сорта, что идет на дешевые самокрутки. Скоро эта книга превратится в "лапшу". Ничего не поделаешь: леса вымирают, несмотря на то что ради экономии древесины в дело идут щепы и опилки. С недавних пор на службу литературе поставлены бисульфит кальция и хлорная известь, это всем известно, кроме писателей.

- По-видимому, вы любите старые книги?

- Старые, новые - по-моему, тут нет большой разницы. Я, между прочим, не фетишист.

- То есть? Что вы хотите сказать?

- Ничего обидного для библиофилов. Просто культ, который они создали из всяких там уникальных экземпляров, порядком действует на нервы. Старинные издания так дороги, что купить и не мечтай, да и читать-то не осмелишься. Или какой-нибудь огромный том в кожаном переплете с тисненым гербом герцогства Брауншвейг-Люнебургского, например... Нет, такие книги не по мне.

- А какие? Новинки? Первая десятка в списке хитов?

- Ну нет. Если довольствоваться только этим добром, то, право, лучше сразу повеситься. Вообще, лучшие писатели - мертвые писатели. Это, кстати, подтверждает статистикой.

- Ага! Значит все-таки классика?

- А хоть бы и так. Дело ведь не в известности автора. Мы ведь говорим о сохранности книг. Выходит масса полезных изданий "однодневного пользования", скажем, расписание движения поездов или опусы с названиями вроде "Федеральная стандартная номенклатура протезных изделий с указателем розничных цен". Их хо-

тя бы не нужно брошюровать, переплетать и печатать на высококачественной бумаге.

- Но уж зато хорошие книги надо печатать на...

- Бросьте, бросьте. Хорошие книги! То, что книга хороша, доказывается одним - тем, что она не дает пищи рецензентам. Но чтобы книга была действительно хорошей, необходимы еще три условия: хорошая бумага, хорошая печать, хороший переплет.

## II

Помню, раздался звонок в дверь. Вошел невысокий энергичный человек неопределенного возраста, лет, пожалуй, тридцати пяти, с удивительными зелеными глазами. И сразу взял быка за рога:

- Хотите в течение нескольких лет каждый месяц издавать не меньше одной книги?

- Это каким же образом?

- У меня отлично оборудованная мастерская: прессы, монотип, акциденция, словолитня, в общем, - все, что вам нужно. Превосходные машины, а купил за бесценок, сейчас ведь издательства переходят на электронику...

- Какие же книги вы хотите издавать?

- Да я вас об этом спрашиваю!

Это был Франц Грено. Впервые в жизни я повстречал издателя, который действительно разбирался во всем лучше меня.

## III

## О ПОЛЬЗЕ АВАНТЮРИЗМА И ВРЕДЕ ПОСПЕШНОСТИ

Мы затеяли отчаянное предприятие. Франц Грено, явившийся ко мне в 1985 году, пошел против всех правил, принятых в нашем деле. В те годы, как, впрочем, и сейчас, книжный рынок представлял собой настоящий сумасшедший дом. Аппарат нашего издательства был мизерный, финансовое одеяло - коротковато, накладные расходы просто не поддавались учету. На шестом году своего существования "Другая библиотека" оказалась на грани краха. Ведь и успех может обернуться гибелью. Нет нужды изучать экономику, чтобы признать это. Критика подняла шум: литейный набор, гарнитура, печать - все это прекрасно, но где же программа нового издательства? Я им ответил: "Программа "Другой библиотеки" столь же проста, сколь обширна. Мы печатаем только такие книги, которые нам самим интересно читать. Честно говоря, нам безразлично, новые это книги или старые, фантастика, приключения, еще что-то... Ярлыки, принятые в мире книжного бизнеса, нас не устраивают: беллетристика, документальная проза и т.п. Древнегреческий автор нам так же мил, как какой-нибудь неграмотный сказитель родом из Африки, лишь бы рассказ был интересен". Более того, я сказал вот что: программа нашего издательства гласит - берем все. Но и это было лишь наполнению правдой.

Если ты что-то обещал, но не сдержал слова, значит, ты мерзавец. Предвыборная борьба в который раз уже показывает, что одними обещаниями сыт не будешь, верить можно только результатам. Тот, кто ставит перед собой перспективные цели,

## Ханс Магнус ЭНЦЕНСБЕРГЕР

должен иметь две вещи: удачу и тайную мысль. Запланировать удачу невозможно. У нас удачи были. Это книги Кристофа Рансмайра, Ирены Дише, В.Г.Зебальда. Но вообще стопроцентное попадание - идеал журналистов. Книга же самое неторопливое из всех средств массовой информации. И чем меньше издательство ограничивает себя, чем свободнее его выбор, тем больше требуется времени, чтобы тайная мысль начала проступать на поверхность. Начав сотрудничать с издательством Айхборн, "Другая библиотека" выиграла время. Ближайшие годы покажут, что мы не ставим перед собой цель удовлетворять исключительно археологические интересы. Но и упрекнуть нас во всеядности тоже не удастся.

Внимательные читатели давно заметили, что "Другая библиотека" уже несколько лет последовательно проводит вполне определенную линию, вернее, несколько линий: это русская, арабская, восточноевропейская литературы, литература викторианской эпохи, сказки, едва не вымершие в наше время, своеобразное "еретическое" ответвление литературы французского Просвещения, книги о природе и истории, порвавшие с привычным академическим подходом.

Наша установка медленно, но уверенно проявляется и в формальном отношении. Литературное ремесло с древнейших времен предпочитает известные формы. Роман был и остается станковым хребтом литературы. Очерки, рассказы, диалоги, письма, фрагменты, интервью и репортажи считаются литературой второго сорта. Но такое отношение к ним - анахронизм, хотя бы потому, что многие виднейшие авторы ни во сне ни наяву не думали, что им надлежит следовать каким-то законам жанра. "Все или ничего" Раймонда Федермана, "Что есть что" Кристиана Энциенсбергера, "Пушта" Дьюлы Иллеша, - что это, романы? Описание путешествий? Документальная проза? Автобиографии?

А что касается так называемых популярных изданий, то им нередко свойственны известная сухость, недостаток фантазии. Разве энциклопедический охват материала несовместим с шуткой или полемическим задором, эмоциональностью? В этом направлении "Другой библиотекой" тоже кое-что предпринято. Мы уже издали "По призыванию садовод" Борхардта и "Азбуку убийств и красоты" шекспироведа Рольфа Фольмана. Собираемся выпустить ряд книг, в которых речь пойдет о нашей правовой системе, о языке, о традициях и обычаях. Даже "Другая Библия" уже есть!

Как издатель я не могу, да и не должен решать, сойдется ли пасьянс, который раскладываю уже пять лет. Надеюсь и еще пять лет ломать над ним голову. Проглядывает ли что-то вроде программы в уже вышедших томах "Другой библиотеки"? Надеюсь, что это так. Но последнее слово, как всегда, за читателем.

KERESKEDELMI BANK Rt.

K&H  
BANK

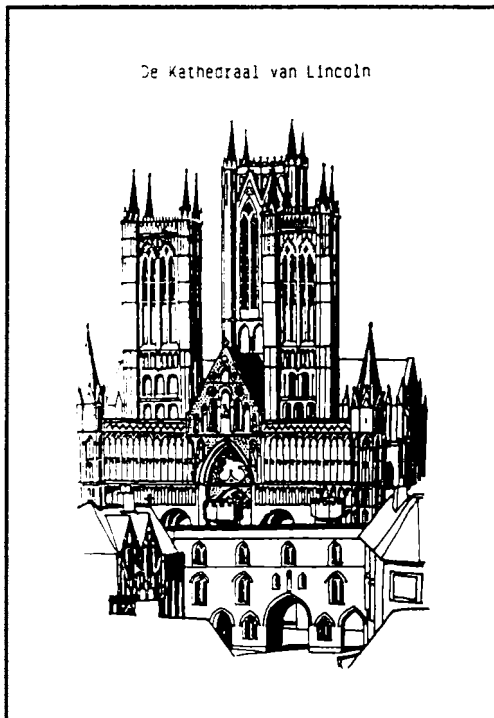
AHOL A PENZ DOLGOZNI KEZD.

## НАШ ДОКУМЕНТ

Института русской литературы советской Академии наук в Ленинграде. Во время войны он храбро защищал свой город и был дважды ранен. После войны он женился на женщине, которая была до этого офицером Красной Армии. Как сержант он подчинялся ее приказам и теперь признает, что как муж все еще находится под ее командованием.

Мы в Оксфорде очень рады, что этот многознающий ученый, предпринявший большие труды в области английской литературы, находится сейчас среди нас и

Давно оставил он работы, связанные с войной, заменив их изучением космографии и исследованиями вопросов происхождения вселенной. Он часто говорил о гармонии среди народов и благосостоянии политических оппозиционеров в России. Вот начало его первого Манифеста 1968 года: «Разобобщенность человечества угрожает ему гибелью». Эти ясные и простые слова нужно помнить всем. В них чистота правды и гуманизма, о которых на долгое время было забыто в России. Однако людьми Западной Европы и Америки слова эти были восприняты с радостью. Они - пред-



Ю. Д. ЛЕВИН

За последние двести лет Оксфордский университет присудил почетные степени небольшому числу наиболее выдающихся русских людей. Среди тех, кому была оказана честь в этом театре в недавнее время, находились Михаил Алексеев и Виктор Жирмунский, прославленные члены советской Академии наук, особо отличившиеся в постижении европейской литературы. Д-р Юрий Левин, которого я сейчас представляю, - ученик их обоих, и он вполне обладает такой же ученостью и таким же знанием языка и литературы. Двадцать лет назад наш оратор, представляя академика Алексева, сказал: «Он проявил необычайные познания и мудрость в своей работе над русской и английской литературами, в сущности, всех эпох и в исследовании влияния, которое каждая оказывала на другую».

Я могу с уверенностью заявить то же о д-ре Левине. Особое внимание он уделял восприятию в России британских авторов. Его исследование борьбы Толстого против Шекспира отличают чуткость и понимание. Не менее проникательна его работа о Кюхельбекере, славном борце за свободу, который, находясь в тюрьме, обретал немалое утешение, читая Вальтера Скотта и Джорджа Крабба. Он опубликовал русский перевод Оссиана, точный и изящный, как все его переводы, сопровождающийся ученым комментарием. Вершиной его работы над английскими писателями является перевод, который он сейчас готовит, написанной Босоуаллом «Жизни Сэмюэла Джонсона», великого хана литературы, бывшего питомца Оксфорда и славного сына Пембрук-Колледжа. Это поистине героический труд. Представьте себе радость, с какой наши оксфордские джонсоновцы Р.У.Чепмен и Л.Ф.Пауэлл, оба почетные доктора, приняли бы его, если бы судьба допустила. Но, по крайней мере, Оксфорд может выставить оратора, который давно уже является членом совета джонсоновского колледжа, чтобы приветствовать этого замечательного джонсоновца.

Д-р Левин - сотрудник Пушкинского Дома,

\* Печатается по брошюре, составленной профессором Дж.Симовсом (Оксфорд, 1991)

## ПОХВАЛЬНЫЕ ЛАТИНСКИЕ РЕЧИ ОРАТОРА Г.БОНДА В ЧЕСТЬ ПОЧЕТНЫХ ДОКТОРОВ ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА\*

смотрит на «отдаленных британцев», как некогда назвал нас Катулл. Он прибыл в Оксфорд получить почетное звание. Мы надеемся, что он будет часто приезжать сюда для занятий и обсуждения своей работы с оксфордскими коллегами, с которыми он часто переписывается. Мы теперь искренне желаем, чтобы связи между британскими и советскими учеными укреплялись, чтобы каждая сторона могла обрести ясное понимание другой стороны.

Я представляю Юрия Левина, который отличился в деле распространения и истолкования английской литературы среди своих русских соотечественников, к присуждению ему почетной степени доктора литературы.

*Присуждение канцлера университета:  
Многознающий ученый, острый критик и превосходный истолкователь взаимосвязей между русской и английской литературами, я властью своей собственной и всего университета присуждаю вам почетную степень доктора литературы.*

А. Д. САХАРОВ

В 1879 году Оксфорд шумными аплодисментами приветствовал Ивана Тургенева, либерала, известного в родной ему России и во всем мире своим гуманизмом по отношению к крепостным крестьянам, в защиту которых он поднял свой голос. Сейчас перед вами другой русский, гуманизм которого известен всему миру. Долгие годы он трудился и страдал во имя свободы в Советском Союзе. Вы видите перед собой непревзойденного защитника человеческих прав.

Андрей Сахаров в то же время и ученый, способный «открывать природу вещей». Он был учеником Игоря Тамма, и его ранние изыскания были связаны с созданием ужасного оружия войны для защиты его родины. Путем сильного нагревания ядер легчайших атомов ему удалось достигнуть их соединения, что привело к созданию материи, обладающей огромной разрушительной силой.

Некоторые ученые готовы приветствовать Сахарова как Прометея, похитившего секрет огня у Зевса. Я предпочел бы сравнить его с Афиной, которая, обладая способностью Зевса употреблять молнии, предпочитала мягкость увещания:

*Одна из всех богов я знаю ключ от двери той,  
Что прячет молнии и громы.  
Но в них мне нужды нет.*

О нашем кандидате в почетные члены должно говорить как о первейшем борце за мир в течение последнего тридцатилетия.

вестник гласности, прославляемой теперь многими в России.

Мы верим, что присутствие здесь академика Сахарова и его жены Елены, которая когда-то прочитала за него в Осло его Нобелевскую лекцию, в то время как ему, получившему Нобелевскую премию, отказано было в визе, есть проявление гласности. О времена! О нравы! И времена и нравы изменились к лучшему. Недавно Сахаров был избран на Съезд народных депутатов. Теперь, наконец, мы можем надеяться, что все его единомышленники, за дело которых он борется, будут освобождены и что гармония и дружелюбие установятся между нами и людьми Советского Союза.

Я представляю вам Андрея Сахарова, благородного борца за гармонию, выдающегося физика, давно уже имевшего звание академика Академии наук СССР и теперь ставшего членом ее президиума, к присуждению ему почетной степени доктора наук.

*Присуждение канцлера университета:  
Ученый, прошедший путь государственного деятеля с факелом, зажженным во имя гуманизма и излучающим жар, подобный тому, которым вы когда-то соединяли ядерные частицы, я властью своей собственной и всего университета присуждаю вам почетную степень доктора наук.*

И. А. БРОДСКИЙ

Теперь я представляю поэта, рожденного в Питере, если называть город старинным именем, которое все еще с чувством произносится жителями Петрограда, хотя обычно применяется другое название.

Поэзию его отличает необычайно живое владение языком. Он использует слова, тщательно отобранные и глубоко значимые, содержащие отзвук былой поэзии, что постигают знатоки. В нем горит Прометеев огонь, овладение которым он считает высшей и священной целью. Убогой была бы душа того, кто мог бы пройти равнодушно мимо возвышенной алегрии Бродского памяти Джона Донна, или его стихов о Еврейском кладбище в его родном городе, или о снесении Греческой церкви, чтобы освободить место для концертного зала. Он публиковал ученые и проникательные очерки о таких поэтах, как Марина Цветаева, Осип Мандельштам и Анна Ахматова, которых особенно чтит. Он также хорошо начитан в иностранной поэзии и написал статьи о творчестве Монтале и Дерек Уолкотта. И, разумеется, он опубликовал тщательный и детальный разбор и



толкование стихотворения Одена «1 сентября 1939 года».

Особенно тяжело пришлось нашему кандидату в почетные доктора оставаться поэтом под гнетом властителей, которые считали любое стихотворение его или его друзей «лингвистическим неповиновением», как он это называет, в то время, когда осмотнительный поэт был вынужден публиковать и распространять свои творения тайно посредством самиздата.

В 24 года его арестовали и судили по обвинению в том, что он просто поэт и не имеет никакого другого занятия для поддержания жизни. Его приговорили к ссылке в далекий край, где он выстрадал многие месяцы тяжкого подневольного труда. Затем его выслали из страны. О господи! Столь жестокая репрессия, конечно, заслуживает общего осуждения и ужаса. С вашего позволения я вкратце отступлю от своей обязанности произносить хвалебную речь: властью мне данной от имени всех муз я клеймлю позором этот приговор и судьбу Савельеву, которую Бродский клянет в одном из своих последних стихотворений.

Теперь он долгое время живет в изгнании и преподает литературу в Соединенных Штатах, являясь профессором колледжа Маунт Холиоук. Его стихи и статьи, переведенные на многие языки, распространены по всему свету. Ныне, когда в России восходит новая заря свободы, на него ссылаются и в его родной стране.

Я представляю Иосифа Бродского, поэта поэтов, удостоенного Нобелевской премии и избранного поэтом-лауреатом Соединенных Штатов, самого выдающегося из современных русских поэтов, к присуждению ему почетной степени доктора литературы.

*Присуждение канцлера университета:  
Красноречивый поэт, чьи прекрасные стихи  
восхищают читателей, упрочивают свободу,  
бросают вызов тиранам и способ-  
ствуют объединению мира во взаимопони-  
мании, я властью своей собственной и всего  
университета присуждаю вам почетную сте-  
пень доктора литературы.*

### С. Т. РИХТЕР

Господин Святослав Рихтер!

Какое качество присуще пианистам высочайшего уровня, кроме удивительного природного дара в сочетании с бесконечным трудолюбием? Они должны обладать еще и таинственной силой, ниспосылаемой свыше, чтобы, как певец у Гомера, который "запел, преисполненный Бога" (1), представлять боговдохновенными.

Но обладание этой силой - удел очень немногих, и нам надлежит почитать их так же, как эпические герои лелеяли "много любимого певца".

Долгое время божественная сила Святослава Рихтера была сокрыта в Советском Союзе и в странах Восточной Европы. Тогда до нас доходили лишь случайные слухи о загадочных происшествиях на прекрасных концертах и о бывших там посвященных русских, "наитьем Бога одержимых" (2). То были легенды, которым сложно было найти какое-то подтверждение. Но когда, наконец, лет тридцать тому назад он приехал с концертами в Лондон, его слушатели испытали то же волнение и ту же душевную тревогу. "Что впоследствии - не требует подробного рассказа: возгласы и крики" (3). Потом, после исполнения сонаты *Hammerklavier* Бетховена в кэмбриджском Кингс Колледже публика просто отказывалась его отпускать. Мы в

Британии поняли, что ныне награждаемый нами не повторяет музыкальное произведение: он сотворяет его, и сотворяет лишь силой мастерства, которое столь виртуозно и столь велико, что кажется, будто каждый фрагмент произведения рождается у вас на глазах и в то же время является частью видимого всем целого.

В его игре прорывается русская необузданность и дикость, укрошенные и оформленные немецкой дисциплиной. Его отец, Теофиль Рихтер, учивший его основам музыки, долгое время жил в Вене; потом в Московской консерватории он прошел суровую школу другого строгого учителя, Генриха Нейгауза. Таким образом он наконец и развил, и укротил гигантскую силу своей левой руки.

Его репертуар широк: Шуберт, особенно им любимый, Лист, сонату которого он блестяще интерпретировал, и большинство классических композиторов. Он давал советы

Сергею Прокофьеву, когда тот писал и впервые исполнял свои шестую и седьмую сонаты. Девятая соната Прокофьева посвящена ему. Он аккомпанировал Ростроповичу, которого десять лет тому назад мы чествовали в этом зале, когда тот исполнял партию виолончели на первом исполнении Симфонии-концерта Прокофьева.

Он обладатель многих почетных званий в России. Он награжден орденом Ленина, а недавно получил Ленинскую премию. Он занял первое место на третьем Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. Его мать, как и его отец, была музыкантом, музыкант и его жена Нина, которая часто поет под его аккомпанемент.

Представляю Святослава Рихтера, самого выдающегося музыканта в музыкальном мире, к почетной степени доктора музыки.

## СПИСОК РУССКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ, ПОЧЕТНЫХ ДОКТОРОВ ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С 1763 ПО 1992 ГОД

|      |   |
|------|---|
| 1763 | гр. Александр Романович <b>ВОРОНЦОВ</b> [[DCL]                |
| 1813 | кн. Петр Борисович <b>КОЗЛОВСКИЙ</b> [[DCL]                   |
| 1814 | имп. <b>АЛЕКСАНДР I</b> [[DCL]                                |
|      | ген.-фельдм. Михаил Богданович <b>БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ</b> [[DCL] |
|      | кн. Павел Гаврилович <b>ГАГАРИН</b> [[DCL]                    |
|      | бар. Христофор Андреевич <b>ЛИВЕН</b> [[DCL]                  |
|      | гр. Карл Васильевич <b>НЕССЕЛЬРОДЕ</b> [[DCL]                 |
|      | ген. гр. Адам Петрович <b>ОЖАРОВСКИЙ</b> [[DCL]               |
|      | ген. Яков Алексеевич <b>ПОТЕМКИН</b> [[DCL]                   |
|      | гр. Андрей Кириллович <b>РАЗУМОВСКИЙ</b> [[DCL]               |
|      | ген. Федор Петрович <b>УВАРОВ</b> [[DCL]                      |
|      | ген. гр. Александр Иванович <b>ЧЕРНЫШЕВ</b> [[DCL]            |
| 1817 | вел. кн. <b>НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ</b> [[DCL]                       |
|      | проф. Григорий Андреевич <b>ГЛИНКА</b> [[DCL]                 |
|      | Павел Васильевич <b>КУТУЗОВ</b> [[DCL]                        |
|      | бар. Павел Андреевич <b>НИКОЛАЙ</b> [[DCL]                    |
|      | Иван Федорович <b>САВРАСОВ</b> [[DCL]                         |
| 1818 | вел. кн. <b>МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ</b> [[DCL]                        |
| 1834 | гр. Адам Федорович <b>МАТУШЕВИЧ</b> [[DCL]                    |
|      | ген. Николай Александрович <b>САБЛУКОВ</b> [[DCL]             |
| 1839 | царевич <b>АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ</b> [[DCL]                    |
|      | ген. Александр Александрович <b>КАВЕЛИН</b> [[DCL]            |
|      | ген. гр. Алексей Федорович <b>ОРЛОВ</b> [[DCL]                |
|      | Василий Андреевич <b>ЖУКОВСКИЙ</b> [[DCL]                     |
| 1844 | Василий Яковлевич <b>СТРУВЕ</b> [[DCL]                        |
| 1879 | Иван Сергеевич <b>ТУРГЕНЕВ</b> [[DCL]                         |
| 1894 | Дмитрий Иванович <b>МЕНДЕЛЕЕВ</b> [[DCL]                      |
| 1902 | *Павел Гаврилович <b>ВИНОГРАДОВ</b> [[DCL]                    |
| 1907 | Александр Константинович <b>ГЛАЗУНОВ</b> [[DMus]              |
| 1919 | *Михаил Иванович <b>РОСТОВЦЕВ</b> [[DLitt]                    |
| 1926 | *Фаддей Францович <b>ЗЕЛИНСКИЙ</b> [[DLitt]                   |
| 1958 | Дмитрий Дмитриевич <b>ШОСТАКОВИЧ</b> [[DMus]                  |
| 1959 | *Георгий Богданович <b>КИСТЯКОВСКИЙ</b> [[DSc]                |
| 1960 | Николай Николаевич <b>СЕМЕНОВ</b> [[DSc]                      |
| 1962 | *Георгий Александрович <b>ОСТРОГОРСКИЙ</b> [[DLitt]           |
| 1962 | Корней Иванович <b>ЧУКОВСКИЙ</b> [[DLitt]                     |
| 1963 | Михаил Павлович <b>АЛЕКСЕЕВ</b> [[DLitt]                      |
| 1964 | *Феодосий Гаврилович <b>ДОБЖАНСКИЙ</b> [[DSc]                 |
| 1965 | Анна Андреевна <b>АХМАТОВА</b> [[DLitt]                       |
| 1966 | Виктор Максимович <b>ЖИРМУНСКИЙ</b> [[DLitt]                  |
| 1967 | Дмитрий Сергеевич <b>ЛИХАЧЕВ</b> [[DLitt]                     |
| 1973 | Израиль Моисеевич <b>ГЕЛЬФАНД</b> [[DSc]                      |
| 1974 | *Александр Павлович <b>ГЕРШЕНКРОН</b> [[DLitt]                |
| 1980 | *Мстислав Леопольдович <b>РОСТРОПОВИЧ</b> [[DMus]             |
| 1981 | *Роман Осипович <b>ЯКОБСОН</b> [[DLitt]                       |
| 1987 | *Исайя Менделевич <b>БЕРЛИН</b> [[DLitt]                      |
| 1988 | Юрий Давидович <b>ЛЕВИН</b> [[DLitt]                          |
| 1989 | Андрей Дмитриевич <b>САХАРОВ</b> [[DSc]                       |
| 1991 | *Иосиф Александрович <b>БРОДСКИЙ</b> [[DLitt]                 |
| 1992 | Святослав Теофилович <b>РИХТЕР</b> [[DMus]                    |

СОКРАЩЕНИЯ: \* - В эмиграции,  
DCL - доктор гражданского права,  
DLitt - доктор литературы,  
DMus - доктор музыки,  
DSc - доктор науки.

(1) Гомер. Одиссея, VIII, 499.

(2) Еврипид. Вакханки, 1094.

(3) Цицерон. Аттике, I, 14, 4.





---

литер  
ной в  
ли к  
Чехов  
лю,  
же «ч  
ствую  
жу эт  
отчег  
есть  
огран

то в Германии, где бастила фашизма еще жива, пропаганда гитлеровских идей строго запрещена. Законодательство там оперативно реагирует на любые фашистские вылазки.

Недавние антифашистские выступления, погромы и поджоги вызвали мгновенные действия и законодательной, и исполнительной властей, в частности, был принят закон об ответственности за использование нацистской символики.

У нас антифашистских законов нет, есть в Уголовном кодексе Российской Федерации ст. 74, предусматривающая наказание за разжигание национальной розни, но и эта статья практически не применяется. А позиция, которую твердо занимают наши правоохранительные органы, привела к то-

зически, а их "группа поддержки" в парламенте испортит дальнейшую карьеру.

Несомненной победой фашистов можно считать оправдательный приговор, вынесенный в феврале 1993 г. городским судом Санкт-Петербурга по делу В.Безверхова. Безверхий издал и распространил сокращенный вариант книги Гитлера "Майн Кампф". Выбор глав, вошедших в издание, был явно обусловлен единственной целью: возбудить ненависть к еврейскому народу. Публикации предпослано откровенно юдофобское предисловие издательства "Русский клич".

Еще десять лет назад Безверхий собственной кровью написал: "Клянусь посвятить всю свою жизнь борьбе с иудейством -

## Нина КАТЕРЛИ Юрий ШМИДТ

при издании "Майн Кампф" им двигал, в основном, коммерческий интерес, и судей это объяснение удовлетворило.

Доказать наличие умысла всегда сложно. Можно опираться и на свидетельские показания, и на признание обвиняемого, и на его письма и дневниковые записи. Но даже против таких доказательств всегда найдутся возражения: "Да, я говорил и писал, что хочу его убить, да, я пошел к убитому, захватив с собой топор. Да, замахнулся! Но де-

# БУДЕТ ЛИ ПОБЕДА ЗА НИМИ?

му, что все выходки на глазах наглеющих фашистов, начиная с выпуска нацистской литературы и кончая нападением вооруженных боевиков на ОМОН, остаются безнаказанными. Это и неудивительно: весь мир видел на телеэкранах первомайское кровопролитие в Москве, видел и то, как Верховный Совет решительно взял под защиту организаторов и инициаторов этого кровопролития. Чего же требовать от прокуроров, сотрудников Министерства безопасности, судей? Ведь там по сей день работают те же самые люди, что отличались такой бесшабашной "независимостью" при владычестве КПСС. Сегодня они напрямую зависят от Верховного Совета, чьи политические пристрастия, судя по всему, разделяют. Что это за пристрастия - известно.

Только за период, прошедший с начала 1993 года, судами Санкт-Петербурга рассмотрено несколько дел, где обвиняемыми были лица, открыто пропагандировавшие фашизм. Все эти дела закончились сокрушительной победой обвиняемых.

Правда, в свое время в Москве К.Смирнов-Осташвили, устроивший антисемитский скандал в Центральном доме литератора, был осужден и получил срок. Дело было возбуждено и доведено до приговора под сильнейшим давлением общественности. Но тогда и общественность была другая, и к мнению ее больше прислушивались. Вынуждено было прислушаться и руководство уже слабейшей, но еще не потерявшей власть КПСС. И приняло соответствующее решение. В том, что приговор по делу Осташвили был согласован с партийными органами, сомневаться трудно, наши суды никогда не умели работать без оглядки на "хозяина".

Сегодня им трудно, прежнего "хозяина" нет, в стране двоевластие, и судьи совершенно очевидно сделали ставку на тех, от кого зависит их назначение - на Советы. Теперь при рассмотрении гражданских дел, связанных с нарушениями закона о средствах массовой информации, об общественных объединениях или - уголовных по 74 ст. о разжигании национальной вражды они - сознательно или бессознательно - используют несовершенство законов - как формальный щит, прикрывающий их нежелание выносить обвинительные приговоры и принимать эффективные судебные решения. Вариант беспроигрышный: кары со стороны демократической власти не последует, никто не вызовет "на ковер", не скажет: "Положишь партийный билет". Зато сторонники фашистов могут расправиться фи-

смертельным врагом человечества". Эта клятва приобщена к делу. Как и обвинительное заключение прокуратуры, где сказано, что им разработана некая "теория ведизма", пропагандирующая "истребление неполноценных наций и народностей", что Безверхий одобрял политику геноцида гитлеровской Германии, что он размножал и распространял собственные сочинения, среди которых - "Антропология" и "Букварь", содержащие проповедь геноцида и утверждение, что фашизм для нашей страны - единственно приемлемая идеология.

В том же заключении говорится, что Безверхим создано некое "Общество волхов", где разработана структура, предусматривающая создание боевых групп по типу штурмовых отрядов СС. Имеется в деле и текст лекции, которую Безверхий читал своим ученикам и единомышленникам. Найти аудиторию было делом несложным, Безверхий - кандидат философских наук, преподавал в Ленинградском университете и других вузах, как гражданских, так и военных. В тексте расистской лекции сообщается, в числе прочего, что "первая большая группа ублюдков - жида... Вторая группа ублюдков - индийцы или цыгане... третья группа - это американские мулаты", после чего следует разъяснение: в обществе, где "присутствуют элементы низших народов или ублюдки", невозможна никакая социальная справедливость и т.д. и т.п. Не был тайной для суда и тот факт, что на обыске у Безверхова изъяли картотеку, содержащую адреса и телефоны евреев - членов творческих союзов - художников, писателей, композиторов. Известно было суду также и то, что еще в 1988 г. КГБ объявил Безверхову предостережение о недопустимости разжигания национальной вражды, пропаганды фашизма и "вербовки единомышленников из числа военнотружущих". Все эти факты и документы, повторяем, находились в распоряжении суда, вынесшего Безверхову... оправдательный приговор. Не условный - исходя из чувства сострадания к пожилому человеку (Безверхову 62 года), а именно оправдательный, узаконивший тиражирование фашистских идей.

Вынося приговор, суд использовал несовершенство формулировки 74-й статьи, согласной которой наказание предусмотрено только за умышленное разжигание национальной розни. В приговоре сказано, что прокуратура не представила доказательств умысла. Как будто вся предшествующая деятельность Безверхова тому не свидетельство! Но Безверхий в суде заявил, что

лал я все это, чтобы напугать, пригрозить, а на самом деле лишать его жизни не собирался. А он на меня набросился, хотел задушить, пришлось защищаться... Его смерть - просто несчастный случай, не более".

Конечно, судьи примут в расчет показания обвиняемого, но рассматривать дело будут в совокупности всех объективных обстоятельств, предшествовавших и сопутствовавших преступлению. Ни одна мелочь, ни одна деталь не останется вне поля их зрения. И только тогда они вынесут приговор, опираясь на закон и собственную совесть.

Судья И.Почечуев оправдал Безверхова, поверив (?), будто обвиняемый не ведал, что творит, продавая "Майн Кампф" - хотел обогатиться, не подозревал, что распространение гитлеровских идей может оскорбить чье-то национальное достоинство, способствовать разжиганию национальной вражды. Ни клятва, написанная кровью, ни юдофобская лекция, ни списки евреев, найденные при обыске, ни "Общество волхов" - ничто из предвещавшей многолетней фашистской деятельности Безверхова не стало предметом рассмотрения, даже предостережение КГБ суд проигнорировал. Безверхий городским судом оправдан, и Верховный суд, несмотря на протест прокуратуры, оставил приговор в силе.

Следующей победой фашистов стал состоявшийся в том же городском суде процесс по делу А.Андреева, ученика Безверхова, так же, как учитель, обвинявшегося в разжигании национальной розни. Ответственный секретарь народно-социальной партии (НСП) Андреев издавал нацистскую газету "Народное дело". Это в ней на первой странице красовался портрет Гитлера, в ней публиковались главы из сочинений расиста Розенберга, она призывала бороться за посмертную реабилитацию одиннадцати немецких "патриотов", повешенных в 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала: Геринга, Риббентропа, Розенеберга и иже с ними. Случай для суда, казалось бы, бесспорный, тем более что и экспертиза решительно подтвердила антисемитский, подстрекательский характер газеты. Однако суд отправил дело Андреева на дополнительное расследование, поскольку, используя судебный опыт Безверхова, тот заявил: он понятия не имел, что нарушает уголовный кодекс, фашистскую газету выпускал по недомыслию и теперь сожалеет о своей ограниченности.

И судья Т.Скрибайло прошел мимо очевидных фактов, мимо совокупности доказательств, закрыл глаза на то, что Андре-





всем, что у него есть, давно условились пореже докучать друг другу заявлениями типа "я горжусь своим отцом", "я горжусь своим носом", "я горжусь своей фамилией" - для сходных же заявлений относительно своей национальности подобное бахвальство у многих и многих почитается весьма похвальным делом. Но если чувства, считающиеся неприличными для частного лица, начинают одобряться значительной частью нации - до каких же размеров они способны разрастись? Вглядились в последние свершения, на которые подвигли людей национальные чувства, - громадное зло брошено в глаза, а для поисков добра приходится брать лупу. Правда, нам говорят, что зло появилось только сейчас, а еще недавно национальная гордость прекрасно уживалась с братством народов... не помешавшим, однако, вавилонским пленениям одних братьев при полном равнодушии других.

Впрочем, тогдашняя наука не оставила, видимо, даже самых беглых и бледных штрихов истинной картины - попробую припомнить что-нибудь из личных впечатлений.

Мой отец вышел из воркутинских лагерей аккурат перед войной - счастливчик: прочих задержали до выяснения обстановки (она немного прояснилась лишь в 1945 году). С приближением немцев его как подозрительного элемента выслали почему-то тоже - к немцам: в Н е м ц о в о л ж ь е. Но куда он туда добрался, пришла пора выселяться и хозяевам. Отца с ходу привлекли к участию в этой ответственной акции: "проконтролировать за оставшимся имуществом" впрямь до появления новых хозяев - эвакуированных русских граждан. Наверно, это был чей-то недосмотр, но, может быть, начальство подсознательно ощущало, что по отношению к немцам даже "враг народа" все-таки более или менее свой. Отцу навсегда запомнилось уложенное село - совершенно пустое, раздавалось только кошачье мяуканье да повсюду валялись бараньи головы: провизией запасались за 24 часа.

Об остальном имуществе беспокоиться не приходилось: в домах был полный порядок - только в двух-трех стеклянные кувшины на столе были пробиты аккуратным ударом сбоку. В каждом доме был "Краткий курс истории ВКП(б)" на немецком языке, на немецком же языке Маркс, Библия, Лютер, довольно часто Гете и даже Лессинг. В библиотеке подшивки областной газеты со статьями о подвигах немецких солдат, сражавшихся против фашистских захватчиков, была доведена до самого дня изгнания.

И вот что любопытно: отец, честный до занудства, не увидел решительно ничего нехорошего в том, что живет в чужом доме, топит чужими дровами и ест картошку с чужого огорода - в единстве с н а ш и м и против н е н а ш и х кража и грабеж переставали быть чем-то позорным. Курские "выковыренные" тоже не были ворами и грабителями, однако занимали чужие дома с преспокойной совестью и, может быть, даже считали справедливым, что одни немцы должны нести ответственность за зверства других: с в о й отвечает за с в о е г о.

Правда, мужик из соседнего, русского села, вероятно, чувствовал некую неловкость, потому что, словно оправдываясь, сказал отцу: "Они с нами не воились". Вполне достаточная причина...

Отец оставался своим лишь по контрасту с еще более чужими, а по прибытии подлинных "наших" был отправлен вслед за немцами в Северный Казахстан, где и познакомился с моей матерью. Поэтому я никогда не

спорил, что Советская власть дала нам все: мне она подарила жизнь!.

Незадолго до его приезда колонну ссыльных немцев, прежде чем разослать по колхозам-совхозам, провели в баню на дезинфекцию, и мой двоюродный брат прибежал с вытаращенными глазами: "Так немцы, оказывается, тоже люди!" Он был уже не совсем младенец и вдобавок сын одного из расстрелянных "врагов народа", - про которых, однако, и младенцу не пришло бы в голову, что они н е л ю д и.

Так мне и случилось провести детство в соседстве сразу с двумя репрессированными народами - немцами и ингушами, поэтому я, пожалуй, могу понять, какими их видел так называемый "простой человек", "человек с улицы": проще - доверчивей - меня /а я к тому же почти все свое время проводил на улице/ нужно было еще поискать: я верил только своим глазам и ушам, то есть рассказам соплеменников, но зато верил, как Святому писанию. А они говорили, что немцы работают только учителями музыки, врачами, изредка инженерами /в городке оставили лишь тех, кто за чем-нибудь мог пригодиться начальству/, что дети ихние - совсем как мы, но если поспорить - сразу ударят догадка: вот что значит фашист /кто почистосердечней - тот так и брякнет вслух/. Если бы мне тогда сказали, что немцы - угнетенная нация, я бы просто возмутился, а то еще и - как нынешние национал-патриоты - начал бы подсчитывать, сколько немцев ходит в пиджаках и ботинках, а сколько в ватниках и сапогах.

А ингуши - так те были явными хозяевами жизни - чего еще человеку надо: в магазине идут прямо к прилавку, не обращая внимания на смиренный ропот очереди /роптать осмеливались исключительно женщины/, на танцы вваливаются королями, и н а ш и хулиганы сразу теряют вельможную осанку, и если какой-нибудь Иса или Муса выпьет кому-нибудь из них стакан лимонаду в оттопыренный карман, тот постарается принять это за дружескую шутку, а его дружки поддержат эту версию льстиво одобрительным хохотом.

Что интересно - ингушей боялись, злились, но не о с у ж д а л и: они были н е н а ш и, а потому и не обязаны были считаться с нашими порядками. "По-ихнему он был совершенно прав", - как резюмировал незабвенный Максим Максимыч. Зато и мой родной дядя, мобилизованный в войска НКВД и принимавший самое прямое участие в депортации ингушей, тоже рассказывал об этом так, словно речь шла об овцах - о чисто технологической стороне дела: собрали мужчин, оцепили, с автоматами, грузовики, женщины отдельно...

Я долго был уверен, что ингуш /как и еврей/ - это не национальность, а ругательство. Когда слово "ингуш" попало мне в "Тихом Доне" /я искал неприличные сценки, а набрел на куда большую диковинку/, я даже прочел его неправильно - "игнуш" /так в бестселлере Эдуарда Лимонова не вмиг прочитываешь привычнее слова/. Я побежал показывать дружку - так он тоже не поверил. Но когда, бывало, попадешь в ингушский дом как с в о й /с кем-то из "ихних"/ - они оказывались с о в е р ш е н н о д р у г и м и л ю д ь м и: смеются, шутят, приглашают, ласковые женщины в чем-то цветастом, сидя на корточках, вертят маленькие домашние мельницы. Но эту невидимую черту - "наш" - "не наш" - было не стереть. И вот на чем вертится мир!

Соседский парень-ингуш съездил на мотоцикле за сорок километров на железнодорожную станцию - и угодил в кутузку, правда, только на три дня. Произнесли слово "комендатура", и мне ничуть не казалось

странным, что ингуши не могут ездить куда хотят - так, стало быть, мир устроен: нам можно, а им нельзя. Похоже, и они сами так на это смотрели: законы и должны быть разными для н а ш и х и для н е н а ш и х.

Какой народ считать угнетателем, а какой угнетенным - об этом я в ту пору не задумывался. Но подсознательный критерий, пожалуй, имел, ставя на первое место честь: угнетен тот, к т о д о л ж е н с т е с н я т ь с я. Русские произносили слово "русский" как хотели - то мимоходом, то с гордостью. При ингушах о национальностях вообще избегали упоминать, а вот слова "немец" очень старательно избегали лишь сами немцы, - остальные же лишь в той степени, в какой опасались обидеть. Положим, они были ссыльные, но слово "немец" означало примерно то же, что "фашист" - а вот казахи были как бы, наоборот, хозяевами, они были тщательно представлены в партхозаппарате, имели отдельную школу им. Абая с преподаванием на казахском языке (в которую ни один казах, хоть раз в жизни примеривший пиджак и шляпу, своего ребенка не отдавал), да и мы, русские, то есть просто люди, воились с ними, в общем, на равных - только если в смешанной компании у кого-то срывалось слово "казах", все невольно бросали мгновенный взгляд на казаха, а он потупливал взор.

Взор никогда не потупливают без причин: каждого из них когда-нибудь обзывали "калбитом", песни их передразнивали заунывными завываниями: "Один палка, два струна - вот вся музыка моя". Смешно было и то, что они путают мужской и женский род (ведь чего проще: палка должна быть о д н а, а не "один", машина пошла, а не пошел - так нет же!), и то, что старики у них ходят в остроносых галошах, а женщины обшивают платье продырявленными монетами (ловкачи в очередях срезали их бритвочкой). Мои родители с утра до вечера твердили нам, что все люди одинаковы, но если плюнешь или, прости, громко икнешь, - не то что бабушка - даже мама могла спросить укоризненно: "Ты что, жолдас?" Жолдас - это по-казахски "товарищ". Кажется. Точнее узнать не удосужился.

Приезжая тогда в Алма-Ату, я каждый раз заново удивлялся, что многие тамошние казахи не стесняются вслух называть себя казаками - пожалуй, еще и с напором. Только через много лет я понял, что как здоровый человек не должен ощущать, где у него печень, так и национальная принадлежность не должна быть предметом каких-то особых чувств - ни стыдливых, ни напористых.

До сих пор ежусь от стыда: смотрю худсамодеятельности в районном клубе, "Яблочко", хоровое песнопение "Партия наш рулевой" - и все это никому не кажется смешным. Но вот под домбру вылетает на сцену в казахском танце прелестная узкоглазая девочка в бархатной тюбетейке и расшитом платье - и зал как вдруг захочет, засвистит, заулюлюкает... Она разрыдалась и убежала со сцены. Мне, конечно, и тогда было стыдно - но признаться в этом было бы еще стыднее. Впрочем, я тогда и не понимал, до какой степени это было не только гнусно, но еще и с м е р т е л ь н о о п а с н о. Мудрый Макиавелли учил: не наноси малых обид, ибо за них мстят, как за большие, на плевок могут ответить пулей.

Словом, представления "простого человека" о том, кто угнетатель, а кто угнетенный, могут очень сильно расходиться с представлениями политиков: сказали бы вы кому-нибудь у нас в городке, что мы



утнетаем ингушей! Да и немцев тоже. Но неизвестно еще, что в конце концов вызывает более опасные последствия - государственная ущемленность или бытовая униженность. Я мог бы поклясться, что подсчитывать для каждой национальности среднюю зарплату, число министров или обладателей ученых степеней на душу населения - эта бухгалтерия интересна только мелочным торгашеским душонкам. Древнее разделение на "наших" и "не наших" не опускается на подобных пустяков, открытых для любого чужака. Все, что заметно чужаку, все, чем он может овладеть не по праву наследства - деньги, знания, должности, - все это не национальные, а так сказать, общечеловеческие ценности.

Истинные националисты тоже очень хорошо угадывают фальшь таких подсчетов, они чувствуют, что чужак должен быть отторгнут от народного организма не потому, что он плох, а потому, что он чужак. Националисты - это фагоциты, которые набрасываются на любое инородное тело, проникшее в организм, - и на занозу, и на имплантированный орган. Националисты вынуждены непрестанно лгать и клеветать на инородцев только потому, что они не имеют возможности честно сказать: ты виноват уж тем, что хочешь мне кушать, не важно, умен ты или глуп, зол или добр, хитер или простодушен - ты все равно не наш и должен быть исторгнут из нашего тела. Людям-фагоцитам приходится клеветать, чтобы осуществить отторжение во имя тех самых общечеловеческих ценностей, которые и делают такое отторжение невозможным.

Обострение "национальной озабоченности" (Г.Померанц) можно уподобить некоему острому фагоцитозу: все функции организма поглощает одна - реакция отторжения, когда отторгается и вызывает воспаление даже пища и одежда - только потому, что они тоже инородные тела.

Национальное единство - наиболее широкая форма солидарности, пока что доступная человеку, а потому общечеловеческое единство должно возникнуть через слияние наций, а не через их уничтожение, - так Короленко протестовал против большевистского интернационализма. Это удивился бы Владимир Галактионович, если бы узнал, что через двадцать лет те же самые большевики будут карать целые народы в соответствии с первобытным принципом родовой мести: за одного отвечает весь род. Но сделать это было бы несколько менее просто, если бы этот принцип не жил и прежде в наших душах. И когда люди-фагоциты жаждут все большего и большего национального единства, выражающегося во все большем и большем противостоянии "не нашим", хочется спросить: хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь создано это отчуждение? Защищать от чужого отчуждения - да, могло. А создано? Где его плоды? Или где та лупа, в которую их можно разглядеть? Но что правда, то правда: ни один народ не может обойтись без своих фагоцитов, пока у других они рвутся с цепи. Фагоциты порождают друг друга, а после в существовании друг друга находят оправдание и своему собственному существованию.

И когда сегодня по поводу восстановления немецкой автономии выискивается столько сложностей и льется столько демагогии, не лежит ли в основе все та же, древняя как мир реакция отторжения "не наших", перед которыми не может быть ни вины, ни обязанностей?

**П**отрясение, а то и падение тоталитарных режимов на востоке Европы придало эпизоду из недавней истории Франции, а именно судебному процессу 1949-1951 годов, во время которого была предпринята попытка разоблачить эти режимы и учреждения, ставшие их эмблемой, то есть лагеря. Напомню в общих чертах, как было дело. Советский политический беженец Виктор Кравченко публикует в 1946 году книгу "Я выбираю свободу" - рассказ о своей жизни и описание советского общества; книга пользуется

## Цветан ТОДОРОВ

все они имеют один серьезный изъян: они не французы! С другой стороны, бывшие гулаговские заключенные вызывают подозрение уже тем, что имели возможность явиться в Париж в качестве свидетелей: это значит, что они покинули Советский Союз, свою бывшую родину, где они появились на свет или долго жили; кроме того, многие из них - бывшие коммунисты; следовательно, все они изменники, а много ли веры словам изменников? Итак, обвиняемые или играют на ура-патриотической и ксенофобской струне или прибегают к еще одному

## ЕЩЕ РАЗ О "ДЕЛЕ КРАВЧЕНКО"

огромным успехом, в 1947 году, вопреки некоторому давлению, ее переводят во Францию. На автора ополчается коммунистическая пресса; Кравченко подает в суд на "Леттр франсез" в лице главного редактора газеты Клода Морганя и журналиста Андре Вюрмсера, обвиняя их в диффамации; суд состоялся в начале 1949 года. В ноябре того же года, отчасти под впечатлением от "дела Кравченко", Давид Руссе, до войны ярый троцкист, а затем узник Бухенвальда и Нейенгамм, автор двух нашедших трудов о жизни концлагерей, обращается к бывшим заключенным нацистских концлагерей с призывом расследовать систему лагерей в СССР. Он также подвергается нападкам коммунистической прессы и также подает в суд за диффамацию на "Леттр франсез", представляемую тем же Морганом и Пьером Дэ, главным редактором и автором порочающей статьи; судебный процесс начался в конце 1950 года.

Результат судебных перипетий оказался двусмысленным: в обоих случаях "Леттр франсез" потерпела поражение, но ее приговорили к смирительным наказаниям, несравнимым с теми, которых требовали потерпевшие. Но как бы то ни было, оба процесса были адресованы в первую очередь не правосудию, а общественности Франции и других стран, и мнения общественности на этот счет разошлись. Престиж Советского Союза и коммунизма почти не пострадал.

### СТРАТЕГИЯ ОПРАВДАНИЯ

Сегодня отчет об этом процессе читается по-другому, чем сорок лет назад. Мы-то хорошо понимаем, что все, о чем рассказывали Кравченко, Руссе и многочисленные свидетели, которых они выставили, чистая правда. Проблема в другом: каким образом получилось, что дущераздирающие рассказы бывших узников ГУЛАГа, чтение советских документов, касающихся чисток и лагерей, не произвели на судей и публику более сильного впечатления? В чем заключалась система защиты, которую избрали коммунисты-обвиняемые и их защитники /а именно г-жа Нордманн, принимавшая участие в обоих разбирательствах/? В двух утверждениях, несовместимых одно с другим: во-первых, все, что рассказывается, - ложь, потому что ничего подобного не было; во-вторых, все это правда, но беспокоиться не о чем.

Чтобы доказать, что лагеря не существуют, для начала принялись дискредитировать свидетелей обвинения. Прежде всего,

софизму: они заранее утверждают, что сосуществование влечет за собой идентичность. В любых связях свидетеля или его показаний с компрометирующимися лицами усматривается повод отнести к свидетельству с недоверием. Неправда, что в России есть лагеря, потому что это самое утверждает Гитлер: неправда, что русские расстреляли польских офицеров в Катыни, потому что об этом говорил и Геббельс.

Этим сомнительным свидетелям коммунисты-обвиняемые противопоставляют других, которых пригласили они сами. Эти свидетели - французы, что сразу дает им огромное преимущество. Они знают обвиняемых; они доблестные участники Сопротивления и не станут лгать. "Леттр франсез" - хорошая газета, борющаяся с фашизмом, она не станет искажать истину. Некоторые свидетели и обвиняемые ездили в СССР, кто на неделю, кто на две. Правда, по-русски они не понимают, зато сами видели, что в Советском Союзе все счастливы, дети поют, рабочие живут зажиточно, в колхозах изобилие: слово борцов Сопротивления! И в конце концов, надо ли припутывать сюда свидетелей? Обвиняемые знают, что в СССР нет лагерей, потому что их там просто не может быть. По меткому выражению Жана Лаффита, свидетеля-коммуниста, которое получило известность: "Если вы спросите: "Осудите ли вы свою мать, если она окажется убийцей?", я вам отвечу: "Мсье, моя мать - это моя мать, она не может быть убийцей".

Однако те же самые люди или их союзники утверждают также: да, лагеря и чистки в самом деле имели место, но не следует придавать этому чрезмерное значение. Во-первых, потому, что эти меры были необходимы. Чистки тридцатых годов? Но надо же было ликвидировать пятую колонну перед лицом гитлеровской угрозы! - хладнокровно объясняет Жолио-Кюри. Лагеря? Пускай мелкие ворюшки помогают в строительстве дорог, тут нет ничего зазорного, - с серьезным видом заявляет художник Жан Эффель. Да, в СССР в самом деле есть лагеря, и это весьма прискорбно, - утверждают другие, а почас те же самые; - однако не лучше обстоит дело и в других странах. Такова позиция Сартра, Мерло-Понти, Клода Бурде: происходящее в Советском Союзе не идет ни в какое сравнение с тем, что творится во французских колониях или в греческих и испанских тюрьмах; испанские республиканцы, которых насильно держат на Корсике, стоят всех мучеников ГУЛАГа вместе взятых! Может быть, совет-

ские лагеря и существуют в природе, но теперь не время о них говорить: сегодня такая правда не принесет пользы, а скорее причинит вред. К чему приведут подобные разоблачения? К еще большим трениям между союзниками, то есть к возрастанию военной угрозы. К подрыву авторитета СССР, родины социализма и справедливости. К разочарованию французских рабочих в их борьбе за правое дело.

Эти аргументы потрясают нас: они точно заимствованы из главы "Паралогизмы" в учебнике логики или вдохновлены каким-то бездарным маккиавеллизмом. С одной стороны, искусно затушевывается вопрос об исторической истине и законности; спор ведется - да еще на каком примитивном уровне - о добродетели и пороках обвинителей и обвиняемых; но подобная дискуссия не позволяет отличить правду от лжи. С другой стороны, правдой вообще пренебрегают, предпочитая ей сиюминутную целесообразность. В мемуарах, написанных спустя долгое время после суда, коммунисты, которые были главными действующими лицами в этом процессе, сообщают, что, как бы то ни было, с их точки зрения, они неплохо справились с задачей, расставили акценты, привлекли на свою сторону симпатии обществу. Не то чтобы все ими восхищались - до этого было далеко, но ни насмешек, ни ненависти они на себя не навлекли. Среди основных мотивов человеческого поведения явно не фигурировало стремление к истине.

#### СУДИТЬ ПРОШЛОЕ

Когда перечитываешь эти истории со-роклетней давности, испытываешь возмущение: поскольку сегодня мы убеждены, что знаем, на чьей стороне правда, можем ли мы не презирать ее противников? И сразу же возникает соблазн спросить - а не слишком ли легко дается нам это негодование и не впадаем ли мы в анахронизм? Не лучше ли воздержаться от осуждения тех, кто в свое время заблуждался - ведь тогда это было в порядке вещей? Разумеется, нет. Протоколы процесса рисуют совсем другую картину: в то время все все знали. Решающим фактором здесь оказался конец Второй мировой войны: если до того существовала лишь горстка беглецов, то теперь за пределами Советского Союза очутились тысячи депортированных поляков, и тысячи депортированных советских людей остались в Германии или бежали на Запад. Начиная с этого момента - скажем, с 1950 года - возникает выбор: признать, что советские лагеря есть, и прямо говорить об этом, или не знать о них и скрывать их существование. Выбор этот не столь уж безобиден: лучшее, а то и единственное средство бороться с лагерями состоит в том, чтобы открыто заявить об их существовании и распространять информацию о них. Следовательно, кто предпочитает не знать правды, как Дэ и Морган, или допускает существование этой правды, но полагает, что предпочтительней ее замалчивать, как Сартр и Мерло-Понти, те активно содействуют сохранению лагерей и частично несут за это ответственность.

Призыв Давида Руссе отмечает во Франции конец того периода, когда неведение о советских лагерях было простительно. Вот почему я без колебаний скажу, что бывшая заключенная Жермен Тийон, поддержавшая этот призыв, была права, а Маргерит Дюра, в прошлом участница Сопротивления, осудившая этот призыв и предпочитавшая блюсти верность компартии, была неправа. В такой оценке нет никакого произвола. Руссе в своем призыве сумел сказать главное, и прежде всего - что в подходе к лагерям

недопустим релятивизм, с которым рассматриваются прочие явления; нельзя сказать, что лагеря с одной стороны хороши, а с другой стороны плохи: они воплощают в себе абсолютное зло - случай настолько редкий, что сам по себе требует категоричности. Более того, Руссе понимает, что режим, порождающий лагеря, нельзя оценивать независимо от этого обстоятельства; лагеря - не какая-то несчастная случайность, они обнаруживают самую суть тоталитаризма. Откуда следует, что между нацистскими и советскими лагерями, в сущности, нет никакой разницы, несмотря на явные организационные отличия: тут нет газовых камер, там нет политической перековки и т.п. Лагеря издеваются над идеологическими оправданиями, которыми их прикрывают; вот почему в них живут люди, и Руссе называет это "наиболее убедительным опытом". Однако его призыв расколол бывших заключенных и вызвал распрю в недрах их объединений /в сущности, это оказалась распря между коммунистами и некоммунистами/. Это и была от-правная точка судебного процесса, поскольку статья в "Леттр франсез", послужившая поводом к нему, называлась: "Пьер Дэ, узник Маутхаузена N 59807, отвечает Давиду Руссе". Даже "наиболее убедительного опыта" оказывается недостаточно, чтобы определить поведение людей.

Заблуждающиеся делают свой выбор отнюдь не под давлением истории. Символична политическая эволюция Клода Морган, сходная с путем Клода Руа и Мориса Бланшо: до войны сторонник крайней правой, единомышленник Муссолини, он становится участником Сопротивления и обращается в сталинизм; однако это внезапное превращение отнюдь не научило его скромности. Он порывает с партией после венгерских событий, отнюдь не теряя при этом своего апломба: в автобиографии он причисляет себя к разряду непокорившихся идеалистов, таких, как Пастернак и Солженицын.

Те, кто видит истину, не получают вознаграждения. Руссе в 1950 году понял все, что касалось коммунистических лагерей, и все сказал об этом. Более десяти лет жизни он, не щадя сил, посвятил борьбе с этим зловещим явлением; помогать ему в этом будет созданная им организация, предвосхитившая "Международную амнистию", но результаты окажутся ничтожны. Мало того, что лагеря просуществовали в СССР до конца восьмидесятых годов, мало того, что и сегодня они существуют в Китае, но добрая часть французской интеллигенции, к которой напрямую обращался Руссе, по-прежнему чтит коммунистический идеал: маоизм Левого берега еще не сказал последнего слова! Почему же клич "Я обвиняю" двадцатого века не был услышан, как тот, первый? Почему надо было ждать еще сорок пять лет, почему надо было дожидаться Солженицына, чтобы осмелиться наконец взглянуть в лицо правде? Во все времена люди слышат только то, что хотят услышать.

Сегодня коммунистический тоталитаризм находится при последнем издыхании, и борьба с ним утратила прежнюю актуальность. Но остаются уроки прошлого, не слишком отрадные: история оказывается чередой упущенных возможностей избрать лучший путь. Так что возникает искушение спросить: каким чудом нам подчас удается избежать самого худшего?

# ВСЕМИРНОЕ СЛОВО

СРЕДИ АВТОРОВ  
СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ:

ВЛАДИМИР АРРО

АРНО ВАЛТОН

АНДЖЕЙ ВАЙДА

ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ

ЛАЙОР ДЕВИДСЕН

БЛАГА ДИМИТРОВА

АЛЕКСАНДР ЖИТИНСКИЙ

ЯН КАПЛИНСКИ

МИХАИЛ КУРАЕВ

АЛЕКСАНДР КУРГАТНИКОВ

АСТРИД ЛИНДГРЕН

СТАНИСЛАВ МИСАКОВСКИЙ

АДАМ МИХНИК

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

ХОЛЬГЕ РОНИНГ

ФЕДОР СТЕПУН

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

ТУВИ ЯНСОН

Журнал  
"ВСЕМИРНОЕ СЛОВО"  
издается при участии  
международного  
фонда СОРОСА  
(Нью-Йорк) и  
Петербургского  
отделения  
международного фонда  
"КУЛЬТУРНАЯ  
ИНИЦИАТИВА"

**ПАРИЖ,**  
Lettre internationale  
Гл. редакторы  
**АНТОНИН ЛИМ**  
30. rue Notre-Dame-des-Victoires. 75002 Paris

**РИМ,**  
Lettera internazionale  
Гл. редакторы  
**ФЕДЕРИКО КОЭН,**  
**АНТОНИН ЛИМ**  
**ВИТТОРИО СТРАДА**  
c/o Fondazione Basso, Via della Dogana Vecchia 5,  
00186 Roma

## ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕДАКЦИИ

**МАДРИД,**  
Letra internacional  
Гл. редакторы  
**ЛУИС ГОЙТИСОЛО,**  
**АНТОНИН ЛИМ**  
c/o Editorial Pablo Iglesias; Monte Esquinza 30, 28030  
Madrid

**БЕРЛИН,**  
Lettre internationale  
Гл. редакторы  
**ФРАНК БЕРБЕРИХ,**  
**АНТОНИН ЛИМ**  
Rosenhaler Straße 13, 0-1054 Berlin/W. 62

**БЕЛГРАД,**  
Lettre internationale  
Гл. редакторы  
**ЙОВАН ХРИСТИЧ,**  
**ВУК КРНЕВИЧ,**  
**АНТОНИН ЛИМ**  
Чика Лубина 1/ V, 11000 Београд

**ПРАГА,**  
Lettre internationale  
Гл. редакторы  
**АНТОНИН ЛИМ,**  
**ТОМАШ ВРБА**  
Michalska 12, 11000 Prague 1

**БУДАПЕШТ,**  
Lettre internationale - Alapitvány Lapja  
Гл. редакторы  
**АНТОНИН ЛИМ,**  
**ГАБОР МИХАЛИ,**  
**ЕВА КАРАДИ**  
Columbus u. 39. 1145 Budapest

**ЗАГРЕБ,**  
Lettre internationale - Confluente  
Гл. редакторы  
**АНТОН ЛИМ**  
**СЛОБОДАН НОВАК,**  
**АНА ПРПИЧ**  
"Most", Trg Bana Jelacica 7, 4100 Zagreb

**БУХАРЕСТ,**  
Lettre internationale  
Гл. редакторы  
**Б.ЭЛВИН,**  
**АНТОНИН ЛИМ**  
Aleea Alexandru nr 38, sectorul 1, Bucuresti

**СОФИЯ,**  
Lettre internationale  
Гл. редакторы  
**АНТОНИН ЛИМ**  
**СТЕФАН ТАФРОВ**  
Fondation Orvorenno Obchtchestvo. Plochtchad  
Bulgaria 1 NDK, Administrativna Strada,  
11 et. 1463 Sofia

Подписано в печать 09.03.94 г. Формат 70 x 100 1/8. Объем  
11 п.л. Лицензия N 1600 от 27.02.91 г. Тир. 3000. Заказ 21759.  
Отпечатано на ЦКФ ВМФ с оригинал-макета, представленного  
издательством "Всемирное слово".

**КОНСТАНТИН АЗАДОВСКИЙ** -  
литературовед, переводчик (Санкт-Петербург).  
**АНДРЕ БРЕТОН** (1896 -1966) -  
французский поэт.  
**ПАСКАЛЬ БРЮКНЕР** -  
французский прозаик и эссеист.  
**МИХАИЛ ГЕРМАН** -  
искусствовед (Санкт-Петербург).  
**ХУАН ГОЙТИСОЛО** -  
испанский писатель.  
**ЭДУАРД ГОЛЬДШТЮККЕР** -  
чешский писатель, публицист, общественный  
деятель.  
**ДАНИИЛ ГРАНИН** -  
писатель, общественный деятель (Санкт-Петербург).  
**ЖАН ДЬОРИ** -  
бельгийский франкофонный писатель венгерского  
происхождения  
**ИВАН ЕЛАГИН** (1918-1987) -

## АВТОРЫ

русский поэт, эмигрировал и жил  
в Западной Европе, затем в США.  
**У. Б. ЙЕТС** (1865-1939) -  
английский поэт.  
**МОРИС КАРЕМ** (1899-1977) -  
бельгийский поэт.  
**НИНА КАТЕРЛИ** -  
писатель, публицист (Санкт-Петербург).  
**РЕМОН КЕНО** (1903-1976) -  
французский поэт.  
**ПОЛЬ КЛОДЕЛЬ** (1868-1955) -  
французский поэт.  
**ЛАРС КЛЕБЕРТ** -  
шведский литературовед, дипломат.  
**РОБЕРТ КОНКВЕСТ** -  
американский историк.  
**ЛЕНА КРООН** -  
финская писательница.  
**ЭМИЛИЯ КУНДЫШЕВА** -  
прозаик, публицист (Санкт-Петербург).  
**СЕМЕН ЛАСКИН** -  
прозаик, драматург (Санкт-Петербург).  
**Г.Э. ЛЕССИНГ** (1729-1781) -  
немецкий поэт, драматург.  
**ЯКОВ ЛУРЬЕ** -  
литературовед (Санкт-Петербург).  
**НОРМАН МАНЕА** -  
румынский прозаик, в 1986 г. эмигрировал в  
Германию, затем в США.  
**МИХАИЛ МАТЮШИН** (1861-1934) -  
русский художник.  
**АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ** -  
поэт (Санкт-Петербург).  
**АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ** -  
прозаик, публицист (Санкт-Петербург).  
**ВЕРА ПАНОВА** (1905-1973) -  
прозаик (Ленинград).  
**ВИКТОР ПАШКОВ** -  
болгарский писатель.  
**МАРИЯ СЕДЕРБЕРГ** -  
шведский фотограф и публицист.  
**ЭДИТ СЕДЕРГРАН** (1892-1923) -  
финская поэтесса, писавшая на шведском языке.  
**ЛАРС ХУЛЬДЕН** -  
финский поэт, прозаик,  
пишущий на шведском языке.  
**МАРИНА ЦВЕТАЕВА** (1892-1941) -  
русская поэтесса.  
**ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ** -  
польская поэтесса.  
**ЮРИЙ ШМИДТ** -  
юрист (Санкт-Петербург).  
**ДМИТРИЙ ШНЕЕРСОН** -  
фотограф и переводчик (Санкт-Петербург).  
**ЕВГЕНИЯ ЩЕГЛОВА** -  
литературный критик (Санкт-Петербург).  
**ЭФИМ ЭТКИНД** -  
литературовед, переводчик, с 1974 г. живет  
в эмиграции в Париже.  
**АМОС ЭЛОН** -  
израильский журналист  
**ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР** -  
немецкий писатель.

**ЛАРИСА АФОНИНА** (Л.Кроон).  
**ЕЛЕНА БАЕВСКАЯ** (П.Брюкнер, П.Клодель,  
Ж.Сюпервьель, А.Бретон, Ж.Дьори, Р.Кено).  
**НИНА БЕЛЯКОВА** (Э.Седергран).  
**ЛЮДМИЛА БРАУДЕ** (Л.Хульден, Э.Седергран  
"Звезды", "Северная весна").  
**ЯН ВИКАРД** (Х.Гойтисоло).  
**ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВА** (В.Пашков).  
**ВАЛЕРИЙ ДЫМШИЦ** (Н.Манеа).  
**ПОЭЛЬ КАРП** (Г.Э.Лессинг).  
**ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ** (У.Б.Йетс).  
**ИРИНА НИНОВА** (Г.Стайн, Р.Конквест).  
**АННА САВИЦКАЯ** (Л.Клеберт).  
**ГАЛИНА СНЕЖИНСКАЯ** (Х.М.Энценсбергер).

## ПЕРЕВОДЧИКИ

**СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ**  
(Э.Седергран "Дерево чужбины").  
**ИННА СТРЕБЛОВА** (М.Седерберг).  
**ЛЕОНИД ЦЫВЬЯН** (В.Шимборская).  
**ТАТЬЯНА ЧЕРНЫШОВА** (А.Элон).  
**МИХАИЛ ЯСНОВ** (М.Карем).

Художники:

**ВЛАДИМИР ВЕРЕЩАГИН**  
**МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ**  
**НИКОЛАЙ КОСТРОВ**  
...  
**ПАБЛО ПИКАССО**

Фотографы:

**РОБЕРТ ЛЮЭЛЛИН**  
**МАРИЯ СЕДЕРБЕРГ**  
**Й. ТРОНОВСКИЙ**



# Lufthansa

Перевозки журнала  
**"ВСЕМИРНОЕ СЛОВО"**  
из Санкт-Петербурга в  
Берлин

осуществляются  
при любезном содействии  
авиакомпания  
**ЛЮФТ ГАНЗА**

Позиция редакции не обязательно совпадает с  
точкой зрения авторов публикуемых материалов.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

# СОЗДАДИМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Преследования писателей и интеллектуалов, угрожающие подчас их жизни, сегодня уже не могут рассматриваться исключительно в терминах нарушения прав мысли и творчества. Они направлены против всего, что могло бы послужить прообразом другого мира, оформить и облечь в слова создание другой демократии. Они подвергают умелой травле всякое предвестие протеста или восстания. Таким образом, эти преследования непроизвольно свидетельствуют о том, на что уже не могут указать политические доктрины и инструкции: сам факт и форма высказывания превращаются в политические акты. Это высказывание подчас бывает резко, оно не соотнобразуется ни с правилами культурного обмена, ни с нормами коммуникации и не является привилегией людей пишущих. Прежде всего оно существует в анонимной, еле слышной, еле различимой речи тех, на кого давит существующий порядок. Оно развивается из того, что не имеет пока ни прав, ни обоснований, то есть из того, чей символический облик мы распознаем по почерку.

Теперь не время описывать грядущее, время указать на все, чего нельзя терпеть в настоящем, и выставить безусловное требование освободить демократическое творчество, его язык, его образы, его символы. Вот почему писатели всего мира имеют основания объединиться в парламент - дословно, *место, где говорят* - который открыт для всех форм поддержки этого утверждения.

*Жоржи АМАДУ /Бразилия/, Пол ОСТЕР /США/, Морис БЛАНШО /Франция/,  
Патрик ШАМУАЗО /Антивльские о-ва/, Георгес ШЕЙМОНАС /Греция/,  
Винченцо КОНСОЛО /Италия/, Мишель ДЕГИ /Франция/,  
Мохаммед ДИБ /Алжир/, Карлос ФУЭНТЕС /Мексика/, Хуан ГОЙТИСОЛО /Испания/,  
Гюнтер ГРАСС /Германия/, Яан КАПЛИНСКИ /Эстония/, Петер ЛЕНГИЕЛ /Венгрия/,  
Александр НИНОВ /Россия/, Клаудио МАГРИС /Италия/,  
Октавио ПАС /Мексика/, Жозе САРАМАГО /Португалия/,  
Антон ШАММАС /Израиль/, Сьюзен ЗОНТАГ /США/*

*Страсбург,  
ноябрь 1993 г.*

*всего более ста тридцати подписей*

## ВСЕМИРНОЕ СЛОВО

*Выписывайте журнал,*

*посвященный европейской культуре*

Наш адрес: 191187, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 18.

